Ю. Ф. КАРЯКИН
Е. Г. ПЛИМАК

Запретная мысль обретает свободу

Ю. Ф. КАРЯКИН и Е. Г. ПЛИМАК

ЗАПРЕТНАЯ МЫСЛЬ ОБРЕТАЕТ СВОБОДУ

175 лет борьбы вокруг идейного наследия РАДИЩЕВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА, 1966

Ответственный редактор

доктор исторических наук

П. Г. РЫНДЗЮНСКИЙ

1—6—4
30—66

ВВЕДЕНИЕ

Первая русская революционная книга — «Путешествие из Петербурга в Москву» увидела свет весной 1790 г. Автору ее, Александру Николаевичу Радищеву, предстояла дальняя дорога в сибирскую ссылку, долгое хождение по мукам ждало и его произведение. Больше века книга, «наполненная разными дерзостными изражениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многия в обществе расстройства» (отзыв Екатерины II), оставалась в России под запретом, немногие читатели знали ее по рукописным копиям, сделанным с потаенных экземпляров. В 1858 г. «Путешествие» переиздал в Лондоне эмигрант Герцен. На родине писателя в те же 50-е годы появилась лишь возможность упоминать имя забытого сочинителя, попытки публиковать «Путешествие» пресекались и в дальнейшем. Только первая русская революция уже в XX в. освободила «крамольное» сочинение от опеки жандармов. Но вырвать книгу из рук охранителей еще не означало освободить заключенную в ней мысль...

Автор подцензурного произведения («Путешествие» представлялось в Управу благочиния и получило резолюцию: «Печатать позволено») прятал недозволенные мысли под видом невинных дорожных описаний. Он намеренно разрывал канву своих рассуждений, усложнял понимание некоторых текстов, маскировал свое отношение к ним, говорил иносказаниями, хотя кое-что в середине и конце путевых заметок сказал открыто — неслыханно смело и дерзко. Расчет на невнимательность или недомыслие «урядников благочиния» оправдался. Революционное слово вырвалось на свободу, каким бы запретам ни подвергали книгу Радищева,— оно продолжало жить. Но слово, дошедшее до чи-

тателя через Управу благочиния, было, так или иначе, изуродованным словом.

История освободительной борьбы знает немало поразительных побед вольной мысли над деспотизмом. В царской России два самых «вредоносных» сочинения — сначала «Путешествие» Радищева, затем «Что делать?» Чернышевского — были изданы с ведома цензоров, во втором случае просто с ведома тюремщиков, наблюдавших за упражнениями узника Петропавловской крепости в жанре «авантюрно-любовного» романа. Но хотя с казенными охранителями, людьми примитивными не столько в силу натуры, сколько в силу должности, боролись самые глубокие и самые изощренные умы России, победу ума над тупостью, хитрости над силой приходилось оплачивать дорогой ценой.

Самодержавно-бюрократическая машина могла на какой-то момент застопорить, какой-то из ее винтиков мог не сработать, этого было достаточно, чтобы «крамола» дошла до читающей публики. Но как бы искусно ни упрятывалось в толще страниц путевого описания или авантюрного романа смертоносное жало, оно обнажалось сразу же, как только «невинную» книгу раскрывал сведущий читатель. Хотя, как справедливо заметил Герцен, «любовь догадливее и проницательнее ненависти» [1], «проницательные читатели» находились не только в стане друзей.

За дерзость приходилось расплачиваться каторгой, за взятое хитростью слово — долголетним молчанием. Но в сущности трагедия начиналась гораздо раньше тюрьмы и ссылки. Она начиналась в тот момент, когда мыслитель-революционер лучшие способности ума растрачивал на упрятывание мыслей, на их маскировку, на то, чтобы сделать свою идею одновременно и ясной и смутной, и доходчивой и непонятной, и разящей и тупой. Трагедия не прекращалась и после смерти автора. Те силы и те люди, которые творили расправу над мятежником, теперь старались захоронить, закопать поглубже его мятежную мысль А поскольку сделать это путем запретов не всегда удавалось, то рано или поздно откровенное преследование сменялось лицемерным нейтралитетом, запрет неугодных мыслей — их искажением.

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах. т. III. М., 1954, стр. 229.

Хорошо известно, что в политической борьбе даже ясно и открыто сформулированные выводы и лозунги перетолковываются вкривь и вкось идеологами противоборствующих направлений. Что же говорить о словах недоговоренных, о мыслях недосказанных, о книгах, изуродованных еще при рождении? Их не только можно было дальше увечить, но зачастую придавать им смысл, прямо противоположный тому, который они несли.

Подобное случилось с радищевским «Путешествием», когда, начиная с эпохи «великих» реформ царя Александра II, жандармская опека над писателем стала постепенно уступать место опеке либеральной, когда на смену грубым чиновникам III отделения пришли иные — либеральные хранители «культурных традиций» России.

Впрочем, не следует упрощать дело: наряду с сознательным обманом искажению подцензурной мысли могли способствовать и невежество, а то и просто неискушенность, недомыслие вполне благожелательных читателей-друзей.

История освобождения «Путешествия» из-под цензурного запрета закончилась в 1906 г.;[2] история освобождения запретной мысли Радищева не завершена до сих пор: свидетельством тому неугасающий спор вокруг, пожалуй, самого главного в наследии писателя — его отношения к революции.

Последнее заявление, возможно, вызовет недоумение некоторых осведомленных читателей. Нам не замедлят указать на то, что основоположником русской революционной традиции считали Радищева Г. В. Плеханов и В. И. Ленин, что все без исключения советские историки разделяют эту оценку. Могут напомнить и факты, известные всем со школьной скамьи: в оде «Вольность» писатель воспел грядущее народное восстание — день «избраннейший всех дней»; «Путешествие» содержит страстный призыв к крестьянам разбить оковами главы «безчеловечных своих господ»; за свою революционную проповедь Радищев едва не поплатился жизнью и т. д. и т. п.

Радищев — первый русский революционер. Эта бесспорная истина проверена десятилетиями классовой борьбы в России, подтверждена сотнями исследований последних

[2] См. В. Мияковский. К истории цензурных гонений на сочинения А. Н. Радищева.— «Русский библиофил», 1914, № 3; Н. Люсиновский. «Зловредная книга».— «Книга и пролетарская революция», 1939, № 7—8.

лет. Но хотя революционность Радищева доказана в нашей исторической науке, до сих пор не определены точно характер, глубина и последовательность его революционных идей, основные моменты его эволюции. Вот несколько заключений — они принадлежат советским историкам разных поколений, последнее отделено от первого промежутком в добрых сорок лет, но все повторяют одну и ту же тревожную мысль:

1925 год. «Отношение Радищева к революции выяснено не вполне: как объяснить, что Радищев отрицательно относился к Французской революции и в то же время сам призывал к революции?» [3]

1936 год. «До сих пор мы не имеем полной ясности в вопросе об отношении Радищева к революции... Эта тема, как и весь крестьянский вопрос в постановке Радищева, требует самого внимательного и углубленного изучения» [4].

1956 год. «До сих пор остается невыясненным, к кому обращены революционные идеи Радищева и как вообще понимал он революцию» [5].

1962 год. «Понимание взглядов А. Н. Радищева на крестьянский вопрос еще вызывает разногласия историков; особенно это относится к выяснению своеобразного призыва к революции с проектом постепенного освобождения крестьян, изложенным в его „Путешествии"» [6].

Дискуссия, организованная журналом «Вопросы философии» в 1955—1958 гг. [7], выявила накапливавшиеся подспудно в нашей исторической науке разноречия и противоречия, позволила сторонам столкнуться в открытой полемике, истина, говоря словами Радищева, получила сильную опору: «различие мнений, прения, и невозбранное мыслей

---

[3] В. Вальденберг. Рец. на кн.: В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования (1923 г.).— «Изв. Отд. русского языка и словесности Российской Академии наук, 1924». Л., 1925, т. XXIX, стр. 410.

[4] И. М. Троцкий. Вокруг Радищева.— Сб. «А. Н. Радищев. Материалы и исследования», М.—Л., 1936, стр. XIV—XV.

[5] А. А. Галактионов и П. Ф. Никандров. О месте А. Н. Радищева в русском освободительном движении.— «Вопросы философии», 1956, № 3, стр. 162.

[6] Б. Б. Кафенгауз, А. А. Преображенский. Проблемы истории России XVII—XVIII вв. в трудах советских ученых.— Сб. «Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС». М., 1962, стр. 180.

[7] См. «Вопросы философии», 1955, № 4; 1956, № 3—5; 1957, № 6; 1958, № 5.

своих изречение». Но если радовал сам факт дискуссии, то этого нельзя было сказать о ее предварительных результатах. В большинстве статей преобладали слишком общие рассуждения, слабо аргументированные конкретным материалом, авторы их почти совсем не опирались на новые данные, оказалась отброшенной и вся историография вопроса, дающая массу интереснейшего материала не только для постановки, но и для решения спорных проблем.

Одной из причин была неопытность авторов первой дискуссионной статьи[8]. Они не вполне четко отделили спорное от совершенно бесспорного, в самом спорном — главное от второстепенного, попытались на пространстве одной журнальной статьи ответить на десятки общих и частных вопросов сразу, лишив себя тем самым всякой возможности развить аргументацию.

В дальнейшем авторы этой статьи попытались встать на путь последовательной постановки и решения отдельных проблем[9]. Попыткой подвести определенный итог проделанной работе является данное исследование.

* * *

При анализе любой запутанной проблемы особую важность приобретают последовательность отдельных логических действий, правильность выделения и рассмотрения отдельных сторон данного объекта, ибо «выявление всеобщей связи явлений совершается через свою противоположность — через строжайшее отвлечение от всего того, что одному явлению свойственно благодаря его всеобщей взаимосвязи с другими...»[10]. Лишь в том случае, если это

---

[8] Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак. О двух оценках «Путешествия из Петербурга в Москву» в советской литературе.— «Вопросы философии», 1955, № 4.

[9] См. Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак. О некоторых спорных проблемах мировоззрения А. Н. Радищева.— «Исторические записки», т. 66; Е. Г. Плимак. Правда книги и ложь комментария (к выходу в США книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева).— Сб. «Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма». М., 1962; он же. Злоключения буржуазной компаративистики (К вопросу о характере политических концепций А. Н. Радищева и Г. Рейналя).— «История СССР», 1963, № 3; он же. Что открыл Георгий Шторм? — «История СССР», 1966, № 1; он же. Радищев и Робеспьер.— «Новый мир», 1966, № 6.

[10] Э. В. Ильенков. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960, стр. 74.

аналитическое рассечение произведено верно, становится возможным сведение всех противоречий спора к противоречиям исходным, главным, основным. Только на этой ступени анализа появляется способность ориентировки в уже наличной литературе, возможность более или менее полного учета ее достижений.

Слово «историография» в обыденном представлении (возникшем не без помощи самих историков) нередко ассоциируется с длинными, наводящими неудержимую тоску хронологическими обзорами, цель которых (в лучшем случае) оценить с точки зрения современной науки прошлые исследования на заданную тему, отделить работы прогрессивных историков от реакционных, воздать первым традиционную дань хвалы и уважения, вторым — столь же традиционную дань презрения и хулы. Между тем, если исходить из известной истины, что *теория* вопроса есть *концентрированная и обобщенная история* вопроса, то задача историографии не сводится к простой пассивной оценке представлений прошлого в свете представлений нынешнего дня, либо к поочередной раздаче тех или иных классовых оценок предшественникам. Цель историографии как метода научного исследования — обеспечить такое использование всей суммы уже накопленных данных (в том числе и реакционной историографии, дающей немало доказательств от противного), при котором прошлое стало бы в полном смысле этого слова настоящим — активнейшим фактором движения вперед, расширения, уточнения, обогащения современных знаний. Если по какой-либо проблеме споры тянутся десятилетиями, если список принявших в них участие содержит десятки, иногда сотни имен, то можно априорно утверждать, что историческая литература уже накопила больше фактических сведений, требуемых для решения проблемы, чем их сможет собрать за всю свою жизнь нерасчетливый исследователь, решивший заново исследовать необозримый океан фактов на свой собственный страх и риск. Изучение историографии может подсказать направление розыска, сэкономить массу сил, предупредить немало ошибок, причем искусство историка в том и состоит, чтобы извлечь из огромной наличной литературы действительно ценные работы, собрать воедино разбросанные в них данные, восполнив собственным поиском неизбежные пробелы, сконцентрировать весь фактический материал вокруг ключевых проблем.

Но у всякого исследования, как и всякой научной полемики, должен быть свой финал. Когда завершено, хотя бы вчерне, выяснение отдельных вопросов, возникает задача объединения разрозненного материала, задача его синтеза, который, естественно, никогда не будет ни вполне исчерпывающим (ибо никакое отдельное исследование не может охватить, исчерпать все стороны предмета), ни окончательным (ибо в науке продолжается накопление все новых и новых данных).

Именно потому, что авторы с самого начала искали решение спора, а не просто вели рассказ о событиях минувших дней, в этой книге нет традиционного очерка «эпохи» Радищева, развернутых биографических данных о писателе или пересказа его сочинений, будь то в их хронологической последовательности или научно-справочном подразделении на «политические», «социологические», «юридические», «этические» и тому подобные взгляды. Авторы стремились через историю более чем столетних «споров о Радищеве» глубже и яснее представить, **каким** революционером был сам Радищев.

Подчеркнем главное: в истории русской общественной мысли Радищев оставил столь глубокий след не просто в силу выдающихся качеств ума, смелости революционного протеста, трагичности своей личной судьбы. Его историческая роль определена глубиной понимания великих событий конца XVIII в., современником которых ему довелось быть, а по масштабам и основательности своего исторического действия в мировой истории не только XVIII, но и всего XIX в. (за исключением Парижской коммуны) не было, пожалуй, событий, сопоставимых с Крестьянской войной 1773—1775 гг. в России, Американской войной за независимость 1776—1783 гг., Великой французской революцией 1789—1794 гг.

В целом эволюция общественно-политических взглядов Радищева, жившего и писавшего свои произведения в одну из переломных эпох человечества, четко отразила характерный для последнего поколения просветителей и ряда теоретиков революции стремительный взлет буржуазно-демократического радикализма и последующий резкий его спад, связанный с углублением классовых антагонизмов в ходе великой социальной войны. Было бы поэтому принципиально неверным пытаться формулировать какие-либо обобщающие выводы о революционном мировоззрении

Радищева только на основании его произведений 80-х годов — «Путешествия» и «Вольности», без учета его позднейшей эволюции, тех сдвигов, которые запечатлены в его последних произведениях — «Осмнадцатом столетии», «Песни исторической». Именно это обстоятельство заставило авторов выйти за рамки своей относительно узкой темы и посвятить заключительную часть исследования «урокам осмнадцатого столетия». И здесь оказалось, что решение интересующей нас проблемы (характер революционности Радищева) зависит не только от правильности толкования тех или иных его текстов, не только от умения прояснить смысл тех или иных его идей в свете событий его эпохи, но прежде всего от понимания и трактовки ряда теоретических проблем самой революции. А это в свою очередь предполагало рассмотрение не только теорий и взглядов Радищева или других мыслителей XVIII в. самих по себе, но и тех важнейших процессов, отражением которых была теоретическая мысль конца XVIII — начала XIX в.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КРУШЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЛЕГЕНДЫ

> «Радищев — одна из величайших проблем русской литературы допушкинского времени. На изучение его, на осмысление его деятельности придется еще советской науке положить немало сил, и она обязана выполнить эту почетную задачу».
>
> Г. А. Гуковский

1. Революционная книга в роли манифеста русского либерализма

С 50-х годов XIX в. — когда в России появилась возможность если не печатать «Путешествие» Радищева, то хотя бы говорить о нем — книга стала объектом опеки либеральных историков. Ее замысел и логика представлялись в следующем виде. Увлеченный «Наказом» Екатерины II и руководствуясь сознанием страшного противоречия русской действительности с идеалами века, императрицы и его самого, Радищев вздумал прямым путем, с помощью вольных типографий, пробиться к престолу. Так появилось «Путешествие из Петербурга в Москву». «Жажда» писателя поскорее просветить царскую власть, открыть ей «истину», скрываемую «средостением» — придворными льстецами, ярче всего выразилась в главе «Спасская полесть». Но Радищев не только открыл Екатерине II мрачную картину русской крепостнической действительности. Он решился указать на «средства помочь злу», изложив в главах «Хотилов» и «Выдропуск» свой «Проект в будущем». Дореволюционные либеральные историки восторгались богатством идей проекта, который предусматривал, в частности, постепенное освобождение крестьян «сверху», по воле царя и с согласия помещиков. Так «Путешествие» превращалось в манифест русского либерализма, а его автор становился провозвестником 19 февраля 1861 г.[1]

[1] См., например, сборник историко-литературных статей «А. Н. Радищев. Его жизнь и сочинения», М., 1907, представляющий настоящую энциклопедию либеральной обработки Радищева. Типичные суждения взяты нами из статьи П. Н. Милюкова.

Подчеркнем, что «Проект в будущем» действительно предвосхищает некоторые основные положения реформы 1861 г., содержит ряд идей аграрного либерализма. Принадлежность их Радищеву сомнению не подвергалась: либеральные идеи находятся в «Проекте в будущем», сам проект — в «Путешествии», «Путешествие» написано Радищевым. Это нехитрое рассуждение подкреплялось ссылками на одно из замечаний Екатерины II по поводу главы «Хотилов» («уговаривает помещиков освободить крестьян, да нихто не послушает») и на показания Радищева, подтвердившего на следствии желание освободить крестьян «по воле всемилостивейшей государыни» [2].

Либерализм Радищева считался доказанным, оставалось изумляться «безотчетной пугливости» властей, продолжавших и после «великой реформы» преследовать «Путешествие». Даже явно «крамольным» местам «Путешествия» дворянско-буржуазная историография сумела придать вполне пристойное звучание. Писатель, оказывается, всего-навсего пугал дворян и царя угрозой нового бунта, думал довести до их сознания известный принцип «лучше сверху, чем снизу».

Результаты дореволюционных исследований неплохо подытожила Энциклопедия бр. Гранат: «По существу Р[адищев] был далек от каких-либо революционных тенденций, подобно Вольтеру, Гольбаху, Руссо и Мабли... Своей книгой он хотел открыть глаза Екатерине на истинное положение страны... „уговорить помещиков", покаявшись в своем „жестокосердии", поспешить — пока еще не поздно, под угорозой новой пугачевщины — с отменой „рабства". Автора еще не покинула вера в просвещенный разум мудрой власти, и он пишет своей „проект в будущем"... Книга Р[адищева] была, так[им] обр[азом], прежде всего апелляцией к власти автора „Наказа"» [3].

Лишь отдельные дореволюционные работы — С. Г. Сватикова, В. И. Семевского и др. [4] — рисовали Радищева убежденным демократом, врагом не только крепостничества,

[2] См. Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева. М.— Л., 1952, стр. 162, 180.

[3] Энциклопедический словарь бр. Гранат, изд. 7-е, т. 35, стр. 440—441 (статья «А. Н. Радищев» Б. Сыромятникова).

[4] См., например, С. Г. Сватиков. Общественное движение в России (1700—1895). Ростов-на-Дону, 1905; В. И. Семевский. Вопрос о преобразовании государственного строя России в XVIII и первой четверти XIX в.— «Былое», 1906, № 1.

но и самодержавия. Однако и здесь вопрос о соотношении революционных и либеральных идей Радищева не поднимался. Сватиков, усмотрев в оде «Вольность» призыв к народовластию и «сочувствие народу, восстающему против угнетателей», не упоминает о сюжетах «Спасской полести», «Хотилова». Семевский, считая политической программой Радищева революционные и республиканские идеи оды «Вольность» и «Жития Ф. В. Ушакова», также не замечает противоречия такой оценки традиционным толкованиям «Путешествия».

Единственное, пожалуй, исключение в дореволюционной историографии представляет исследование А. Незеленова, который специально заострял внимание на крайней противоречивости Радищева. «Не было в Екатерининскую эпоху ни одного писателя,— писал Незеленов,— в деятельности которого замечалось бы такое необыкновенное смешение разнородных направлений...». «Мы видели,— пояснял он,— что освобождения крестьян Радищев ждал от верховной власти..., что автор „Путешествия“ был далек от революционных замыслов и стремлений.— А между тем, в том же «Путешествии» он напечатал оду „Вольность“, в которой выражается сочувствие революции, воспевается кровавый бунт. Параллельно с этим через книгу проходит ряд отдельных выражений, по-видимому, свидетельствующих о враждебном отношении автора к царской власти... Выходки эти чрезвычайно странны, потому что совершенно не вяжутся, не имеют ничего общего с основною идеей всего сочинения, с его главным содержанием». Не был ли Радищев, спрашивал Незеленов, «человеком одержимым манией?» [5]

2. Версия В. П. Семенникова: «в лице Радищева сочетаются черты и революционера и либерала»

В. П. Семенников — автор первой исследовательской работы о Радищеве в советское время — взялся опровергнуть «тенденциозные и во многом ошибочные» выводы Незеленова. Впервые в исторический литературе он детально разобрал революционные места «Путешествия», оду «Воль-

---

[5] А. Незеленов. Литературные направления в Екатерининскую эпоху. СПб., 1889, стр. 311—312, 335—336, 338.

ность», попытался выяснить отношение Радищева к Американской войне за независимость, французской буржуазной революции. Оказалось, что в «Путешествии» писатель подверг разрушительной критике «всю систему самодержавного строя, сверху до низу», что он был не только противником помещичьей собственности на землю, но проповедником революционного освобождения крестьян, что его политическим идеалом было «народное правление». Но сделав такие выводы, Семенников по-прежнему принимал хотиловский «Проект в будущем» за «государственный идеал Радищева», попытку «воздействовать на правительство в смысле разрешения крестьянского вопроса». Получалось, что Радищев — ярый враг монархии и сторонник народной революции «в широком смысле этого понятия» — искал «на деле» путей сочетания народного правления с монархической властью, полагал, что реформа свершится «по манию царя».

Почувствовав логическую несообразность такой позиции, Семенников тут же разделил программу Радищева на два идеала: ближайший («Хотилов») и будущий («Тверь», «Городня»). Революционное чувство Радищева, утверждал он, готово было звать писателя к восстанию, но его здравый исторический смысл говорил, что для этого не созрели объективные условия. «Движущая сила революции — народ дремал в тяжелом сне рабства, и писатель бессилен был раскрыть глаза этому спящему народу. Естественно, что мысль ненавистника рабства бросалась тогда во все стороны, обращалась и к высшей власти. И хотя сознание, что власть, державшаяся самими „вотчинниками“, не отдаст добровольно ничего из своих прав, удерживало Радищева, он все же хотел кричать, в порыве отчаяния, и криком своим разбудить „седящего на престоле“».

Несмотря на внешнюю убедительность рассуждения, в нем не хватало основного — соответствия содержанию «Путешествия». «Проект в будущем», выдаваемый за ближайшую программу Радищева, относится как раз к отдаленным временам. Об этом говорят и заглавие и содержание, один из первоначальных вариантов прямо указывал: «Дано в ...18... года» (I, 427). Кстати, сам же Семенников признал в другом месте исследования: «...Проект говорит об отдаленном (!) будущем».

Таким образом, попытка Семенникова внести в дело ясность закончилась неудачей. Поставив целью «избавить»

Радищева от обвинения в «мнимых противоречиях», исследователь вынужден был с самого начала признать, что в духовном облике писателя «много неясного и психологически-загадочного», а завершал его изыскания следующий вывод: «Потому в лице Радищева сочетаются черты и революционера и либерала...» [6].

Однако в целом работа Семенникова имела одно неоспоримое достоинство: благодаря детальному сопоставлению революционных и либеральных мест книги стала явной логическая немыслимость приписанных писателю противоречий. «...С одной стороны,— писал Семенников,— ему не чужда вера, что общественные преобразования могут быть совершены волей верховной власти, с другой — Радищев видит только путь революции» [7]. Формула эта ценна тем, что сама себя разрушает. Если «только» путь революции, то, значит, нет надежд на «верховную власть». А если есть такая надежда, то, значит, Радищев видит не только путь революции.

3. Новые варианты прежней версии

Поставим вопрос: почему многие советские авторы, по-прежнему видя в «Хотилове» положительную программу революционера Радищева, т. е. разделяя по существу концепцию Семенникова, не приемлют его выводов? Ответ получается неожиданно простым. Сказав пару общих фраз о «некоторой непоследовательности», «дворянской ограниченности» или «иллюзиях» писателя, эти авторы уходят от детального разбора хотиловских сюжетов, спешат к явно революционным местам «Путешествия». Но тем важнее выделить тех, кто уделяет «иллюзиям» и «ограниченности» специальное внимание.

Обнаружив в «Хотилове» «либеральную программу освобождения крестьян», Е. В. Приказчикова впоследствии сделала попытку уточнить свой вывод. Проект стал либеральным только по методу решения задачи (обращение к «верхам») и одновременно революционным по содержанию. Но поправка явно искажает суть дела: либеральному методу проведения реформы полностью соот-

---

[6] В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования. М.—Пг., 1923, стр. 23, 25, 41, 55, 57, 59, 60, 70, 74, 81, 82.
[7] Там же, стр. 72—73. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

ветствует в проекте их либеральное содержание. Здесь предлагается «дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную, известную сумму» (I, 322), а Приказчикова утверждает, что «Проект в будущем» ведет к «полной ликвидации личной зависимости крестьянина от помещика без какого-либо намека (!?) на выкуп». Проект предусматривает постепенную ликвидацию власти помещика и передачу крестьянину одного лишь надела (I, 322), не затрагивая ни основ государственной власти крепостников, ни основ помещичьего землевладения, а Приказчикова полагает, что эти требования были революционны, ибо они «направлены на ликвидацию помещичьей собственности и помещичьей власти, на разрушение всего существовавшего экономического и политического строя»[8].

М. А. Горбунов доказывает «коренное отличие» хотиловского проекта от либеральных проектов современников Радищева, ссылаясь на отдельные фразы его вводной части, например: «Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде неделатель ея?» (I, 314). Но чтобы оценить проект по сути, надо поставить простой вопрос: кто и какие приводит здесь меры? Если, как сообщает Горбунов, де Лабей и Вольтер «предлагали со всяческой осторожностью приступить к делу освобождения крестьян, всецело уповая при этом на самих помещиков», то от того же Горбунова мы узнаем, что и написанный в «духе демократизма» хотиловский проект предлагал постепенное освобождение крестьян руками помещиков. Где же здесь «демократизм» и «коренное отличие»?[9] Что же касается противоречия между радикализмом общих суждений «Хотилова» и умеренностью предлагаемых здесь конкретных мер, то и эта черта была типичной для проектов Вольтера, Граслена, Поленова и др.

Э. С. Виленская, выявив «сосуществование» в книге Радищева двух «диаметрально противоположных теорий» — народной революции и «просвещенного абсолютизма», также спешит найти в последней «своеобразную демократическую окраску». «Как известно,— заявляет она,— Радищев в этом (хотиловском.— *Авт.*) проекте говорит о постепенном освобождении крестьян... Но эта постепенность далека

---

[8] Е. В. Приказчикова. Экономические взгляды А. Н. Радищева. М.—Л., 1949, стр. 81—82.

[9] М. А. Горбунов. Философские и общественно-политические взгляды А. Н. Радищева. М., 1949, стр. 75—78, 80—81 и др.

от того, что предлагали русские просветители и Руссо... Постепенность аргументируется не неспособностью крестьян принять свободу, а неспособностью самодержавия провести решительную реформу...»[10]. Однако рассуждения о неспособности «верхов» сразу освободить крестьян или о неспособности крестьянских «низов» сразу принять освобождение — две стороны одной и той же медали, демократизма нет ни здесь, ни там.

Возьмем следующий распространенный способ «ликвидации» противоречий «Путешествия». «...„Уязвленность“ Радищева страданиями порабощенного народа была настолько велика, что успокаиваться только надеждами на будущее он не мог,— пишет Д. Д. Благой.— Он хотел облегчить эти страдания теперь же, немедленно». Радищев, убеждает нас Л. Б. Светлов, «не питал никаких надежд на какое-либо ослабление крепостнического бремени в царствование Екатерины. Поэтому (!) он и добивался осуществления своеобразной программы-минимум с тем, чтобы улучшить положение крестьянства постольку, поскольку это было возможно в современных ему политических условиях»[11]. Перед нами почти буквальное воспроизведение путанной аргументации В. П. Семенникова о «ближайшей» и «будущей» программах Радищева.

Новый оттенок этим доводам сумел придать И. Я. Щипанов. Если Семенников в свое время не скрывал охранительного характера хотиловского проекта, то Щипанов увидел здесь такой «первый шаг к свободе», который не снимает, а создает предпосылки для революции[12]. Однако и эта конструкция рушится при обращении к источнику. Цель «Хотилова» — не подготовка (руками царя и помещиков!) условий для революции, а предупреждение революции — грядущей «пагубы зверства» (I, 320—321).

Но если для Щипанова «Хотилов» — программа-минимум, направленная на подготовку революции, то для Л. Кулаковой это уже программа-минимум, осуществляемая...

---

[10] Э. С. Виленская. Радищев — первый идеолог крестьянской революции.— «Исторические записки», т. 34, стр. 312, 319.

[11] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1955, стр. 474; Л. Б. Светлов. А. Н. Радищев. М., 1958, стр. 68. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[12] И. Я. Щипанов. Еще раз о Радищеве.— «Вопросы философии», 1957, № 6, стр. 132, 133.

после революции. «Название „Проект в будущем“ и сам текст,— начинает она анализ этой главы, «более трудной для понимания, чем все остальные главы»,— недвусмысленно говорят о том, что речь идет о будущем времени... Первый этап пройден: самодержавие свергнуто». Но полного благополучия нет, поясняет Кулакова. В свободной стране сохранились помещики и крепостное право. Понимая, что дворяне не пойдут на немедленное освобождение крестьян, Радищев намечает программу постепенной ликвидации крепостничества «сверху» [13]. Но беда в том, что самодержавие в главе «Хотилов» отнюдь не свергнуто. Хотиловский проект изложен в форме царского манифеста, сошлемся хотя бы на следующие слова: «Державные предки наши, среди могущества сил скипетра своего, немощны были...» и т. д. (I, 313).

Иногда противоречивость Радищева объясняют донельзя просто. «...Будучи дворянским революционером, он не исключал возможности добровольного участия и дворянства в раскрепощении крестьян» (следует пересказ «Проекта в будущем»). «Однако изучение экономической и политической жизни России и Западной Европы не оставляло для Радищева иллюзий относительно благонамеренности дворян в интересах крестьянства...» (следуют ссылки на главы «Тверь», «Городня») [14]. В «Хотилове» у Радищева — «иллюзия», строит В. С. Кружков аналогичное умозаключение. «Но эта иллюзия Радищева быстро (очевидно, в других главах? — *Авт.*) — рассеялась» [15]. Однако если иллюзии писателя «быстро рассеялись», зачем было сеять их у читателей «Путешествия», оставляя в книге либеральные проекты? Еще пример. М. Б. Козьмин утверждает: «Радищев никогда не придавал решающего значения мирному пути разрешения крестьянского вопроса: революционер в нем всегда брал верх» [16]. Но ведь над «Хотиловом» Радищев работал долгие годы, он дал здесь развернутую либеральную программу, ее он как будто отстаивал во время следствия. Может быть, «верх брал» не революционер, а либерал?

---

[13] Л. Кулакова. А. Н. Радищев. Очерк жизни и творчества. Л., 1949, стр. 69

[14] Предисловие И. Я. Щипанова к кн.: А. Н. Радищев. Избр. филос. соч. М., 1949, стр. 14.

[15] В. Кружков. А. Н. Радищев — великий патриот и революционер.— «Коммунист», 1952, № 17, стр. 73.

[16] М. Б. Козьмин. Радищев — провозвестник русской революции. М., 1950, стр. 13.

Объяснений много, но все они ничего не объясняют читателю. Все они затушевывают тем или иным способом «странную» противоречивость «Путешествия», подчеркнутую сначала А. Незеленовым, затем В. П. Семенниковым.

4. Новая гипотеза

В советской литературе 30-х годов был высказан и иной взгляд на «Путешествие»: его автор сознательно отвергал либеральные идеи «Проекта в будущем», противопоставляя им свою революционную концепцию. К такому заключению толкали факты двоякого рода: 1) сатирические моменты в «либеральных главах»; 2) полемическая направленность революционных глав против либеральных идей «Проекта в будущем». Важно установить, что наметки такого рода обозначаются в ряде дореволюционных работ.

Так, еще М. И. Сухомлинов подметил пародийные моменты в «Спасской полести», «Хотилове» и «Выдропуске». «Обыкновенный прием обличителей,—писал он,— заключался в следующем. Вся вина взваливалась на второстепенные и третьестепенные органы власти; что же касается ее источника, ее верховного представителя, то он изображался в самом привлекательном лучезарном свете... В таком же духе писались официальные бумаги и постановления высших правительственных мест... Для читателей, привыкших к подобному красноречию, книга Радищева была самою неприятною и возмутительною новостью. Речи странницы-истины, снимающей бельма, звучали диссонансом в общем хоре торжественных восхвалений, а „проект в будущем" представляется пародиею на хвалебную лирику и на некоторые официальные акты»[17]. Н. П. Павлов-Сильванский также уловил сатирические нотки в хотиловском проекте: «Чрезмерно язвительными должны были казаться императрице также замечания Радищева о „светильнике науки, носящемся над законоположением нашим" (намек на „Наказ") и о любезном отечестве нашем, доведенном постепенно до „цветущего состояния"» [18]. Подчеркнем, что оба историка продолжали толко-

---

[17] М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I. СПб., 1889, стр. 574—575. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[18] «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, СПб., 1905, стр. XXXVII—XXXVIII. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

вать «Хотилов» как собственно радищевскую программу освобождения крестьян.

В 20-е годы нашего века П. Н. Сакулин подметил внутреннюю противоречивость главы «Хотилов»: «Радищева поражает несоответствие внешнего блеска екатерининского царствования с действительным положением страны. Казалось, страна благоденствует под скипетром императрицы, но всюду видны вопиющие факты общественной неправды»[19].

В. П. Семенников, развивая ту же мысль, писал: «Не трудно заметить крупное внутреннее противоречие, допущенное Радищевым: в его идеальном государстве, где существует „равенство имуществ", еще процветает рабство... Есть и другая логическая несообразность: в государстве дворянство, как видно из дальнейшего текста проекта, является уже сословием „обветшавшим и в презрение впадшим", и тем не менее именно к помещикам-рабовладельцам обращает законодатель свой проект. В начале проекта говорится, что общество доведено „до высшего блаженства гражданского сожития", а далее идет речь о том, „колико удалились мы от цели общественной, колико отстоим еще вершины блаженства общественного далеко"». Однако В. П. Семенников не придал особого значения этим фактам, объявив их следствием «необработанности текста, осложненного позднейшими вставками». Не принял он и упомянутую догадку Павлова-Сильванского насчет язвительного намека на «Наказ»[20].

Я. Л. Барсков в комментариях к «Путешествию» продолжал считать либеральные идеи «Проекта в будущем» наиболее ценными для Радищева: ради «Хотилова», «можно сказать, и предпринято „Путешествие"». Но тот же Барсков увидел разоблачение «просвещенного абсолютизма» Екатерины II в книге Радищева и, что особенно важно, в хотиловском проекте. Выделив две его смысловые части — первую, которая «содержит проект высочайшего манифеста об упразднении крепостного права и приводит к тому социально-политические и морально-философские мотивы», и вторую, которая «проектирует постепенный ход освобождения крепостных людей», Барсков писал о первой следующее: «Автор проекта подражал стилю Екатерины и сознательно высмеивал императрицу. Трудно сочетать

[19] П. Н. Сакулин. История новой русской литературы. Эпоха классицизма. М., 1919, стр. 125.
[20] В. П. Семенников. Указ. соч., стр. 64, 60.

картину будущего государства, это „приятное божеству обиталище", где „законы верховные власти почитаются яко веления нежных родителей к своим чадам", где „умеренность в наказаниях предупреждает даже и бесхитростные злодеяния, где достигнуты свобода, равновесие во властях и равенство в имуществах", с наличием в том же государстве крепостного права и с готовностью рабов, ожидающих „случая и часа" восстать „с яростью на погубление" господ своих».

Получилось несоответствие. Написав ради либеральных идей «Хотилова» все «Путешествие», длительное время работая над главой, поставив в ней «смело и четко» вопрос об освобождении крестьян, Радищев не нашел ничего лучшего, как вложить свое желание освободить крестьян «в типичный манифест Екатерины: набор громких слов губил большую мысль»[21].

Не внес ясности в дело и В. Десницкий в 1938 г. Глава «Хотилов», утверждал он, «построена в виде манифеста некоего будущего царя. В начале главы этот манифест дан в явственно пародийном сатирическом духе. Подражая стилю официальных выступлений Екатерины и высмеивая их, Радищев ставил вопрос о том, что́ необходимо сделать для того, чтобы действительно, а не только на словах, добиться счастья народа»[22]. Противоречие, обнаженное Барсковым, снова оказалось затушеванным. Еще проще поступил Д. С. Бабкин. Ссылаясь на Я. Л. Барскова, он свел весь проект к сатире на указы Екатерины II и вообще устранил его положительное содержание. «В главе „Хотилов",— пишет он,— Радищев поместил „Проект в будущем", в котором чрезвычайно тонко осмеял пустозвонство „ высочайших" указов»[23].

Параллельно этому шло переосмысление другой либеральной главы — «Спасская полесть». Так, П. Н. Сакулин, отбросив традиционное истолкование «Сна» из этой главы как обращения к «философу на троне», обнаружил в нем сатиру на «великие деяния» Екатерины II: «В форме алле-

---

[21] «Материалы к изучению „Путешествия из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева», «Academia», 1935, стр. 149, 426, 427—428. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[22] А. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Л., 1938, стр. 368. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[23] Д. Бабкин. Предисловие к кн.: А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Л., 1949, стр. 25—26. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

горического сновидения... Радищев остроумно разоблачил мишуру просвещенного абсолютизма»[24].

В то же время М. Н. Покровский обнаружил связь сюжетов «сновидения» и революционных глав «Тверь» и «Медное». «Уже в самом начале „Путешествия“ (глава „Спасская полесть“),— писал он,— автор, увидевший себя во сне „царем, шахом, ханом, королем, беем, набобом, султаном“, словом, каким-то воплощением монархического начала, и долго любовавшийся своим великолепием, под конец, когда „Истина“ сняла с глаз его бельма, нашел, что одежды его „столь блестящие, казались замараны кровью и омочены слезами...“ После сурового реприманда „Истины...“ „царь, шах, хан и тому подобное“, „познал... откуда проистекает мое право и власть“. Конфликт разрешился, таким образом, тем, что сам царь стал республиканцем... Но Радищев отлично понимал, что такого рода мирное решение может получиться только во сне. И, возвращаясь еще раз к теме о политическом рабстве, уже в конце „Путешествия“ (глава „Тверь“) он дает тому же конфликту, теперь не замаскированному „сновидением“, чисто революционный исход... Центральной картиной „Вольности“ является суд народа над царем за восстание — восстание царя против народа... А за судом следует казнь...»[25].

Еще раньше была отмечена в литературе логическая связь глав «Хотилов» и «Медное». Признав, что в первой «Радищев горячо убеждает своих современников приступить к освобождению крестьян», В. А. Мякотин совсем иные мотивы видел во второй. Переходя от идеалов к действительности, писал он, Радищев «не ждал большой симпатии к делу освобождения крестьян от главных сил современного ему общественного порядка и всего менее надежд возлагал в этом отношении на помещиков... Стремления самой народной массы, естественно порождаемые тяжестью ее положения, могут изменить существующий порядок вещей»[26].

В. П. Семенников, говоря о реформистских колебаниях Радищева в «Путешествии», также подмечал: «...Против

---

[24] П. Н. Сакулин. Русская литература и социализм, ч. I. М., 1924, стр. 65. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[25] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. II. Пг., 1923, стр. 156, 157. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[26] В. А. Мякотин. Из истории русского общества. СПб., 1902, стр. 215—217.

этих колебаний Радищев сам (!) выставляет чрезвычайно существенный довод»[27].

В середине 30-х годов новую точку зрения попытался обосновать Ю. Спасский. «И не столько своими последовательными демократическими гуманными взглядами выделился автор „Путешествия“ над уровнем современных ему русских гуманистов...,— писал он,— сколько своим единственным в его веке откровенным и мужественным признанием непримиримого социального антагонизма крепостных отношений, ясным пониманием невозможности реформы и неизбежности революции»[28].

Любопытная деталь. Спасский настойчиво повторяет, что Радищев «отвергал возможность снять с крестьянства цепи рабства реформой». Основанием для такого вывода служат «Медное» и «Вольность». Но Спасский молчит о либеральных главах «Путешествия». Предположение о незнании текстов в данном случае совершенно исключается — автор видит в книге такие оттенки, которых и поныне не замечают многие радищеведы. Остается предположить, что он просто обходит противоречащие его выводу факты.

Аналогичную позицию занял в конце 30-х годов Г. А. Гуковский. «...„Путешествие“ — книга, совершенно единая по замыслу и по выполнению,— утверждал он.— Спасти народ от тирании помещиков и царя может одно: революция,— такова мысль Радищева... Знаменитое заключение главы „Медное“ в „Путешествии“ недвусмысленно отвергает возможность всякого сомнения в данном вопросе...» А вот еще более категоричное заявление того же автора: «Радищев считает революцию единственным путем завоевания свободы для народа. В реформы сверху он не верит»[29]. Однако главу «Хотилов» Гуковский по существу также не рассматривал.

Более радикально решил проблему загадочной противоречивости «Путешествия» Г. П. Макогоненко[30]. Мнение Се-

---

[27] В. П. Семенников. Указ. соч., стр. 74.

[28] Ю. Спасский. А. Н. Радищев и его время.— «Октябрь», 1935, кн. 4, стр. 165.

[29] А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. I. М.— Л., 1938. Предисловие, стр. VII, XIII; Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938, стр. 152.

[30] Г. П. Макогоненко. О композиции «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.— «XVIII век», сб. 2, М.— Л., 1940, стр. 25—53.

менникова и его последователей (автор «Путешествия» — одновременно и «революционер и либерал») он объявил результатом порочного принципа рассмотрения книги как ряда самостоятельных, не связанных между собой очерков. Единым сюжетом «Путешествия» была, по мнению Макогоненко, история дворянского либерала времен Екатерины II, познающего, под влиянием чувственных фактов окружающей жизни, свои заблуждения и избирающего в конце концов путь революции. Глава «Хотилов» рассматривалась теперь как один из этапов идейной эволюции героя.

В 40—50-е годы новую точку зрения поддержали П. Н. Берков, Н. И. Громов, А. Н. Васильева, С. Ф. Елеонский, А. В. Западов, С. А. Покровский и некоторые другие исследователи. Расходясь с Макогоненко в ряде частных пунктов, все они согласны с тезисом, который Громов выразил так: «Радищев воспроизводит в „Проекте в будущем" либерально-прогрессивные настроения своего времени, но сам не разделяет их, придерживаясь революционного метода освобождения крестьян» [31].

5. О чем говорит историография

Подведем итоги. За сто лет изучения «Путешествия» о воззрениях его автора были высказаны три общих суждения: 1) Радищев — либерал, поклонник идеалов «Наказа» Екатерины II, провозвестник «великой реформы» 1861 г.; 2) Радищев и революционер и либерал, сочетавший идеи народной революции и «просвещенного абсолютизма»; 3) Радищев — убежденный революционер, разоблачавший «просвещенный абсолютизм» Екатерины II, отвергавший либеральные иллюзии современников.

---

[31] Н. И. Громов. О композиции «Путешествия из Петербурга в Москву».— Сб. «Радищев, статьи и материалы», Л., 1950, стр. 137. См. также П. Н. Берков. «Гражданин будущих времен» — «Известия АН СССР. Отд. литературы и языка» т. VIII, вып. 5, 1949; А. Н. Васильева. О некоторых художественных особенностях «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.— «Ученые записки Моск. обл. пед. ин-та», т. XL, 1956. Труды кафедры русской литературы, вып. 2; С. Ф. Елеонский. Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». М., 1952; А. В. Западов. О спорном и бесспорном в оценке наследия А. Н. Радищева.— «Вопросы философии», 1957, № 6; С. А. Покровский. Государственно-правовые взгляды Радищева. М., 1956, и др.

Первое из этих суждений основано на замалчивании или явном искажении революционных глав «Путешествия». Второе и третье следует пока признать сосуществующими в науке гипотезами. Зародыши обеих гипотез мы обнаружили в дореволюционной литературе. В процессе своего развития обе были подкреплены определенным фактическим и теоретическим материалом. Ныне сторонники каждой из них обвиняют противников в извращении исторических фактов, в их субъективистской оценке. По мнению Г. П. Макогоненко, его оппоненты не видят связи глав «Путешествия», тасуют их по своему усмотрению и из этого «хаоса» мыслей и чувств кроят своего Радищева [32]. Д. Д. Благой, напротив, полагает, что концепция Макогоненко «при всей ее внешней стройности и соблазняющей убедительности представляется неисторичной и надуманной» [33]. Мысль об «антиисторичности» гипотезы Макогоненко настойчиво повторяется в советской литературе [34]. И последнее. Сторонники новой гипотезы упрекают своих оппонентов в том, что те оставляют в руках буржуазных историков главный аргумент за «либерализм» Радищева — главу «Хотилов» [35]. Их оппоненты категорически возражают против того, чтобы какие-либо попытки указать на историческую ограниченность взглядов писателя заранее объявлялись «либерально-буржуазной точкой зрения» [36].

Вопрос об отношении той или иной гипотезы к либеральным трактовкам «Путешествия» имеет принципиальное значение.

Призывы преодолеть «остатки» буржуазно-либеральных концепций в нашей литературе стали раздаваться лет 20—25 тому назад. Еще в 1936 г. И. М. Троцкий писал: «...Если либерально-народническая концепция в своем обнаженном виде не может оказать воздействия на марксистскую науку, то это не мешает отдельным элементам этой легенды, имеющим на первый взгляд „объективный“, „фактический“ характер, проникать в советскую литературу о Радищеве». К таким «элементам» исследователь относил

[32] Г. П. Макогоненко. Указ. соч., стр. 31.

[33] Д. Д. Благой. Указ. соч., стр. 475.

[34] См. например, «История русской литературы в трех томах», т. I, М.—Л., 1958, стр. 609, 696.

[35] Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак. О двух оценках «Путешествия из Петербурга в Москву» в советской литературе.— «Вопросы философии», 1955, № 4, стр. 193—195.

[36] «История русской литературы в трех томах», т. I, стр. 696.

взгляд на Радищева как на писателя-одиночку, не имевшего никаких корней в русской жизни, а также рассмотрение его книги как прежде всего обращения к «философу на троне» [37].

В 1938 г. ту же мысль в довольно резкой форме выразил Г. А. Гуковский: «К сожалению, приходится констатировать, что и до сих пор не до конца изжиты привычки недооценки Радищева, как не до конца изжиты и контрреволюционные „методы" фальсификации Радищева» [38].

В 1940 г. Г. П. Макогоненко упрекал своих коллег если не в сохранении «контрреволюционных» методов фальсификации, то в возрождении эклектических установок В. П. Семенникова: «К сожалению, и в советском литературоведении продолжают еще звучать ноты недооценки наследства Радищева. Характерной особенностью большинства новых работ, посвященных „Путешествию", является установление в «Путешествии из Петербурга в Москву" двух противоречивых тенденций: Радищев против крепостного права, самодержавия, против всего феодально-крепостнического уклада, он — за крестьянское восстание как единственный метод достижения вольности. Это утверждение исследователи естественно подкрепляют ссылками на соответствующие главы и страницы „Путешествия" и приходят к выводу о революционности Радищева. Но так как „движущие силы революции — народ — дремал в тяжелом сне рабства" (Семенников), то поэтому „ненавистник рабства", раздираемый противоречиями, бросается к правительству с предложением сотрудничества, пишет проекты, соглашаясь на царские милости в настоящем и лишь мечтает о революции в будущем. И это второе утверждение также подкрепляется цитатами и соответствующими главами „Путешествия", из которых делается вывод: Радищев — либерал... Этот вывод новейшего исследователя оказался роковым для судьбы последующих научных работ о Радищеве» [39].

Минуло десятилетие, появились десятки новых работ, но и в обзоре юбилейной литературы о Радищеве 1949 г.

---

[37] Сб. «А. Н. Радищев. Материалы и исследования», М.— Л., 1936, стр. VII.

[38] Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы..., стр. 6.

[39] Г. П. Макогоненко. Указ. соч., стр. 26.

звучит знакомый призыв — преодолеть «остатки либеральных извращений мировоззрения Радищева» [40].

А в 50-е годы П. Н. Берков с огорчением диагносцирует «рецидивы» все той же старой болезни. Во многих пунктах, отмечает он, «проблема Радищева» прояснена, «...Признано, что главная суть вклада Радищева в русскую литературу заключается в его последовательном демократизме и революционных выводах его философии. Однако по вопросу о характере этой революционности — демократическом или дворянском — дискуссии еще продолжаются. Больше того, высказываются даже мнения, что последовательным демократом и революционером считать Радищева не следует. Эти рецидивы досоветских трактовок не могут не вызвать огорчения» [41].

Сталкиваясь с этими обвинениями, призывами и сожалениями, которые звучат три десятилетия подряд, невольно задаешь себе вопрос: почему они производят столь ничтожный эффект? Ведь сами по себе обвинения в возрождении буржуазных или «досоветских» концепций (пусть даже «элементов» таковых) достаточно серьезны, чтобы посчитаться с ними, к тому же часто обвинения идут от таких людей (Г. А. Гуковский, П. Н. Берков), которые по существу возглавляли или возглавляют изучение русской литературы XVIII в.

Разгадку мы находим при внимательном чтении «обвинительных актов». Дело в том, что «элементы» старых, дореволюционных трактовок, проникшие в нашу литературу, носят «фактический», «объективный» характер (И. М. Троцкий), в том, что неправильные утверждения «также подкрепляются цитатами и соответствующими главами „Путешествия“» (Г. П. Макогоненко). А это делает сомнительными обвинения в следовании буржуазным взглядам.

Уточним: понятие «буржуазный» нельзя автоматически относить к какой-либо точке зрения потому лишь, что ее развивали буржуазные историки. Понятия «буржуазный», «буржуазно-либеральный» являются для нас всего-навсего и единственно синонимами н е о б ъ е к т и в н о с т и, опреде-

---

[40] С. А л е к с а н д р о в. Обзор юбилейной литературы о А. Н. Радищеве.— «Известия АН СССР. Отд. экономики и права», 1949, № 6, стр. 471.

[41] П. Н. Б е р к о в. Итоги, проблемы и перспективы изучения русской литературы XVIII века.— «XVIII век», сб. 3, М.—Л., 1958, стр. 19.

ленной в свою очередь классовым миросозерцанием буржуазных ученых. Если, к примеру, тексты действительно подтвердят, что либеральные идеи в «Путешествии» принадлежат самому Радищеву,— а обмолвки И. М. Троцкого или Г. П. Макогоненко дают основания полагать, что эта возможность не исключена,— то отпадут всякие основания зачислять оппонентов Макогоненко в разряд последователей буржуазной науки.

Другое дело, если с фактами в руках будет доказано, что никаких либеральных идей у Радищева в «Путешествии» нет, что буржуазная наука именовала либеральными те тексты, которые содержат критику либерализма, точнее, критику доктрины «просвещенного абсолютизма». Тогда, вероятнее всего, отпадет сама собой и всякая необходимость обвинений в возрождении «досоветских» трактовок, ибо трудно допустить, чтобы кто-либо из наших историков стал повторять зады буржуазной науки, игнорируя неоспоримые доказательные факты.

Таким образом, решение спора зависит прежде всего от степени фактической разработки той или иной гипотезы, поисков объективных данных, подтверждающих правоту той или другой стороны. Нельзя сказать, что сторонники новой точки зрения ничего не сделали для ее обоснования — результаты их поиска представлены ниже. Но они не сделали главного: не подвергли тщательному изучению как раз те тексты, которые служили в дореволюционных работах свидетельством «либерализма» книги Радищева, которые служат и у ряда советских авторов свидетельством ее «противоречивости».

С другой стороны, оппоненты новой гипотезы также не дали аргументированного разбора тех же мест «Путешествия», хотя такой разбор позволил бы им отмежеваться от буржуазных трактовок. Сказанное объясняет, почему поиск ключа к «загадкам» радищевской книги мы начинаем с детального анализа ее «либеральных» глав.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАГАДКИ РАДИЩЕВСКОГО «ПРОЕКТА В БУДУЩЕМ»

> «Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на разсудительное увижу, то тот час стяну; смотри, ты некладн мыслей плохо».
>
> А. Н. Радищев

1. Обращение к «философу на троне»?

Попытаемся очертить внешний сюжет так называемых либеральных глав. Мы не случайно говорим «попытаемся» — текст их труден для понимания даже специалиста-текстолога. Главы скомпонованы из разнородных по содержанию и стилю кусков, в ряде мест нагромождение маловразумительных, громоздких фраз заслоняет смысл, общую для всех трех глав идейную канву автор как будто нарочито разрывает, перемежая их другими главами. И все же от «Спасской полести» к «Хотилову», от «Хотилова» к «Выдропуску» тянется, то исчезая, то появляясь вновь единая сюжетная нить.

В «Спасской полести» путник, сталкиваясь с фактами все новых злоупотреблений, начинает размышлять, «каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховныя власти» (I, 247). Утомленный тягостными размышлениями, он впадает в крепкий сон, где представляет себя в роли «нечто, седящего во власти на Престоле» (I. 248 и далее).

Подобострастная толпа царедворцев внушает ему, что страна процветает и блаженствует под десницей «всещедрого Владыки». Но вот, преодолев противодействие «стоглазной» придворной стражи, к трону пробивается Истина. Она снимает с очей государя бельма, рассеивает ложный блеск «мнимых блаженств», представляет взорам его все вещи «в естественном их виде» (I, 250—257). Сам царь оказывается кровавым преступником, его блестящая свита — толпой хищных злодеев, «тысящи бедств» представляются царским очам. В финале сна, узрев правду, Владыка «возре-

вел... яростию гнева» на злодеев, злоупотребивших его «доверенностью», познал свои обязанности, понял, откуда проистекают его «право и власть» (I, 257).

Продолжение следует восемь глав спустя — когда прозревший монарх приступает к действиям. Довершая подвиги своих державных предков, не завершенные из-за происков наследственного дворянства, он издает высочайший манифест — «Проект в будущем». Первая часть проекта («Хотилов») призывает помещиков разрушить тяжкие узы рабства и неволи — последнее препятствие к утверждению «вышшаго блаженства» в стране. Вторая («Выдропуск») уничтожает «придворные чины», подрубает корень «ласкательства», сделавшего царя «неосязательным» к бедствиям народа.

Любопытно, что в «Хотилове» царь начинает свой манифест почти с буквального воспроизведения фразеологии придворных ласкателей из «Спасской полести», вещавших о блаженстве и процветании отечества (I, 250, 311—312), но далее сам же начинает доказывать, что «все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, преходящими, частными и мысленными» (I, 315). Сюжетное единство глав подчеркивается другими созвучиями. В «Спасской полести» еще не прозревший царь повелевал первому военачальнику утверждать славу своего оружия в чужих странах. «Но что обретаем в самой славе завоеваний,— отвечал на это „прозревший" царь в „Хотилове".— Звук, гремление, надутлость, и истощение... Плод твоего завоевания будет, нельсти себе, убийство и ненависть» (I, 251, 317—318). В «Спасской полести» царь приказывал первому зодчему воздвигать «великолепнейшия здания для убежища мусс»; в «Хотилове» он же доказывает, что «огромность зданий безполезных обществу, суть явныя доказательства его порабощения» (I, 251, 317) и т. д.

Но хотиловский проект не только развивает, он существенно дополняет сюжеты «Спасской полести». Там Истина обличала царя и его приближенных, вопрос о крепостном рабстве почти не выделялся. Здесь рабство становится центральной темой. Прозревшего самодержца возмущает больше всего «зверской обычай, порабощать себе подобнаго человека». «Можноли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? — гневно вопрошает он.— Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо неимеет понятия о лучшем состоянии» (I, 312—315).

В эти обличения вклинивается обширная часть, устанавливающая «противность» порабощения заповедям религии и «основаниям права естественнаго и права гражданскаго». Автор манифеста защищает здесь не только равенство людей, но и исключительное право земледельца на обрабатываемую им землю: «...В начале общества, тот кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право и обработывающий ее, пользуется ею изключительно» (I, 315).

Продолжив рассуждения о блаженствах мнимых и блаженстве подлинном (I, 315—318), автор переходит затем к «ближайшим о состоянии земледелателей понятиям» (I, 318). Он указывает, что это состояние препятствует «размножению народа», подчеркивает малую производительность «принужденной» работы по сравнению со свободной, предупреждает об опасности нового крестьянского возмущения, несущего помещикам в отместку за их суровость и бесчеловечие «мечь и отраву», «смерть и пожигание» (I, 318—320). Исчерпав все доводы разума, царь взывает, наконец, к сердцам «возлюбленных» своих подданных, умоляет их попрать «нредразсуждения» и «корыстолюбие», освободить «братию» свою, сокрушить оковы «любезных» сограждан, восстановить «природное всех равенство» (I, 321). Слезливое обращение царя к помещикам заканчивается; путешественник излагает те меры, которые предлагалось в тех же бумагах провести «к постепенному освобождению земледельцов в России» (I, 322).

В «Выдропуске» тот же царь доказывает, что восстановление нарушенного в обществе естественного и гражданского равенства немыслимо без «умаления прав дворянства». Полезное вначале государству личными своими заслугами, оно ослабело затем «в подвигах своих наследственностию, и сладкий при насаждении, его корень, произнес наконец плод горький» (I, 326; это развитие аналогичных мотивов «Хотилова» — ср. I, 312—313). Обитая среди столь «тесных душ», развратились и сами государи: «возмнили что они суть боги» и «в таковой дремоте величания власти... воздвигли Цари придворных истуканов, кои истинные феатральныя божки, повинуются свистку или трещетке» (это повторение мотивов «Спасской полести», ср. I, 327, 249—250). Демонстрируя своим собратьям — «Владыкам» вред лести, обманчивость внешнего блеска, царь устремляет все свои силы «на пользу всех и каждаго», уничтожает «сравнение царедворскаго служения, с военным и гражданским» (I,

328—329), показывает потомству, «како власть со свободою сочетать должно, на взаимную пользу» (I, 330).

Мы видим теперь, что внешняя сюжетная линия либеральных глав «Путешествия» передавалась буржуазными исследователями в общем довольно точно. На первый взгляд, перед нами последовательный, поражающий логичностью, либерально-просветительский план. Сначала самодержцу, невзирая на чины и лица (чего стоят обличения самого царя!), показывается зло, царящее в стране («Спасская полесть»). Свершается революция, разумеется, в либеральном ее понимании. Царь «прозревает», он сам становится орудием исполнения просветительских планов («Хотилов», «Выдропуск»). «И от имени „гражданина будущих времен“,— заключал П. Н. Милюков,— Радищев предлагает свой „проект в будущем“, якобы найденный им на дороге. Форма проекта — та самая, какую употребил когда-то Крижанич: это речь царя к народу или, лучше сказать, к правящему сословию государства. Цель проекта — „постепенное введение нарушеннаго в обществе естественнаго и гражданскаго равенства“. Средства — двоякие. С одной стороны, это — освобождение крестьян (с землей); с другой — „умаление прав дворянства“»[1].

Но не будем спешить с окончательными выводами. Попытаемся поглубже заглянуть в содержание рассмотренных глав.

2. Обобщение либеральных проектов XVIII в.?

Историческая конкретность «Путешествия» отмечалась в литературе; по свидетельству П. А. Радищева, в книге его отца, кроме «неуместной в известном отношении» оды «Вольность», все остальное «представляет не более как собрание фактов из действительности...»[2].

Неоднократно подчеркивалась исследователями и типичность сюжетов разбираемых глав. Еще в 1929 г. А. Скафтымов писал о «Спасской полести»: «Общим местом для литературы времени Радищева являются и образы дурного, идеального или прозревшего царя. Наиболее близким к соответствующей главе Радищева является произведение

[1] П. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. 3. СПб., 1903, стр. 394.

[2] «Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями», М.— Л., 1959, стр. 104.

Львова „Храм истины". Как у Радищева Прямовзора (Истина), здесь Зороастр в храме „Истины" открывает царю его подлинное печальное положение, происходящее от его самообольщения и доверчивости. Его обманывали придворные вельможи, они затмили его глаза внешним показным блеском. Царь прозревает, начинает понимать свое ослепление и в последней речи излагает новое и должное понимание обязанностей правителя»[3].

Установлено далее, что «нечто, седящее во власти на Престоле» списано с Екатерины, а окружение «Престола» — с ее двора. «Недвусмысленность этого памфлета так определенна,— пишет Д. Д. Благой,— что в изображении, например, военачальника, вместо борьбы с врагом „утопавшего в роскоши и веселии", а воинов своих почитавшего „хуже скотов", Потемкин не мог не узнать себя. Не могла не узнать себя в описании сна и Екатерина»[4].

Л. В. Крестова расшифровала и такую деталь: в описаниях царских регалий и эмблем «нечто» Радищев воспроизвел традиционную символику барельефов и медальонов, находившихся в зале общего собрания Сената[5].

Напомним еще одну сцену. В начале «Сна» окружившие престол «ласкатели» ждут «важнаго какого произшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели» (I, 249). «Нечто», пресытившись скукой, зевает во весь рот. Вокруг сразу же воцаряется печаль и смятение. На лице владыки, тронутого этим зрелищем, становится заметно «кривление улыбке подобное» — он «весьма звонко» чихает. На лицах окружающих немедленно исчезает вид печали. «Все начали восклицать: да здравствует наш великий Государь, да здравствует на веки... Иной в полголоса говорил: он усмирил внешних и внутренних врагов... Другой возклицал: он обогатил Государство, разширил внутренную и внешную торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие... Юношество с восторгом руки на Небо простирая рекло: он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем.

---

[3] А. Скафтымов. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958, стр. 96.

[4] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1955, стр. 469.

[5] Л. В. Крестова. «Сон» в главе «Спасская полесть» «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева.—«Известия АН СССР. Отд. литературы и языка», т. XVI, вып. 4, 1957, стр. 352—353.

Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех Царей велик, он вольность дарует всем» (I, 250). В этих льстивых речах, отмечал С. Ф. Елеонский, можно документировать каждую строчку, настолько верно передают они содержание и фразеологию похвальных слов, слагавшихся в честь Екатерины [6].

Но спросим, что за «важное произшествие» дало повод для панегириков? Если верить официальной версии, самым важным в годы Екатерины II событием было издание императорского «Наказа» (1767 г.).

Именно «Наказ» — этот основной идеологический документ эпохи русского «просвещенного абсолютизма» — на целые десятилетия снабдил служителей культа «Великой, Премудрой, Матери Отечества» богатейшей фразеологией для всякого рода похвальных слов, од и песнопений. И отзвуки «Наказа», несомненно, слышны в цитированных строках. «Наказ» был продиктован желанием «видети все отечество свое на самой вышней степени благополучия, славы, блаженства и спокойствия» — в «Спасской полести» также говорится о важном происшествии, от «коего спокойствие и блаженство всего общества зависели». «Наказ» объявлял на весь мир, что «предлогом самодержавнаго правления» будет отныне охрана «естественной вольности» людей [7] — в «Спасской полести» льстецы восхваляют царя: «он вольность дарует всем». Близость тематики речей «ласкателей» и панегириков, непосредственно посвященных «Наказу», отмечал еще в дореволюционной литературе М. Туманов, указав на письмо Доминика Диодати из Неаполя по поводу «Наказа» («Живописец», т. I, 1772 г.) и речь маршала Бибикова в Уложенной комиссии 27 сентября 1767 г. при поднесении Екатерине II титула «Премудрой, Великой, Матери Отечества» (ПСЗ, т. XVIII, № 12978) как на ближайшие литературные источники главы [8].

Переходя от «Спасской полести» к «Хотилову» и «Выдропуску», мы также находим для любой части пространного «Проекта в будущем» реальный исторический эквивалент.

---

[6] С. Ф. Елеонский. Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», стр. 25.

[7] «Наказ е. и. в. Екатерины Вторыя Самодержицы Всероссийския данный Комиссии о сочинении проекта Новаго Уложения», СПб., 1893, стр. 2, 5.

[8] См. сб. «А. Н. Радищев. Его жизнь и сочинения», М., 1907, стр. 218—219.

Вступление к манифесту (описание процветающего и блаженствующего общества) снова воспроизводит фразеологию панегириков Екатерине II.

«Проект в будущем»	Похвальные слова Екатерине[9]
«Доведя постепенно любезное отечество наше, до цветущаго состояния, в котором оное ныне находится; видя науки, художества и рукоделия, возведенныя до высочайшия совершенства степени, до коей человеку достигнути дозволяется; видя в областях наших, что разум человеческий вольно распростирая свое крылие, безпрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию, и надежным ныне стал стражею общественных законоположений. Под державным его покровом свободно и сердце наше в молитвах, ко всевышнему творцу возсылаемых. С неизреченным радованием сказати может, что отечество наше есть приятное божеству обиталище; ибо сложение его не на предразсудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот отца всех.	«...возведем радостный наш взор на нынешнее наше цветущее состояние». «Теперь посмотрим на наше любезное отечество... Что не иное что есть, как наслаждается ли оно цветущим состоянием». «...Распространяются науки, процветают художества и новыя от часу открываются изобретения...» «...Исправление и утешение рода человеческаго, науки и художества ликуют». «...Ея премудрость сияет в законоположениях...» «Взирая мысленно на сие радостным восторгом пленяюсь я, с ревностным желанием, чтобы премудрая Государыня Божие щедроты на тебя и через тебя на всю Россию излиянныя и великия вашего величества дела прославить...»
Неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшия за их исповедание, неизвестно нам в оном и принуждение. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единаго имея отца, бога	«Несколько тысяч различных народов имеют жительство в городах сего Государства. Ея Императорское Величество установила для них каждому по закону Его пастырей и духовенство... дабы каждой по своему закону и по своим обычаям молился Создателю Богу».
Светильник науки, носяся над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений...	«Сей дражайший роду человеческому Наказ есть всем земным обладателям наставление. В нем открываются цепь всех законода-

[9] Образцы казенного славословия эпохи Екатерины принадлежат архиепископу ростовскому и ярославскому Самуилу, ректору Московской славяно-греко-латинской академии Дамаскину, Семену Десницкому, маршалу Комиссии по составлению Уложения Бибикову, архиепископу новгородскому и санктпетербургскому Гавриилу, Ивану Владыкину, посланнику Мохаммеду Доминику Ашфери и др. При обилии панегирической литературы царствования Екатерины выписки можно умножить во много крат.

Умеренность в наказаниях, заставляя почитать законы верховныя власти, яко веления нежных родителей к своим чадам, предъупреждает даже и безхитросныя злодеяния.

Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений, недозволяет возродиться семейным распрям. Межа, отделяющая гражданина в его владении от другаго, глубока, и всеми зрима, и всеми свято почитаема. Оскорбления частныя между нами редки и дружелюбно примиряются.

Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да будем граждане миролюбивые, но прежде всего да будем человеки» (I, 311—312).

тельства оснований, нужныя истины в иных странах от лица царей отринутыя...»

«От преступлений удерживает кротостию...»

«Человеколюбие обитает в ея душе и без послабления смягчает строгость законов. Пороки исчезают, и корень их пресекается, но с кротостью исправляются нравы...»

«...То полезное и нужно потребное учреждение межевания, учреждение к предписанию ко всякому владельцу по истине принадлежащих границ, к прекращению вредительныя обиды, ссоры и вражды, и к возобновлению в соседстве доброго согласия и приятства...»

«...Печется (Екатерина.— *Авт.*), о воспитании юношества, старается о благонравии будущих граждан».

Выделим снова созвучия вступительных фраз хотиловского проекта и екатерининского «Наказа». В идеальном хотиловском государстве царят «свобода», «умеренность в наказаниях» — и «Наказ» собирался охранять «вольность», стоял за «умеренность наказаний». В хотиловском государстве установлено «равновесие во властях, равенство в имуществах» (I, 312) — «Наказ» был призван воплотить принцип «разделения властей» Монтескье, склонялся к «разделению имения», осуждал погибельную для государства «разность между богатыми и убогими гражданами». Что же касается «цветущаго состояния» отечества, доведенного до «вышшаго блаженства гражданского сожития», то «Наказ», как мы уже знаем, открывался пожеланием видеть «отечество свое на самой вышней степени благополучия, славы, блаженства и спокойствия» и кончался непревзойденным: «...Боже сохрани! чтобы после окончания сего законодательства был какий народ больше справедлив, и следовательно больше процветающ на земле; намерение законов наших было бы не исполнено: нещастие, до котораго Я дожить не желаю!» [10]

[10] «Наказ», стр. 2, 5, 24, 138, 140, 169.

Далее в «Хотилове» следует разоблачение показного характера описанных «блаженств» (I, 312—318), обличение царящего в стране рабства. В целом сюжеты этой части близки тематике новиковского «Отрывка путешествия в ***И***Т***» или проекта Поленова[11]. Вклинившаяся в эту часть теоретическая аргументация за отмену рабства (I, 314—315) в некоторых моментах приближается к проекту Граслена на конкурсе в Вольном экономическом обществе. Автор «Проекта в будущем» обращается к природному, изначальному «сложению» людей — и Граслен предлагал при решении крестьянского вопроса прежде всего рассмотреть человека в «природных и первобытных отношениях». В «Хотилове» люди в естественном состоянии «равны вовсем между собою» — и у Граслена «состояние одного человека не может быть ни лучшим, ни худшим, чем состояние другого». В «Хотилове» люди вступают в общество ради «собственного блага» — и у Граслена общественное устройство сводится к сумме «частных интересов». И здесь и там обосновывается не только необходимость восстановления гражданского равноправия крестьян, но и право их собственности на всю обрабатываемую землю. Даже для наиболее демократически звучащего требования хотиловского проекта: обрабатывающий ниву «пользуется ею изключительно» (I, 315), мы находим эквивалент в проекте Граслена: «Общественное благо требует, чтобы земля была собственностью только и единственно тех, кто ее обрабатывает, т. е. крестьян». Правда, в аргументах есть и существенные отличия. Физиократ Граслен особое внимание уделял разного рода цифровым выкладкам и теоретическим соображениям насчет обмена продуктами труда земледелия и промышленности. В «Хотилове» лишь одна фраза родственна этим рассуждениям: «...избытка своего делатель обществу неотдаст, неимея нужнаго» (I, 315)[12].

Типичны для эпохи 60-х годов XVIII в. и «ближайшие о состоянии земледелателей понятия», которыми заканчивается манифест (I, 318—321). Так, жалобы на препятствие

---

[11] См., например, «Избр. произв. русских мыслителей второй половины XVIII в.», т. II. М., 1952, стр. 181—183, 14—16.

[12] Проект Граслена цитируется по изданной в 1768 г. в Петербурге книге «Dissertation qui a remporté le prix sur la question, proposée en 1766 par la societé d'oeconomie et d'agriculture à St. Petersbourg; à laquelle on a joint les Pièces qui ont eües l'Accessit», 1768, p. 115, 134, 142, 151.

крепостнических отношений «размножению народа» раздавались на всем протяжении 50—60-х годов, начиная от Ломоносова и кончая Поленовым и Масловым[13]. На низкую производительность крепостного труда по сравнению с «трудом вольным» указывали те же Поленов и Голицын[14], наконец, об опасности «угнетения для общества» предупреждали многие выступавшие в Комиссии и вне ее, причем Радищев порой как будто прямо воспроизводит их доводы

«Хотилов»	«Философические предложения» Козельского
«Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ни что уже в разлитии его противиться ему невозможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно» (I, 320).	«...Река, плотиною долго удерживаемая, как найдет место к своему проходу, то с тем большим стремлением силится туда пройти, и потому тем больше роет плотину, чем долее той реки течение одерживано было, так равномерно и к долговременному терпению принужденные люди... как только найдут удобный случай, то тем больше истощают наружу свою досаду, и такие люди иногда бывают сами и обидчики их...»[15].

Обнаруживается вполне реальный исторический эквивалент и для заключительных требований хотиловского проекта.

«Хотилов»	Проекты 60-х годов по крестьянскому вопросу[16]
Разделение «сельскаго рабства и рабства домашняго».	«Великое злоупотребление есть когда оно (рабство) в одно и то же время и личное, и существенное» (42, 129, 130).
«Дозволить крестьянам вступать в супружество, нетребуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводныя деньги».	«...Чтобы им (крестьянам.— *Авт.*) предоставлено было жениться, на ком они хотят, без уплаты выводных денег...» (135, 137, 132).

[13] «Избр. произв. русских мыслителей...», т. II, стр. 10, 81 и др.

[14] В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в., т. I. СПб., 1888, стр. 33, 35, 83.

[15] Я. П. Козельский. Философические предложения. СПб., 1768, стр. 156—157. Факт созвучия идей Козельского и Радищева отметил еще Г. А. Гуковский. См. «Очерки по истории русской литературы...», стр. 43—44.

[16] Проекты Гадебуша, Эйзена, Поленова, Зальца, Унгерна-Штернберга и др. цитируются по кн.: В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России..., т. I (в скобках указаны страницы издания).

«Удел в земле ими обрабатываемой, должны они иметь собственностию; ибо платят сами подушную подать».	«...Разделить и отмежевать землю всем подданным, кои в слободах за владельцами живут..., чтобы мужики, почитая те земли за собственный свой удел, основательно обзаводиться и постояннее жить могли» (177, 93).
«Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его онаго да не лишит самопроизвольно».	«Крестьянин должен быть безопасен в собственности своего имения...» (93, 86, 135).
«Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю».	«Позволение тем, кто в силах покупать землю на свое собственное имя и владеть ею, подобно нам, господам...» [17].
«Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную, известную сумму» (I, 322).	Определить сумму, «за которую крепостной мог бы выкупаться на свободу» (135, 87).

Сравнение «Проекта в будущем» с документами 60-х годов позволяет раскрыть и смысл фразы, которая, по мнению Э. С. Виленской, придала проекту «демократическую окраску» («Но друг мой ведая, что вышшая власть недостаточна в силах своих, на претворение мнений мгновенно, начертал путь повремянным законоположениям, к постепенному освобождению земледельцов в России» — I, 322). Можно полагать, что это ссылка на п. 260 «Наказа»: «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго числа освобожденных» [18].

Идейная тематика «Выдропуска» (обличение наследственного дворянства, фаворитизма, разоблачение «пышной внешности» властителей, попытки побудить «Владык» трудиться на «пользу общую») близка тематике известных проектов Фонвизина — Панина 70—80-х годов или П. Ю. Львова, посвятившего, кстати сказать, свой «Храм истины» тому же Фонвизину [19].

Для каждого пункта так называемых либеральных глав «Путешествия» мы стремились подобрать близкий эквивалент из документов и литературы эпохи Радищева. Но в подобных сравнениях почти неизбежен момент субъективизма. Так, Л. В. Крестова считает, что описания «нечто,

---

[17] Проект Голицына цит. по кн.: «Избр. произв. русских мыслителей...», т. II, стр. 44.

[18] «Наказ», стр. 90.

[19] См. «Избр. произв. русских мыслителей...», т. II, стр. 264, 253—255; П. Ю. Львов. Храм истины, видение Сезостриса Царя Египетского. В Петрополе, 1790, стр. 6, 8, 9, 11.

седящего во власти на Престоле» относятся к барельефам и медалям залы заседаний Сената. Однако известно, что те же знаки царского достоинства были изображены на золотой медали, выбитой по поводу созыва Уложенной комиссии. А. Скафтымов нашел прототип знаменитому «Сну» в «Храме истины» Львова, а В. П. Семенников видит буквальное сходство сюжета «Сна» с одним из писем крыловской «Почты духов»[20]. В одном отношении «Проект в будущем» похож на проект Граслена, в другом — напоминает высказывания Фонвизина или Львова и т. д.

Как же отделить в таком случае субъективное от объективного, какой совершенно безусловный вывод следует из факта поразительного созвучия «Проекта в будущем» с литературой екатерининской эпохи? Если бы в «Спасской полести» и «Хотилове» не было панегирических частей, напоминающих пародию на официальные документы или похвальные слова, то единственно возможное заключение гласило бы: перед нами либерально-просветительский документ, типичный и даже типичнейший для эпохи по теоретической аргументации, конкретным требованиям, наконец, по общей концепции, согласно которой инициатива отмены крепостничества должна исходить от царя, подающего «пример» помещикам. Не вошло в «Проект в будущем», пожалуй, лишь одно, часто встречающееся в XVIII в., предложение — ограничить продажу крепостных. Но с этой темой мы еще встретимся в главе «Медное», продолжающей изложение хотиловских бумаг.

Учитывая обширность и всесторонность «Проекта в будущем», следовало бы еще раз подчеркнуть: перед нами не просто еще одна попытка «просвещения» царя, но попытка осмыслить и использовать весь накопившийся к тому времени в России опыт такого просвещения, не просто один из либерально-просветительских проектов той эпохи, но их своеобразный синтез, обобщение. Замечательно, что сам путешественник, рассматривая на станции «Хотилов» доставшиеся ему бумаги, замечает: «Множество нашел я подобных той, которую читал» (I, 322. Подчеркнуто нами.— *Авт.*).

Восторги буржуазных историков по поводу положительных идей «Хотилова» становятся теперь как будто вполне

---

[20] В. П. Семенников. Литературно-общественный круг Радищева.— Сб. «А. Н. Радищев. Материалы и исследования», М.—Л., 1936, стр. 278—281.

обоснованными. Пытаясь учесть опыт прошлых неудач, суммируя воедино почти все либеральные требования той эпохи, «Проект в будущем» на протяжении более чем полувека оставался недосягаемым идеалом для русских либералов, и историк крестьянского вопроса в России В. И. Семевский, имея в виду прежде всего данный документ, писал, что для ограничения крепостного права в первой половине XIX в. «было сделано до такой степени мало, что далеко не были выполнены требования, высказанные в этом отношении еще во вторую половину XVIII в.»[21].

Но делать окончательные выводы нам все еще рано — предстоит рассмотреть те элементы, которые вносят в либерально-просветительское содержание «Проекта в будущем» известный диссонанс.

3. Сатира на показной либерализм Екатерины II?

Наличие элементов сатиры по крайней мере в двух из трех разбираемых глав очевидно. Саркастическое описание «нечто», восседающего на троне в «Спасской полести», пародийные намеки на «Наказ» в панегириках той же главы и в панегириках главы «Хотилов», столкновение этих расписывающих «блаженство» картин с реальностью крепостнической действительности — все это, безусловно, вносит дисгармонию в стройную композицию указанных глав. Эта их двухплановость отмечена первыми читателями «Путешествия», она нашла отражение и в исследовательской литературе.

Вот, например, как воспринимались «адресатом» Радищева — Екатериной сатирические места. О «Сне» из «Спасской полести» императрица заметила: «77, 78 стран. написаны в возмутительном намерении, о чем прилагается попечение к пресечению, то обращено к коризну... 81 страница покрыта бранью и ругательством и злостным толкованием, злодейство сие разпространилось на следующие страницы 82, 83, 84 и 85...» На полях хотиловского манифеста Екатерина написала: «Стр. 236, 237, 238 в насмехательном виде говорится о блаженстве и дается чувствовать, что онаго нету...». А вот оценка Екатериной либеральных сюжетов

[21] В. И. Семевский. Правительство, общество и народ в истории крестьянского вопроса во второй половине XVIII и первой половине XIX века.— Сб. «Великая реформа 19 февраля 1861 г.», М., 1911, стр. 81.

тех же глав: «Но при всем том намерении, порочить не могли, и принуждены обратится на исполнении, следовательно порочат общество, а не доброе сердце либо намерение государя» («Спасская полесть»), «Уговаривает помещиков освободить крестьян, да нихто не послушает» («Хотилов»)[22].

Любопытно, что в советской научной литературе элемент сатиры, доминирующий в «Спасской полести», часто заслоняет ее либеральное содержание, и если раньше «Сон» толковался как обращение к «философу на троне», то теперь те же исследователи видят в нем только «памфлет» на Екатерину II и ее ближайших пособников.

Разительный пример такого переосмысления дают работы Д. Д. Благого. В 1924 г., имея в виду «Сон» Радищева, он писал: «От бунта Стеньки Разина до 9 января 1905 г. тянется эта столько же наивная, сколько прочная иллюзия о „добром царе", окруженном „злыми боярами", которому стоит только раскрыть глаза, рассказать о совершающемся зле, чтобы он уразумел, изменил все существующие непорядки, водворил правду и всеобщее примирение,— иллюзии этой, в известной мере, поддался и Радищев. Да и как ему было удержаться от нее? Ведь на троне сидела друг его учителей-философов, та, которая нарочно и отправила его за границу с тем, чтобы он усвоил новые идеи и помог ей применить их к русской действительности»[23]. А вот что писал тот же автор в 1945 г.: «Сон является одним из самых „криминальных" мест „Путешествия"... Начинается „Сон" описанием „лучезарного" царского „величества", ведущимся в тонах хвалебной оды... Торжественная ода в дальнейшем течении „Сна" превращается в хлещущую сатиру... Радищев готов опрокинуть до основания это „устройство нащет свободы", истребить дотла цивилизацию, основанную на рабстве и эксплоатации... Нет „злых" и „добрых" царей, ибо царская власть сама по себе является безусловным злом, неизбежно развращая тех, кто облечен ею»[24]. То же произошло, как мы видели, с главой «Хотилов» у Д. С. Бабкина: она превратилась в «пародию на высочай-

---

[22] Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 157, 158, 162.
[23] Д. Благой. Первенец Революции.— «Красная нива», 1924, № 36, стр. 872.
[24] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1945, стр. 358—359.

шие указы» и только. Наоборот, в дореволюционной литературе затушевывались, как правило, бичующе-сатирические места этих глав и всячески выпячивались либеральные сентенции. Исходя из явной двухплановости источника, некоторые авторы пытались доказать, что сатирический фон «показывает иллюзорность либеральных упований»[25].

Положение это нельзя, однако, считать вполне убедительным. Изложение либеральных проектов на фоне бичующей сатиры на «просвещенный абсолютизм» действительно ставит под сомнение весь либеральный план. Более того, внимательно всматриваясь в содержание проекта, мы обнаруживаем клубок невероятных противоречий. Просветитель в «Спасской полести» прямо называет самодержца первейшим преступником, злодеем и к нему же обращается с уговорами! Он заставляет «прозревшего» царя в «Хотилове» разоблачать картину «мнимых» блаженств, хотя из «Спасской полести» явствует, что повод для этой лицемерной болтовни дали «великие деяние» самого же монарха! Царь в «Хотилове» изображает себя продолжателем дел своих державных предков и фактически их же именует «ненасытцами кровей». Говорится, что между помещиком и крестьянином «никакой (!) неможно быть связи, разве насилие» (I, 319) и тут же предлагается заменить эту связь узами дружбы и любви.

Однако отметим, что и в данном отношении «Проект в будущем» не представляет исключения. Он лишь доводит до предела присущее либеральному просветительству XVIII в. противоречие между резкой критикой существующих порядков и попытками «уговорить», «образумить» самих же носителей общественного зла. Многие обличения Фонвизина, утверждавшего, что чудовище овладело душой государя, что «нравственная язва» стала всеобщей, что все пороки разливаются от трона и заражают двор, город и, наконец, государство и т. п., несомненно, могли восприниматься как сатира на царицу и ее двор[26].

Вполне созвучны сатире радищевского «Сна» некоторые обличения из львовского «Храма истины», например: «Я вижу под наружным величием, внутреннее государства падение! Невинность и правда гонимы; коварство под ли-

---

[25] См. «Вопросы философии», 1955, № 4, стр. 184.
[26] См. «Избр. произв. русских мыслителей...», т. II, стр. 255.

чиною добродетели сохраняя частную пользу истребляет общее благо... Я видел самые полезные законы во зло употребленные. Видел надменные чертоги тех каменосердых вельмож, коим я повелел награждать заслуги, питать бедность; они были сооружены из сокровищ вверенных им мною для помощи народа; основания зданий сих обмыты были горькими слезами... Все степени гражданства упали...»[27].

Если сопоставить, к примеру, «Писмо Доминика Диодати» о «Наказе», утверждавшее, что в России «обитает блаженство», с помещенным в том же «Живописце» «Отрывком путешествия в ***И***Т***, где доказывается, что бедность и рабство повсюду встречаются в России, что помещики «тиранствуют» над подобными себе людьми, что крестьяне бедствуют от государственных поборов и т. д., то мы получим почти хотиловский контраст[28].

Кроме того, это в сущности безысходное противоречие «снималось» просветителями очень простым способом: данный царь, скажем, Петр III, Екатерина II — изверг и злодей, но вот наследник будет хорошим. Наследнику престола предназначается проект Фонвизина — Панина; львовский Зороастр в «Храме истины» предупреждал от «ласкательств» монарха «неопытного юношу»; к «молодому Венценосцу» направлял свое нравоучительное послание Крылов (напомним, кстати, что и у Радищева в «Выдропуске» царь «с младенчества» возненавидел ласкательство). Любопытно, что это ожидание «доброго царя» получило у умеренного крыла просветителей XVIII в. даже нечто вроде философского и политического обоснования. В бесконечном ряду самодержцев, утверждали они, неминуемо попадется добрый монарх. Гольбах в своей «Естественной политике» отводит десятки страниц проблеме воспитания молодого принца, уверяя, что это единственное средство помочь искоренению зла, если его первоисточник — на троне[29]. Получилась бесплодная дурная бесконечность утешительных надежд и неминуемо следующих за ними горьких разочарований.

---

[27] П. Ю. Львов. Указ. соч., стр. 9—11.

[28] Заметим, что Новиков снял «Писмо Диодати» из последующих изданий «Живописца».

[29] См. P. Holbach. La politique naturelle ou discours sur les vrais principes du Gouvernement. A Tours, 1796, т. I, стр. 214—223; т. II, стр. 390—393 и др.

Таким образом, и в данном отношении «Хотилов» воспроизводит присущее либеральному просветительству противоречие. Правда, до такой силы обличений не доходил в России ни один просветитель. Исследователи не раз отмечали «небывалую смелость», необыкновенный тон сатиры Радищева[30], такой концентрации логических противоречий не давал до Радищева ни один проект. Эти факты, безусловно, могут говорить о том, что Радищев ставил целью сознательное выявление и обнажение внутренних противоречий либерального просветительства, разрушение его, так сказать, «изнутри». Но только этих фактов еще недостаточно для столь далекого идущего вывода.

4. Не слишком ли много случайностей?

Рассмотрим дополнительно некоторые данные, говорящие о скептическом отношении автора «Путешествия» к либеральным идеям «Спасской полести» и «Хотилова»,— эзоповский подтекст к либеральным текстам указанных глав.

В «Спасской полести», окончив просвещение царя, автор намекает читателю, что «прозреть» царь может лишь во сне, наяву же подобных вещей не случается. Способность видеть правду царь обрел благодаря терновому кольцу, подаренному ему Прямовзорой. Но вот момент пробуждения: «Еще неопомнившись, схватил я себя за палец, но терноваго кольца на нем небыло. О если бы оно пребывало хотя на мизинце Царей!» (I, 257). Любопытная характеристика того же сна, в котором монарх «познал свои обязанности», содержится и в следующей за «Спасской полестью» главе — «Подберезье»: «...Против бреду я себя непредостерег и от того голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана» (I, 257).

Приближаясь к Хотилову, путник слышит от ямщика, завершающего ранее начатый разговор: «Тото, Барин! Всяк пляшет, да некак скоморох». Путник относит эту поговорку к «Проекту в будущем». «Всяк пляшет, да некак скоморох, твердил я вылезая из кибитки... Всяк пляшет да некак скоморох, повторил я наклоняяся, и подняв развертывая..........

---

[30] М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи..., т. I, стр. 574 и др.; В. П. Семенников. Указ. соч., стр. 282.

Проект в будущем» (I, 311)

Через десяток-другой страниц автор замечает, что утерянный «искренним другом» манифест путник находит на дороге, по которой в свое время проезжала Екатерина II, в виде «замаранной грязию бумаги» (I, 321).

Еще одна реплика путешественника, завершающего разборку хотиловских бумаг: «...Я за благо положил, лучше разсуждать о том, что выгоднее для едущаго на почте, что бы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи, быть иноходцем или скакуном? нежели заниматься тем, что несуществует» (I, 323).

Что это — ничего не означающие, брошенные невзначай замечания, невпопад приведенные поговорки? Но не слишком ли много случайностей? И нет ли определенного смысла в том, что «случайные» скептические замечания сопровождают как раз либеральные места «Путешествия», где выражены надежды на «верхи», но их не найти в явно революционных главах книги, где высказана надежда на освобождение «снизу»? И не делает ли этот довольно странный тон всей музыки?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЗАГАДКИ КОМПОЗИЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»

«Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка».

А. С. Пушкин

«... „Путешествие" — книга, совершенно единая по замыслу и по выполнению».

Г. А. Гуковский

1. «Логически непоследовательно, но психологически понятно»?

Выявленный нами подтекст глав «Спасская полесть» и «Хотилов» делает весьма правдоподобным предположение о критическом отношении Радищева к идее просвещения «философа на троне». Но нельзя ли найти более убедительные доводы в пользу такого предположения? Взглянем на замысел и композицию книги в целом.

Мы рассмотрели пока ее либеральные сюжеты — объект пристального внимания дореволюционной историографии. Пробежим вкратце ряд иных мест, ставших в свое время предметом особого гнева «философа на троне».

В главе «Едрово» читаем: «...Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...» (I, 305). По поводу этих слов Екатерина заметила: «Суть примечания достойны и суще возмутительны».

Вот дальнейшее развитие того же мотива в главе «Медное»: «...Свобода сельских жителей обидит как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» (I, 352). «То есть надежду полагает на бунт от мужиков»,— прокомментировала Екатерина.

Еще более определенно на вопрос, откуда ждать освобождения, отвечает «Городня»: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим главы наши, главы безчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их, изторгнулися великие мужи, для заступления избитаго племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны.— Не мечта сие..., я зрю сквозь целое столетие» (I, 368—369). Страницы, служащие «к проведыванию вольности и к искоренению помещиков»,— резонно отметила Екатерина.

Стоит ли еще пересказывать знаменитую «Вольность»? Каждая строка этой оды, «совершенно явно и ясьно бунтовской» [1], пронизана непримиримой ненавистью к царю — узурпатору народных прав, о дне революции здесь говорится: «О день избраннейший всех дней!» (I, 362).

Не нужно доказывать, что перед нами мысли совершенно иного порядка, чем те, которые рассматривались в предыдущей главе. Но поскольку оба ряда идей, обе программы изложены писателем в одном и том же произведении, между ними должна быть какая-то зависимость, какая-то связь. Ее трудно уловить, разбирая обе программы порознь, их надо соотнести, сопоставить между собой.

Абстрактно говоря, возможен ряд вариантов взаимоотношения обеих программ «Путешествия», к примеру:

Если «верхи» не пойдут на освобождение народа («Проект в будущем»), им грозит революция («Тверь», «Городня»).

Освобождение может произойти и сверху («Проект в будущем») и снизу («Тверь», «Городня»).

На освобождение сверху надежд мало («Проект в будущем»), скорее полагаться надо на народное восстание («Тверь», «Городня»).

Поскольку освобождение сверху невозможно («Проект в будущем»), единственный путь — восстание народа («Тверь», «Городня»).

Но именно потому, что, абстрактно рассуждая, возможны самые различные варианты («если не — то»; «или — или»; «скорее — чем»; «не — а»), становится необходимым детальный анализ текстов в целом.

[1] Здесь и выше замечания Екатерины цит. по кн.: Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 161, 163.

Прежде всего выделим момент общности обеих программ. Они ставят одну и ту же цель: освобождение народа от уз «рабства». Их различие — в выборе путей освобождения. «Спасская полесть», «Хотилов», «Выдропуск» утверждали: верховная власть в самодержавном правлении «одна в отношении других может быть безпристрастна». прозревший царь устремлял все свои силы «на пользу общую» (I, 247, 321, 327). «Но царь когда бесстрастен был!», — отвечала «Вольность», он зрит в народе «лишь подлу тварь» (I, 4, 13, 357). «Проект в будущем» исходил из возможности расхождений между царем и дворянами, между царем и придворными (I, 312—313, 326—327). Напротив, «Вольность» объявляла царя злодеем изо всех «лютейшим» (I, 7). Автор хотиловской программы хотя и осуждал «злодейства» крепостников, но еще надеялся, что они победят «предразсуждения», подавят «корыстолюбие» (I, 321). В главе «Медное» категорически утверждается: «великие отчинники» не поступятся «правом собственности», не смогут «поборствовать» свободе (I, 351—352). Хотиловская программа объявляла загрубелый в «невежестве» народ способным только на разрушительный бунт, «прежния повествования» говорили ее автору, что рабы, поднявшись на «погубление господ своих», искали «паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз» (I, 320). Главы «Тверь» и «Городня», ода «Вольность» утверждают: свободное слово «невежества развеет прах», из народа выйдут «великие мужи», которые поведут его к новой жизни; эти выводы также строились на опыте прежних революций (I, 9, 11, 357—361, 368).

Соответственно такому пониманию вещей задача «гражданина будущих времен», автора хотиловского проекта, состояла в том, чтобы с помощью «просвещенной» царской власти побудить на реформы помещиков, предотвратить тем самым грядущую «пагубу зверства». Напротив, в революционных главах автор призывал отправить царя на плаху, избить племя помещиков, он выдвигал задачу просвещения народа с целью приблизить, подготовить грядущую революцию.

Таким образом, вырисовывается полная несовместимость двух программ «Путешествия» в отношении средств и путей будущего преобразования страны. Обе они не просто дополняют, они отрицают одна другую, их «сосуществование» исключено. В главах «либеральных» царь —

восстановитель естественной и гражданской вольности, в главах революционных — смертельный ее враг. Там самодержец сочетает «власть со свободою», здесь «упругая власть» собирает все силы, дабы «раздавить возникающую вольность». Там революция — грядущая «пагуба зверства», здесь — «день избраннейших всех дней». Там революция — слепая месть, «смерть и пожигание», здесь — человеколюбивое мщение, созидание «царства свободы».

Поясним подробнее этот крайне важный момент. Один и тот же человек, безусловно, может колебаться в оценке путей освобождения народа, связывая возможность или предпочтительность того или иного пути с возможностью различного поведения тех сил, от которых зависит преобразование. Но в «Путешествии» различные пути освобождения выведены из диаметрально противоположных и притом однозначных оценок сил, представленных на арене русской жизни. А один и тот же человек, находясь в здравом уме, не может иметь в одно и то же время, в одном и том же отношении противоположные суждения об одних и тех же предметах. Здесь мы вступаем в область нарушения законов элементарной логики. Речь идет о противоречии логически совершенно немыслимом, необъяснимом, если просто считать обе программы «Путешествия» выражением положительных идеалов самого автора.

Остается предположить одно из двух: либо автор книги сам не ведал того, что писал, либо то, что он написал, недопонимают до сих пор многие его читатели.

Правда, большинство дореволюционных исследователей, замалчивавших революционные главы, и многие советские авторы, проходившие мимо глав «либеральных», не ломали голову над проблемой. Но проблему ставили и пытались решить те, кто принимался за детальное сравнение обеих программ.

Одно из объяснений гласило: писатель «громоздил противоречия на противоречия, сам того не сознавая и не видя»; по всей вероятности, он был «человеком одержимым манией» (А. Незеленов). Мы уже приводили это мнение, теперь можно добавить, что продиктовано оно не просто злобой к Радищеву, оно отражает известные объективные моменты содержания «Путешествия».

Это объяснение перешло — через В. П. Семенникова — и в советскую историографию. «Подводя некоторые итоги всему нами сказанному, — писал он, — мы отметим прежде

всего в личности Радищева раздвоенность, которая более всего проявляется как в отношении к путям осуществления его политического идеала, так и к революции вообще... Основная причина раздвоения духовного лика Радищева — в глубоком разладе между чувством и разумом: они жили в Радищеве какой-то внутренно-непримиренной жизнию, и вследствие этой дисгармонии у Радищева видны колебания в настроении». «...Рассудок его хотел избежать ужасов восстания, но чувство признавало все те пути, которые могли бы принести народу освобождение».

Мысль о «разладе между чувством и разумом» у Радищева Семенников развивает и дальше, незаметно для себя подменяя тезисы и выводя революционность уже из разума, а либерализм — из чувства: «И хотя сознание, что власть, державшаяся самими „вотчинниками", не отдаст добровольно ничего из своих прав, удерживало Радищева, он все же хотел кричать, в порыве отчаяния, и своим криком разбудить „седящего на престоле"».

Эти рассуждения венчались следующим выводом: «Живя и в настоящем, и в будущем, Радищев испытывал раздвоение, но оно не плод борьбы внутренно несогласованных идей, а проявление разных стихий человеческой личности, в которой то вспыхивало страстное чувство, то слышен был голос охлаждающего его разума» [2].

Некоторые советские авторы последовали за Семенниковым. «Уверенность в неизбежности революции,— писал Д. Д. Благой,— сообщала его голосу в „Путешествии" особую твердость и силу... Но „уязвленность" Радищева страданиями порабощенного народа настолько велика, что успокаиваться только надеждами на будущее он не мог. Он хотел облегчить эти страдания, хотя бы частично, теперь же, немедленно. Логически непоследовательно, но психологически понятно, что в этом стремлении Радищев готов был еще раз попытаться пойти традиционным путем философов-просветителей, иллюзорность которого сам же одновременно сознавал и неоднократно, как мы видели в том же „Путешествии", подчеркивал...» [3].

Однако не все советские историки и литературоведы пошли вслед за В. П. Семенниковым.

---

[2] В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования, стр. 80—82.

[3] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1945, стр. 361.

2. Эволюция героя или эволюция героев?

Новая трактовка была соблазняюще проста: Радищев сознательно столкнул в «Путешествии» взаимоисключающие программы с целью показать несостоятельность одной из них и правоту другой.

Эта гипотеза, как мы помним, была сформулирована в законченной форме Г. П. Макогоненко в 1936 г. В настоящее время ее разделяют (с теми или иными оговорками) некоторые советские и зарубежные литературоведы и историки.

Безусловной их заслугой был пересмотр прежнего подхода к книге Радищева как обычному сентиментальному «путешествию», в котором, по замечанию Пушкина, мысли были излиты «безо всякой связи и порядка». Против этого Г. А. Гуковский категорически протестовал еще в 30-е годы. «Поразительна целеустремленность Радищева,— отмечал Гуковский.— Все, что он знает, он использует для построения единого революционного мировоззрения... В „Путешествии" он говорит о философии, о праве, о морали и бытовых проблемах, о воспитании, об искусстве и литературе. Тем не менее „Путешествие" — книга, совершенно единая по замыслу и по выполнению»[4]. Однако Гуковский не развил этих общих положений.

Впервые такую попытку предпринял Г. П. Макогоненко.

«Вопрос композиции „Путешествия" Радищева мне кажется существенным в дискуссии о мировоззрении и политических взглядах Радищева,— писал он.— Традиция рассмотрения радищевского „Путешествия" как обычного „сентиментального путешествия" приводила к порочному методу рассмотрения произведения как ряда самостоятельных очерков. Исследователи непринужденно тасовали главы по своему усмотрению, твердо помня, что имеют перед собой ряд публицистических высказываний „по поводу" и „по случаю", ничем якобы не связанных между собой. Из этого „хаоса" мыслей и чувств исследователи могли кроить своего Радищева; они выбирали ряд мыслей и высказываний о самодержавии, о крестьянстве, о законах и лепили из них идеологию по своему усмотрению.

---

[4] Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы..., стр. 130.

Мне кажется, что должно читать книгу Радищева просто, как читают всякое художественное произведение — сначала, всматриваясь в ту последовательность, с которой автор ведет своего героя от испытания к испытанию, от заблуждения к истине, присматриваясь к закономерности следования друг за другом глав и к характеру построения каждой из них»[5].

Такое чтение «Путешествия» привело автора статьи к проблеме эволюции его главного героя. «Факты подобраны в следующей последовательности: вначале — столкновение ложной системы, ложных представлений о действительности, свойственных в начале книги герою ее, с самой действительностью, впервые представшей обнаженной перед путешественником; затем, под влиянием этого столкновения, крушение системы ложных убеждений; затем следуют группы фактов, под влиянием которых формируется новое сознание путешественника».

Соответственно главы «София», «Тосно», «Любани», «Чудово», «Спасская полесть» описывают первый этап «испытания героя». Происходит крах иллюзий человека, который верил в мудрость екатерининских законов, но на собственном опыте убедился, что «не все так благополучно в государстве, как ему казалось».

Второй этап его эволюции — главы «Новгород», «Бронницы», «Зайцово», «Едрово», «Хотилов», «Выдропуск», «Вышний Волочек». Мы видим смятенное состояние, блуждания мысли путешественника, который мучительно ищет выхода из создавшегося положения. Он понимает, что нет никаких надежд на восстановление народных прав, узурпированных властителями,— история ясно свидетельствует, что «право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом» («Новгород»). В «Бронницах» путник обращается с бесплодными мольбами к богу. В «Крестьцах» он встречает такого же, как и он сам, прогрессивного дворянина, который, зная, что мир полон несправедливости и порока, воспитывает в своих детях независимость и мужество. В «Яжелбицах» путник с ужасом обнаруживает, что «моральная грязь и нравственная нечистоплотность общества присуща и ему, члену этого общества». В главе «Едрово» он делает первые попытки сближения с миром угнетенных, осознает, что надо искать новый путь, но ему

---

[5] «XVIII век», сб. 2, М.— Л., 1940, стр. 31.

еще не вполне ясно, «какой это путь?» Жизнь подсказывает ответ путешественнику, подбрасывая ему «Проект в будущем», написанный честным и мужественным человеком — «гражданином будущих времен». Но путешественнику еще не ясно, можно ли освободить крестьян «сверху», и, не решая вопроса, он «предпочитает отделаться шуткой». В следующей главе «Вышний Волочек» он сам выступает с более решительным призывом покарать помещиков-насильников «человеколюбивым мщением». В «Выдропуске» и «Торжке» окончательно рушится вера в царя, могущего исправить в государстве хотя бы «мелкие и частные неустройства».

Глава «Медное» открывает третий этап прозрения героя. Убедившись, что «великие отчинники» не освободят крестьян, он развивает идею революционного завоевания вольности (главы «Тверь», «Городня»). Нотки отчаяния и тревоги, вызванные тем, что до революции еще далеко (главы «Завидово», «Пешки», «Черная грязь»), перемежаются с новыми попытками сблизиться с народом («Клин»). Наконец, все венчается мажорным концом: «Слово о Ломоносове» утверждает принцип «действия, борьбы, дерзания, прокладывания новых путей» [6].

Г. П. Макогоненко прав в основном: взгляды путешественника в начале пути не тождественны его взглядам в конце пути. Одни и те же факты несправедливости вызывают у него в разных главах совершенно различную реакцию. В главе «Любани» он впадает в слезливое самобичевание, в «Городне» прямо призывает крестьян к восстанию. Главы «Бронницы» или «Новгород», действительно, показывают полное смятение его мыслей и чувств, напротив, главы «Вышний Волочек», «Городня» подчеркивают решительность его мыслей и действий и т. д. Эта эволюция, становление действенного революционного мировоззрения, действительно, перемежается с отдельными спадами настроения и отклонениями («Пешки», «Черная грязь») и завершается «мажорным концом». Но внимательный читатель «Путешествия» заметит и ряд несоответствий между трактовкой Макогоненко и содержанием «Путешествия».

Прежде всего не вполне оправдано выделение «трех этапов» эволюции путешественника. Так, глава «Крестьцы»,

---

[6] «XVIII век», сб. 2, стр. 34—45.

отнесенная, по схеме Макогоненко, к периоду сомнений и колебаний, рисует образ крестицкого дворянина — человека, уже нашедшего определенное (пускай ограниченное) решение проблемы борьбы с общественным злом — путем воспитания гражданской добродетели в людях. Главы «Хотилов» и «Выдропуск» отнесены ко второму этапу; глава «Медное» открывает новый, третий этап эволюции героя, пришедшего к отрицанию идей хотиловского проекта. Но анализ текста показывает, что и бумаги, излагаемые в «Хотилове», и бумаги, воспроизводимые в «Медном», принадлежат одному и тому же лицу — «гражданину будущих времен»,— в «Медном» путешественник просто продолжает их чтение (ср: «...Подойдем по ближе, говорил я сам себе, развертывая н а й д е н н ы я б у м а г и м о е г о п р и я т е л я»— I, 349. Подчеркнуто нами.— *Авт.*).

С другой стороны, неправомерно и противопоставление первого этапа второму или третьему. Как показано выше, «Спасская полесть» и композиционно и идейно образует единство с идеями «Хотилова» и «Выдропуска». К тому же в самом начале первого этапа («София») путник, еще живущий иллюзиями, высказывает неожиданно догадки о революционном будущем России: «Бурлак идущей в кабак повеся голову и возвращающейся обагренной кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории Российской» (I, 230). Об отсутствии у путника надежд на «философа на троне» как будто говорит и его реплика, заключающая пересказ «Сна» (цитированное место о «терновом кольце» — I, 257).

Самое же главное — сведение композиции к одной только эволюции путешественника сужает замысел книги. Категорический тезис Макагоненко: «Единым сюжетом „Путешествия" является история человека, познавшего свои политические заблуждения и открывшего правду жизни, новые идеалы, ради которых стоило жить и бороться» [7] выделяет одну из главных нитей композиции, но обрывает другие, оставляет вне сферы анализа такие важные главы, как «Зайцово», «Крестьцы», «Хотилов», «Медное», «Тверь», «Торжок», «Слово о Ломоносове», где сам путешественник играет второстепенную роль, передавая главную другим (родственным ему по духу) героям.

Односторонность концепции Макогоненко критиковал

[7] Там же, стр. 36.

Громов[8]. Он отметил, что Макогоненко не уделяет достаточного внимания другим действующим лицам. По представлениям Громова, большинство принципиальных положений книги высказано не самим путешественником, а людьми, попавшимися ему по пути. Так, семинарист, встреченный в главе «Подберезье», подвергает критике народное образование, культуру и философию России того времени; крестицкий дворянин развертывает перед путешественником план воспитания юношества, ссылаясь на собственный опыт; «Проект в будущем» написан приятелем автора; размышления о цензуре высказаны в главе «Торжок» человеком, связанным с книгопечатанием; гнусная торговля крепостными описана в главе «Медное» неизвестным нам приятелем путешественника[9]; «товарищ трактирного обеда» высказывает в главе «Тверь» принципиально новый взгляд на поэзию, наполняя ее революционным содержанием; тем же трактирным знакомым написано «Слово о Ломоносове»[10].

Любопытно отметить, что в статье 1936 г. Г. П. Макогоненко признавал схематизм своей трактовки, оговариваясь, что ему «пришлось может быть слишком прямолинейно вести линию сюжета, вынужденно сужать круг проблем, поставленных в каждой главе и в книге в целом»[11]. Но в его книге о Радищеве (1949 г.) та же по сути схема выдвигалась уже без каких-либо оговорок. Не изменилось дело и после публикации исследования Н. И. Громова, прямо полемизировавшего с Г. П. Макогоненко. В следующей своей книге (1956 г.) Макогоненко, говоря о композиции «Путешествия», воспроизвел по существу текст 1949 г., а еще точнее — текст той же самой статьи 1936 г. Прошло 20 лет с момента ее написания, но автор новой плодотворной гипотезы — в отличие от героя разбираемой книги — в этом пункте задержался на прежнем уровне.

Но и критики Макогоненко не дали пока достаточно убедительной трактовки композиции книги «Путешествия». Громов выдвинул, правда, в противовес Макогоненко более перспективный тезис об эволюции положительных

---

[8] Сб. «Радищев, статьи и материалы», Л., 1950

[9] Н. И. Громов, как и Г. П. Макогоненко, не замечает, что автор хотиловских бумаг и бумаг, излагаемых в «Медном»,— одно и то же лицо, «гражданин будущих времен».

[10] Сб. «Радищев, статьи и материалы», стр. 132—133.

[11] «XVIII век», сб. 2, стр. 44.

героев книги. «...Радищев,— писал он,— вводит своих героев, сторонников освобождения крестьян, по строгому плану. Вначале показываются герои, протестующие против крепостного права и надеющиеся на правительство, способное, с их точки зрения, облегчить жизнь крепостных крестьян. Затем выступают герои-революционеры. Их выводы являются последним завершающим словом, с которым соглашается путешественник, дополняя их мнения рядом своих соображений» [12]. Но сколько-нибудь убедительного обоснования этой мысли мы не находим ни в статье, ни в книге Громова [13]. Он не предпринял даже попытки проследить детально эволюцию положительных героев: изменение их воззрений на понимание ключевых проблем — закона, насилия, мщения и т. д. [14] К тому же Громов, противореча тексту книги, стал отрицать... эволюцию самого путешественника. «На протяжении всего повествования,— уверял он,— путешественник выступает как вполне сложившийся мыслитель, последовательный демократ, понимающий антинародность монархической власти, опирающейся на рабовладельческую систему» [15].

А. Н. Васильева также пыталась внести ряд уточнений в понимание сюжета книги [16]. «В нашей литературе есть две ценные работы о композиции „Путешествия", принадлежащие Макогоненко и Громову,—писала она.—Но в раскрытии образа Путешественника обе работы страдают крайностями. Громов почти не уделяет внимания идейному росту Путешественника и уже в начале книги видит в нем революционера. Макогоненко, наоборот, представляет Путешественника в начальных главах совершенным „tabula rasa" в отношении знания жизни, с которой он будто бы сталкивался впервые». По мнению самой Васильевой, поведение путника в главе «Тосна», где он смеется над стряпчим, занятым изучением родословной знатных дворянских родов, его горькие раздумья в «Едрове» и «Яжелбицах» и т. д. говорят о том, что он еще до описываемой поездки прошел «большой жизненный путь». Путешествие окончательно вырыва-

[12] Сб. «Радищев, статьи и материалы», стр. 141.

[13] Н. И. Громов. Радищев в школе. Л.—М., 1952.

[14] Парадоксально, но этой стороне дела гораздо больше внимания уделял Макогоненко в первой статье, не доведя, впрочем, анализа до конца. См. «XVIII век», сб. 2, стр. 42—46.

[15] Сб. «Радищев, статьи и материалы», стр. 132.

[16] См. «Ученые записки Моск. обл. пед. ин-та», т. XL, 1956.— «Труды кафедры русской литературы», вып. 2.

ет его из скорлупы узколичного мира, включает в широкую сферу жизни народа. Последующий «процесс перерождения дворянского либерального просветителя в революционера и связанный с ним одновременный процесс окончательного разрыва его со своим классом и прихода к народу — составляют композиционный стержень „Путешествия"».

А. Н. Васильева сделала, на наш взгляд, довольно удачную попытку синтезировать представление Г. П. Макогоненко об эволюции путешественника с тезисом Н. И. Громова об эволюции других положительных персонажей. «Нельзя не учитывать и идейно-композиционной роли отдельных персонажей,— писала она.— Характерно, что с революционерами Путешественник встречается только во второй части „Путешествия", т. е. когда сам становится на революционный путь. В первой же части он встречается с такими же протестантами, еще не нашедшими правильного пути борьбы с общественным злом. При этом образ Крестьянкина служит как бы дальнейшим развитием образа Ч., а образ Путешественника — развитием образа Крестьянкина. Последовательность чередования автора „Проекта в будущем", автора трактата о цензуре и автора „Вольности" обусловлена переходом Путешественника от либерально-просветительских к последовательно-революционным взглядам».

Меткие наблюдения Васильева сделала о различии образов положительных и отрицательных героев «Путешествия». Помещики, писала она, изображены «исключительно в их крепостнической практике... Защитники народа, напротив, показаны Радищевым не в поступках, а в мечтаниях и размышлениях. Часто мы ничего не знаем о них, кроме их сочинений. Они выступают как „авторы": автор „Проекта в будущем", автор „Краткого повествования о происхождении цензуры", автор „Вольности" и „Слова о Ломоносове". Это опять-таки не случайность, а исторически определенные особенности. Во-первых, Радищев выступил в период начала идейного формирования первого этапа русского революционного движения, так что он не мог показать русских революционеров в действии. Во-вторых, деятельность защитников народа, критикующих крепостнический режим, вообще проявлялась преимущественно в формах идейной борьбы, да и то жесточайше преследовалась царизмом (вспомним судьбу Княжнина, Фонвизина, Новикова)...

Таким образом, принципы создания художественных образов, как и композиция „Путешествия", полностью подчи-

нялись революционному идейному замыслу писателя и базировались на реалистическом отображении жизни» [17].

Мы уделили столь большое место исследованиям Г. П. Макогоненко, Н. И. Громова, А. Н. Васильевой, чтобы показать, что новая трактовка композиции «Путешествия» получила заметное развитие в работах советских литературоведов.

Но возникает законный вопрос: почему новые трактовки получили столь малый отклик в нашей литературе? Почему проблема композиции «Путешествия» не вышла за рамки двух-трех специальных статей? Почему новый взгляд почти не находит сторонников среди историков, экономистов, философов, изучающих книгу Радищева? Причин несколько. Прежде всего — непонимание широким кругом специалистов важности вопроса, поднятого литературоведами. Кажется, яснее ясного, что от правильной трактовки композиции зависит отбор материала, определение того, что́ же из огромной суммы противоречивых идей, проектов, высказываний отвечает собственным идеалам автора, а что отвергается им. Между тем иные исследователи смело пускаются в рассуждения о мировоззрении Радищева, его отношении к тем или иным фактам русской жизни и т. п., вообще не задумываясь над сюжетными особенностями «Путешествия» [18].

Однако есть и другая причина пренебрежительного отношения к новым взглядам. Любая трактовка композиции художественного произведения, символики его образов и т. д. бывает в большей или меньшей степени, но неизбежно окрашена субъективизмом. То, что кажется убедительным одному исследователю, представляется неубедительным другому. Не пытаясь отделить в новых трактовках композиции «Путешествия» субъективистские утверждения от объективного материала, противники новой гипотезы в принципе отбрасывают сам новый подход. С другой стороны, ее

---

[17] Там же, стр. 141, 142, 149, 151.

[18] Наиболее часто в нашей литературе выдаются за «идеал Радищева» отдельные фразы из хотиловского панегирика, особенно о «равенстве в имуществах». Один из примеров: «Радищев с увлечением рисовал картину будущей жизни — „Проект в будущем". Государство, которое он описывал, находится в цветущем состоянии. Науки, художества, рукоделия доведены до совершенства. Всеобщее равенство устраняет всякую возможность несогласия и раздоров...» и т. д. (Б. Евгеньев. А. Н. Радищев. М., 1943, стр. 45).

защитники, высказав то или иное предположение, не занимаются его детальным обоснованием, а главное — обращают мало внимания на поиск таких объективных данных, доказательность которых была бы бесспорной, которые не допускали бы двух толкований.

Между тем такие вполне объективные и совершенно безусловные критерии существуют.

3. Как «соучастником быть во благодействии себе подобных»?

Буржуазные литературоведы по-прежнему считают «Путешествие» произведением сентиментального жанра, не имеющим единой сюжетной линии (помимо чисто внешнего объединения разрозненных очерков общей рамкой «путевых картин»). Вот мнение Р. П. Талера: книга Радищева «повторяет „Сентиментальное путешествие" Стерна. Форма путешествия позволяла Радищеву касаться самых разнообразных сюжетов и критиковать их, не особенно заботясь о логической последовательности» [19].

Внешне «Путешествие» действительно похоже на сумму разрозненных путевых картин, писатель зачастую «перескакивает» от темы к теме, возвращается к одним и тем же сюжетам, последующая глава иногда не имеет непосредственной связи с предыдущей. Но дает ли это основание утверждать, что Радищев не заботился о логическом развитии сюжета? Тот же Талер признает, что крепостное право — главный предмет систематических нападок автора «Путешествия».

Но разве одна только критика крепостничества объединяет путевые картины? Ведь даже Р. П. Талер называет Радищева «реформатором» — человеком, который не просто критикует зло, но ищет путей его уничтожения. Здесь мы подходим к главному пункту сюжетного замысла «Путешествия».

Как «соучастником быть во благодействии себе подобных» (I, 227) — такова мысль, побудившая Радищева написать свою книгу. Уже с первых глав «Путешествия» и сам путник и встреченные им единомышленники пытаются выразить сочувствие народу или устранить беззакония, обра-

---

[19] Р. П. Талер завершил перевод на английский язык и издал в США со своим комментарием полный текст «Путешествия»: Radishchew Aleksandr Nikolaevich. A Journey from St. Petersburg to Moscow. Cambr.— Mass., 1958, p. 27.

щаясь к тем или иным блюстителям порядка, поступая на службу, взывая к закону. В главе «Любани» путешественник, узнав со слов крестьянина о его тяжелой доле, еще полагает, что тот ошибается: «мучить людей законы запрещают» (I, 233). В «Чудове» приятель путешественника Ч., сталкиваясь с бесчеловечием мелкого чинуши, обращается с жалобой к его начальнику (I, 240). В «Спасской полести» путешественник старается доказать тому же приятелю, что «малыя и частныя неустройства в обществе, связи его неразрушат», он размышляет, каким бы образом оповестить о разного рода злоупотреблениях верховную власть, ибо полагает, что в самодержавном правлении «она одна в отношении других может быть безпристрастна» (I, 241, 247).

Те же попытки продолжаются в «Зайцове». Давний приятель путешественника Г. Крестьянкин, «наскучив жестокостями» военной службы, переходит в статскую, думая, что здесь откроется ему обширное поле для упражнений в мякгосердечии: «Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы...» (I, 269). Наконец, в главах «Хотилов» и «Выдропуск» путником найден проект еще одного «искреннего друга», предлагавшего обширный план постепенного освобождения крестьян и сочетания самодержавной власти «со свободою» (I, 311—312, 326—330).

Но поставим простой вопрос: говорит ли хотя бы одна из указанных глав об успехе этих попыток?

В той же главе «Любани» путешественнику, уповавшему на закон, становится ясно, что крестьяне помещичьи «в законе мертвы» (I, 233—234). В главе «Чудово» попытки приятеля Ч. найти справедливость у «зверского начальника» кончаются горьким разочарованием (I, 240—241). В главе «Спасская полесть» сам же путешественник выражает сомнение в действенности обращений к «верховной власти»: «Я напишу жалобницу в вышшее правительство. Уподроблю все произшествие и представлю не правосудие судивших и невинность страждущаго.— Но жалобницы от меня непримут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верющаго письма... И на сие надобно верющее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин? — Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верющее письмо.— О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров» (I, 248).

Характерно, что «пробиться» к престолу путешествен-

нику удается только во сне, его грезы кончаются вместе с пробуждением.

Персонаж главы «Зайцово» Крестьянкин поступает на службу, дабы облегчить участь крестьян. Чем кончаются его действия? «Благия его расположения» исчезали при попытке претворить их в жизнь, «яко дым в пространстве воздуха» (I, 270). «...Я прибегал к закону,— рассказывает Крестьянкин,— дабы искати в нем подпору моей нерешимости; но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость...» (I, 270). Наконец, попытка помочь крестьянам, убившим насильника-помещика, сталкивает Крестьянкина с сослуживцами, заставляет его бросить и гражданскую службу (I, 279).

Обратимся к «Хотилову» и «Выдропуску». Любопытное обстоятельство! Изложенный здесь «Проект в будущем» брошен «искренним другом» на дороге; судя по замечаниям путешественника, «замаранные грязию» бумаги другу больше не нужны — он их «оставил мне на волю, что я из них сделать захочу» (I, 321—322). Причину тому найти нетрудно, если дочитать найденные бумаги до конца. Правда, конец этот надо искать, минуя обширную главу «Торжок», вклинившуюся между главами «Выдропуск» и «Медное». Но как бы то ни было, «Медное» продолжает изложение мыслей «искреннего друга», и вот его окончательный вывод: «Недивись... установление свободы в исповедании, обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» (I, 351—352). Мы уже приводили эту мысль вне контекста. Теперь оказывается, что она венчает изложение брошенных без употребления хотиловских бумаг!

Простое рассмотрение «либеральных» сюжетов в общем контексте книги позволяет заключить, что путь освобождения народа «сверху» автор считает по меньшей мере неосуществимым. Но это только одна сторона дела. Рисуя бесплодность попыток помочь народу в официальных рамках, писатель постепенно приводит своих героев не только к оправданию ответного насилия крестьян по отношению к угнетателям-помещикам, по и к прямой пропаганде революционного действия. Обратим внимание на трактовку

в разных главах «Путешествия» таких понятий, как закон, соотношение права и силы, законность или незаконность сопротивления властям, революционного насилия и т. д.

4. По дороге от «Любаней» к «Вышнему Волочку»

Крепостной крестьянин «в законе мертв» — с этого Радищев начинает книгу, ту же мысль он утверждает далее (I, 233, 234, 248, 269—279, 305, 310, 351, 354—362), та же идея завершает «Путешествие» (I, 378). Но писатель не ограничивается простым утверждением этой истины.

История Новгородской республики позволяет ему ответить на вопрос, как воцарилось беззаконие. Судя по летописям, город, имевший «народное правление», был затем ослаблен внутренними несогласиями и пал жертвой хищного соседа — царя Ивана Васильевича. «...Какое он имел право присвоять Новгород?», — спрашивает путник. «Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность. Много было писано о праве народов; нередко имеют на него ссылку; но законоучители непомышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть, или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть мечь. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и аппелляции на оное нет. — Вот по чему Новгород принадлежал Царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его раззорил и дымящияся его остатки себе присвоил» (I, 263). Сказанное подтверждают выписки из «летописи новгородской»: «Новогородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмию печатьми...

В Новегороде был колокол, по звону котораго народ собирался на вече для разсуждения о вещах общественных.

Царь Иван письмо и колокол у Новогородцев отнял» (I, 264).

Один из эпизодов главы «Зайцово» (убийство крестьянами помещика-насильника) позволяет писателю поставить следующий вопрос: можно ли оправдать ответное насилие народа по отношению к насильникам — нарушителям его естественных прав? С точки зрения официальной идеологии крестьяне совершили преступление, нарушили установ-

ленный закон. Напротив, друг путешественника Крестьянкин оправдывает крестьян. «Человек родится в мир равен во всем другому»,— заявляет он. Человек переходит из естественного состояния в гражданское, подчиняется общей власти и закону ради своей пользы. Если же ни закон, ни власть не приходят ему на помощь в беде, «тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния... Убиенной крестъянами Ассессор нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение... закон стрегущий гражданина был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженнаго гражданина, неотъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне убившие зверского Ассессора, в законе обвинения неимеют» (I, 278). Разве не подводит читателя это рассуждение к революционным выводам следующих глав?

Правда, вполне охранительную трактовку закона как будто содержит глава «Крестьцы». «Закон, каков ни худ, есть связь общества,— наставляет крестицкий дворянин своих детей.— И если бы сам Государь велел тебе нарушить закон, неповинуйся ему, ибо он заблуждает, себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение онаго повелевает, тогда повинуйся, ибо в России Государь есть источник законов» (I, 293).

Буржуазные историки неоднократно ссылались на это место как свидетельство «либерализма» Радищева. С ними было бы трудно спорить, если бы высказывание крестицкого дворянина на этом обрывалось. Но продолжим дальше его рассуждения: «Но если бы, закон или Государь, или бы какая либо на земли власть, подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Небойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживеш на памяти благородных душ, до скончания веков» (I, 293).

Наставление в целом — прямой призыв к нарушению закона, к сопротивлению любой земной власти, если закон и власть толкают человека на неправду, на нарушение «добродетели».

Проследим за трактовкой понятий «злодей», «тишина»

в разных главах книги. Любое возмущение крестьян официальные власти в эпоху Радищева именовали «злодейством», нарушением «общественной тишины». Его современники — радикалы, пробуя смягчить участь народа, в лучшем случае доходили до угроз самодержавию подобным «возмущением».

Путешественник в главе «Любани» не поднимается над уровнем общепринятых взглядов, хотя и осуждает их. «Член общества,— сокрушается он,— становится только тогда известен правительству его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне возспалила» (I, 233—234).

Но уже в главе «Зайцово» невиновность крестьян, поднявших руку на помещика, становится для Крестьянкина «математической ясностью», он прямо заявляет, что «злодеями» крестьян «называли несвойственно» (I, 275, 277). А в «Вышнем Волочке» тот же термин «общественный злодей» путешественник относит уже к помещику, притесняющему крестьян. «...Прострите на сего общественнаго злодея ваше человеколюбивое мщение» (I, 326),— призывает он. Еще несколько глав, и сам царь именуется: «злодей злодеев всех лютейший» (I, 360)! Можно ли отрицать явный сдвиг в воззрениях героев?

Характерно и другое. Уже Крестьянкин выступает против тех, кто ради сохранения мнимой «общественной тишины» отказывается от борьбы за восстановление попранной справедливости. «Да невозмнит кто либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине, довода к осуждению на казнь убийцев, в злобе дух испустившаго Ассессора»,— восклицает он. А далее следует прямой призыв к отмщению обиды, хотя бы это грозило нарушением «общественной тишины»: «Гражданин, в каком бы состоянии небо родится ему ни судило, есть и пребудет всегда человек... и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной, и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему если закон гражданский его ненакажет. Он замечен будет, чертою мерзения в своих согражданах, и всяк имеяй довольно сил, да отмстит на нем обиду, им соделанную» (I, 278—279).

Тот же мотив слышится и в главе «Яжелбицы»: «И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите скаредные учители, вы есте наемники мучительства; оно проповедуя

всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы... Я неудивляюся глаголам вашим. Сродно рабам желати, всех зреть в ковах» (I, 299—300).

Дальнейшее развитие того же мотива мы находим в главе «Вышний Волочек». Рисуя притеснения помещика, который «корысти ради своей забывает человечество в подобных ему», путешественник отвечает апологетам крепостнической системы: «И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена попечителей о благе общем. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственнаго богатства почитаете, прострите на сего общественнаго злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы, и развейте пепл по нивам, на них же совершалося его мучительство, ознаменуйте его, яко общественнаго татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы незаразиться его примером» (I, 324, 326).

Добавим, что этот призыв к революционному насилию прямо противопоставлен доводам любителей «тишины» из главы «Зайцово». Те в ответ на требование Крестьянкина оправдать убийц нарисовали устрашающую, достойную «адския кисти» картину всеобщего разрушения: «Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы, невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки Хаос в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет и безплодным порастет злаком; поселяне неимея над собою власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разъидутся. Горсда почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделие скончает свое прилежание и рачительность, торговля изсякнет в источнике своем, богатство уступит место скаредной нищете, великолепнейшия здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию. Тогда огромное сложение общества, начнет валиться на части, и издыхати в отдаленности от целаго; тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится; тогда Владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину» (I, 275—276). На эти аргументы крепостников, расписывавших страшные последствия восстания, путник отвечает словами призыва: «Сокрушите орудия его земледелия: сож-

гите его риги, овины, житницы, и развейте пепл по нивам...» В том же призыве — развитие мыслей главы «Крестьцы». Мщение против узурпаторов «природных прав» человека оказывается «человеколюбивым мщением».

Внимательное чтение глав «Хотилов», «Выдропуск». «Медное» говорит о том, что и для сочинителя «Проекта в будущем» боязнь «мщения» — пройденный этап. «Медное», где завершается изложение проекта, подтверждает, что автор его уповает на «тяжесть порабощения» (I, 352).

По мере утверждения положительных героев в мысли об оправданности ответного насилия, «человеколюбивого мщения» резко меняется сам образ их действий. Пока путник и его единомышленники ищут средств к исправлению зла в рамках существующей системы отношений (первые этапы пути), для них типичны смятение, рефлексия, сознание обреченности благих начинаний. В главе «Любани» путешественник, узнав о бедственном положении крестьян, предается самобичеванию: «Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующаго стана» (I, 234). В главе «Чудово» возмущенный приятель Ч. впервые задумывается о мщении, но устрашается своих мыслей: «Сто делал расположений, как отмстить сему зверскому начальнику не за себя но за человечество. Но опомнясь, убедился воспоминовением многих примеров, что мое мщение будет безплодно, что я же могу прослыть или бешеным или злым человеком; смирился» (I, 240—241). В конце концов Ч. бежит куда глаза глядят: «Заеду туда, куда люди неходят, где незнают что̀ есть человек, где имя его неизвестно» (I, 241). Его примеру следует и Крестьянкин из «Зайцова». Поднявшись до теоретического оправдания взбунтовавшихся крестьян, он, однако, не делает каких-либо практических шагов. «Невозмогши облегчить их жребия», будучи не в силах делать добро, он оставляет свое место «истинному хищному зверю», едет «оплакивать плачевную судьбу крестьянскаго состояния», услаждать свою скуку «обхождением с друзьями» (I, 270, 271, 279).

В отличие от этих персонажей крестицкий дворянин, проповедующий сопротивление неправедной власти,— враг бездействия. «Убойся заранее, именовать благоразумием, слабость в деяниях, сего перваго добродетели врага»,— наставляет он своих сыновей (I, 293). Трудно переоценить важность этих слов, если учесть, что «слабость в деяниях»

была главной чертой героев первой части «Путешествия». Но в чем же состоят действия положительных героев во второй части? Как будто ничего особенного они не совершают. В главе «Торжок» сочинитель размышляет о свободе печати и оставляет путешественнику «Краткое повествование о произхождении ценсуры». В главе «Тверь» проезжий стихотворец рассуждает с путником о правилах стихосложения и читает ему свою оду «Вольность». Путешественник снова наблюдает сцены из крестьянской жизни в главах «Городня», «Пешки», «Черная грязь». В заключение он снова принимается за труды стихотворца — читает его «Слово о Ломоносове». Но посмотрим, что скрывается за этими невинными занятиями.

5. По дороге от «Торжка» к «Москве»

Сочинитель из главы «Торжок» добивается «свободы в ценсуре». «Розыск вреден в Царстве науки: он сгущает воздух и запирает дыхание,— цитирует он Гердера.— Книга проходящая десять ценсур прежде, нежели достигнет света, неесть книга, но поделка святой Инквизиции; часто изуродованной, сеченной батожьем, с кляпом во рту узник, а раб всегда... В областях истинны, в царстве мысли и духа; неможет никакая земная власть давать решений, и недолжна; неможет того правительство, менее еще его ценсор, в клабуке ли он или с тямляком» (I, 330—331). Сочинитель видит у свободомыслия двух врагов — «суеверие священное» и «политическое»: «...То и другое пеклися, да власть будет всецела, да очи просвещения, покрыты всегда пребудут туманом обаяния, и да насилие царствует на щет разсудка» (I, 344, 346).

Кто же возглавит борьбу с духовным и политическим порабощением? Вот ответ. «Кто в часы безумия нещадит бога; тот в часы памяти и разсудка непощадит незаконной власти. Небояйся громов всесильнаго, смеется висилице. Для того то вольность мыслей, правительствам страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец, простред дерзкую но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ея личину и покров, и обнажит ея состав. Всяк узрит бренныя его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору, сила возвратится к источнику, истукан падет» (I, 333).

Итак, можно утверждать: тему силы и права, поднятую в главе «Новгород», развивает глава «Торжок». «Глагол

истины» — вот что сокрушит неправую власть, сила возвратится от нее к источнику — народу, «деяние мужества» сокрушит «истукана».

Эту мысль подхватывает и развивает стихотворец из «Твери». «Человек во всем от рождения свободен»,— таков исходный тезис его оды. Только ради пользы общей человек кладет своей свободе «предел», подчиняется закону (этот тезис мы видели в главе «Зайцово»). Закон изображается « в виде божества в храме, коего стражи суть истина и правосудие».

Но изображения «истины и правосудия» лишь маскируют беззаконие, стихотворец показывает, что скрывается на деле за обманчивой «тишиной»:

Возрим мы в области обширны,
Где тусклой трон стоит рабства;

В мире и тишине суеверие священное и политическое, подкрепляя друг друга,

Союзно общество гнетут.
Одно сковать разсудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
На пользу общую рекут.

От мнимой «тишины» и «суеверия священного и политического» (все это — развитие сюжетов «Зайцова». «Торжка») стихотворец переходит к обличению монарха, и это закономерно; мы помним, что в России «Государь есть источник законов», хранитель «общественной тишины».

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, Царь,
На громном троне, властно севши,
В народе зрит лиш подлу тварь.

Каким образом царь узурпировал народные права? Забыв данную когда-то «клятву», нарушив заключенный с народом «договор», он «мечем... разторг уставы».

Перед нами знакомые (по главе «Новгород») мотивы: как всегда дело решила сила, судьей между царем и народом был меч.

Где же путь к восстановлению повергнутых «безгласных прав»? Вот ответ стихотворца из «Твери»: «Но хотя во круг твоего престола все стоят преклонше колена; трепещи, се мститель грядет, прорицая вольность...».

Далее следует картина «человеколюбивого мщения», подготовленного вольным словом:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна,
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Мечь остр, я зрю везде сверкает;
В различных видах смерть летает;
Над гордою главой царя.
Ликуйте склепанны народы;
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя...

Революционное насилие, тот же меч, но поднятый теперь народом, решает исход борьбы. Народ судит монарха:

Сковав сторучна исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ возсел:
«Преступник власти мною данной!
«Вещай злодей, мною венчанной,
«Против меня возстать как смел?»

Венценосный преступник осуждается на казнь:

«Злодей злодеев всех лютейший...
Ты все совокупил злодеяния, и жало свое в меня устремил...
Умри, умри же ты сто крат».
Народ вещал...

Но не будет ли этот акт «концом общества»? Это и утверждали апологеты самодержавия в главе «Зайцово»: на царском престоле зиждутся «опора, крепость и сопряжение общества»; стоит народу почесть владыку «простым гражданином» (а в главе «Тверь» царя судят «как гражданина»!), и «огромное сложение общества начнет валиться на части», «будет паки Хаос в начальных обществах обитающий», «общество узрит свою кончину».

Сочинитель оды «Вольность» отвечает и на этот вопрос: самодержавное государство, «всех сил сложенье», действительно, разделится на части, развалится в результате революции, но это будет рождением из недр «развалины огромной» не Хаоса, а царства Вольности:

В тебе когда союз прервется,
Стончает мненья крепка власть;
Когда закона твердь шатнется,

Блюсти всяк будет свою часть;
Тогда, растерзано мгновенно,
Тогда сложенье твое бренно,
Содрогшись внутренно, падет,
Но праха вихри не коснутся,
Животны семена проснутся,
Затускло солнце вновь даст свет.
Из недр развалины огромной,
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег —
Возникнут малые светила;
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцем,
На пользу всех ладью направят,
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцем [20].

В следующей главе («Городня») путешественник повторяет призыв к «человеколюбивому мщению». Пусть крестьяне разобьют своими оковами «главы безчеловечных своих господ» — государство от этого ничего не потеряет: из среды «рабов» изторгнутся «великие мужи, для заступления избитаго племени», они будут «других о себе мыслей и права угнетения лишенны» (I, 368).

В заключительной главе («Слово о Ломоносове») тот же стихотворец излагает программу революционного просвещения. Сопоставляя двух великих мужей: Ломоносова, который, «следуя общему обычаю ласкати царям... льстил похвалою в стихах Елисавете», рисовал «прелестную картину народнаго спокойствия и тишины», и Франклина, который служил революции, поэт делает выбор не в пользу первого. «Уже ли поставим его близь удостоившагося наилестнейшия надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись начертанная не ласкательством, но истинною дерзающею на силу: „Се изторгнувший гром с небеси, и скиптр из руки царей“» (I, 388, 391).

А вот заключительные слова, возвращающие нас к исходному пункту книги (как «соучастником быть во благодействии себе подобных»), слова, проникнутые убежден-

[20] «Вольность» цитировалась по тексту «Путешествия» (I, 356—358, 360), за исключением двух последних строф, переданных в книге со значительными сокращениями, они приведены по полному тексту оды (I, 15—16).

ностью, силой: «Недостойны разве признательности мужественныя писатели, возстающие на губительство и всесилие?». Пусть они не могли сами избавить человечество «из оков и пленения», но слово, брошенное ими, приведет в движение мир. «Первый мах в творении всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом» (I, 391—392). Перед нами ключ к пониманию замысла и веры писателя.

6. Зашифрованное становится очевидным

Анализ хода мыслей автора доказывает, что Радищев не придерживался одновременно двух «диаметрально противоположных» программ — идеи «просвещенного абсолютизма» и идеи народной революции, вторую программу он выдвигал в противовес первой. А вот и дополнительные факты, окончательно подтверждающие наш вывод.

Обратим внимание на описание лика царя в «Твери»:

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, Царь,
На громном троне, властно севши,
В народе зрит лиш подлу тварь.
Живот и смерть в руке имея:
«По воле, рек, щажу злодея,
«Я властию могу дарить;
«Где я смеюсь, там все смеется;
«Нахмурюсь грозно, все смятется.
«Живеш тогда, велю коль жить» (I, 357)[21].

Разве не напоминает эта зарисовка уже знакомую нам по «Спасской полести» картину — толпу льстецов, впадающих то в скорбь, то в радость при первом же знаке печали или первом «кривлении улыбки государя»? И разве не был прав М. Н. Покровский, отметив смысловую связь обеих глав? Связь сюжетов так называемых либеральных глав и глав революционных подчеркнута самим автором «Путешествия». Еще важнее отметить нарочитое противопоставление писателем их идей.

Сопоставим монолог царя, взревевшего «яростию гнева» на злодеев в знаменитом «Сне», и обращение народа к судимому монарху из «Вольности»:

[21] Здесь и далее подчеркнуто нами.— *Авт.*

«Спасская полесть»

«Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность Господа вашего? предстаньте ныне пред судию вашего» (I, 257).

«Тверь»

«Злодей злодеев всех лютейший...

Ты все совокупил злодеяния, и жало свое в меня устремил...

Умри, умри же ты сто крат»
Народ вещал... (I, 360).

Злодей, совокупивший все злодеяния, не может судить других злодеев, он еще более, чем они, достоин плахи,— вот что доказывает «Вольность» в противовес «Сну».

Вот дарование свободы в «Выдропуске» и в «Твери»:

«...Возблагоденствуем с нова, и будем примером позднейшему потомству, како власть со свободою сочетать должно, на взаимную пользу» (I, 330).

«Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову, и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность (I, 361).

Разве не тезисам «Проекта в будущем» отвечает «Вольность»?

Еще две картины. В «Хотилове» царь берется довершить благие помыслы своих «державных предков». «...Мудрые правители нашего народа, истинным подвизаемы человеколюбием, дознав естественную связь общественнаго союза, старалися положить предел стоглавному сему злу...» (I, 312). «Отцы наши зрели губителей сих, со слезами, может быть сердечными, сожимающих узы, и отягчающих оковы, наиполезнейших в обществе сочленов. Земледельцы и доднесь между нами рабы...» (I, 313). В «Выдропуске» тот же царь укоряет и наставляет своих коронованных собратьев: «...Многие Государи возмнили что они суть боги, и вся его же коснутся, блаженно сотворят и пресветло. Тако и быть долженствует в деяниях наших, но токмо на пользу общую» (I, 326—327).

А вот показ истинного смысла царских забот в «Твери»:

...Родства незнает, не приязьни
Равно делит и мзду, и казни;
Он образ божий на земли.
И се чудовище ужасно,
Как гидра, сто имея глав,
Умильно и в слезах всечасно,
Но полны челюсти отрав.
Земныя власти попирает,
Главою небо досязает
Его отчизна там гласит.

Призраки, тьму повсюду сеет
Обманывать и льстить умеет,
И слепо верить всем велит (I, 356).

Неужели случайно монарх, ополчавшийся в одних главах на сокрушение «стоглавого орла», сам обратился в других главах в «стоглавую гидру»? Неужели по рассеянности писателя монархи творили здесь — все «блаженно и пресветло», там — сеяли «призраки, тьму»?

Еще столкновение. Хотиловский царь в трогательном единении со служителями божества отказывается от неограниченной власти в пользу общества: «Служители божества предвечнаго, подвизаемые ко благу общества и ко блаженству человека, единомыслием с нами, изъясняли вам в поучениях своих, во имя всещедраго бога, ими проповедуемаго: колико мудрости его и любви противно властвовати над ближним своим, самопроизвольно» (I, 313). О царских деяниях «на пользу общую» «на пользу всех и каждаго» говорилось и в главе «Выдропуск» (I, 326—329). А вот разъяснения оды «Вольность» насчет истинного смысла всех этих забот:

Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут;
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
На пользу общую,— рекут (I, 4).

Еще одно столкновение противоположных концепций — монолог просветителя, посмевшего сказать правду монарху, и монолог просветителя, вещающего правду народу:

«Спасская полесть»

«Неубойся гласа моего николи. Если из среды народныя возникнет муж порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабскаго трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и недерзай его казнити, яко общаго возмутителя. Призови его, угости его яко странника (I, 253).

«Торжок»

«Небояйся громов всесильнаго, смеется виселице. Для того то вольность мыслей, правительствам страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец, прострет дерзкую но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ея личину и покров, и обнажит ея состав. Всяк узрит бренныя его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору, сила возвратится к источнику, истукан падет (I, 333).

Концепцию революционного просветительства развивает далее глава «Тверь» («трепещи, ее мститель грядет, прорицая вольность»), причем в картине восстания народа снова использованы образы предыдущих глав:

И нощи се завесу лживой,
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой,
Огромной истукан поправ;
Сковав сторучна исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ возсел... (I, 358).

Наконец, последняя смысловая параллель между так называемыми либеральными главами и главами революционными, также подчеркнутая употреблением тождественных оборотов в противоположных по смыслу местах.

«Ласкатели» в «Спасской полести» воспевали «мудрого законодателя» — «премудрость» законов часто бывает только в их слоге, отвечала «Городня». «Ласкатели» утверждали: монарх «вольность дарует всем» — «Городня» говорила о «посмеянии священнаго имени вольности». «Проект в будущем» предполагал уничтожение рабства «свыше» — революционер из «Городни» видит сквозь завесу времени, «будущее скрывающую», грядущую революцию!

Все без исключения главные пункты революционной программы являются результатом критики, преодоления программы либеральной. Все они даны в «Путешествии» не по формуле «и — и» (и революционный и либеральный путь), а по формуле «не — а» (не либеральный, а революционный путь).

Итак, немыслимое, непонятное противоречие двух программ «Путешествия» получило вполне рациональное разрешение. Радищев именно «сознавал и видел», что он «громоздит противоречия на противоречия». Столь тщательная подборка и специальное заострение противоречий, текстовые созвучия доказывают наличие определенного, вполне сознательного замысла. Не «логическая непоследовательность», а необычайная логичность, не «раздвоенность» психики, а замечательная цельность характеризуют Радищева как мыслителя. То, что большинству советских исследователей представляется до сих пор исповеданием «просвещенного абсолютизма», является по сути дела отрицанием этой доктрины, утверждением — в противовес ей — идеи правомерности и неизбежности революционного пути.

7. Выводы из неоспоримых фактов

Подведем некоторые итоги.

1. На поставленный в «Путешествии» вопрос — как помочь закрепощенному народу — положительные герои дают в начале и конце пути разные ответы. Взгляды путешественника, как и его единомышленников, претерпевают определенную эволюцию (отражавшую, в известной мере, эволюцию взглядов и самого Радищева).

2. Для персонажей первого этапа путешествия характерно стремление помочь народу в рамках существующих отношений, или на путях либерального реформаторства (апелляция к закону, служба в судебных органах. обращения к монарху). О практической осуществимости таких попыток не говорится ни в одной из этих глав. Просвещение монарха оказывается возможным только во сне, служба в судебных органах завершается разочарованием, проекты освобождения крестьян валяются без дела на дороге, они брошены самим автором этих бумаг. После главы «Медное», которая выясняет главную причину прошлых неудач, попытки либерального реформаторства прекращаются. Путешественник и другие положительные герои начинают развивать концепцию революционного освобождения народа.

3. В «Путешествии» представлена цельная революционная концепция, аргументированная программа, а не просто отдельные революционные высказывания или места. Ода «Вольность» — ядро этой концепции — оказалась в свою очередь обобщением ряда идей, последовательно переосмысливаемых на всем протяжении книги, от ее первых до последних глав (см. трактовку закона, мщения, соотношения права и силы и т. д.).

4. Поскольку либеральные идеи сопровождаются в «Путешествии» постоянными нотками сомнения, скептическим подтекстом, поскольку всем им прямо противопоставлены выводы революционных глав, поскольку эти выводы венчают книгу, являются ее кульминацией, то придется согласиться, что автору «Путешествия» вообще несвойственны либеральные колебания и иллюзии. Книга, как об этом уже 30 лет твердят некоторые литературоведы, действительно рисует процесс преодоления, изживания либеральных идей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОБЛЕМА «РУССКОЙ ПОЧВЫ» И «ЗАПАДНЫХ ВЛИЯНИЙ»

«Великий гений образуется при посредстве другого гения не столько ассимиляцией, сколько трением. Один алмаз полирует другой».

Г. Гейне

1. Концепция Радищева — отражение Крестьянской войны 1773—1775 гг.?

Поставим следующий вопрос. Как вообще могла появиться в России, где антифеодальная традиция существовала всего несколько десятилетий, столь радикальная политическая концепция?

О некоторых событиях русской истории XVIII в., нашедших отражение на страницах «Путешествия» (издание пресловутого «Наказа», рождение иллюзий в среде передового дворянства и последующее крушение веры в «философа на троне»), упоминалось в предыдущих главах. Эти события могли привести Радищева к выводу об иллюзорности надежд на «верхи».

Но был ли достаточен политический опыт одной только России для того, чтобы выдвинуть и обосновать положительную революционную программу освобождения народа? Утвердительно отвечая на этот вопрос, многие советские историки пытались связать зарождение революционных идей в русской антифеодальной мысли непосредственно с Крестьянской войной 1773—1775 гг. «Начавшаяся в конце 60-х и начале 70-х годов деятельность русских просветителей в 80-е годы примет качественно новый характер,— писал Г. П. Макогоненко.— Это будет определено великим событием русской жизни — крестьянской войной против дворянско-самодержавного режима, возглавленной Пугачевым. До восстания Пугачева эта деятельность в большей своей части будет носить негативный характер: разрушались „алтари", возводимые екатерининскому самодержавству. После восстания, продемонстрировавшего революционные силы народа, русское просвещение окажется способным теоретически обобщить его опыт и построить самое передо-

вое в мире самостоятельное политическое мировоззрение XVIII столетия, в основе которого будет лежать радищевская теория народной революции... Все, написанное Радищевым после пугачевского восстания, есть непосредственное, теоретическое, политическое, философское и художественное обобщение опыта великой войны русского народа против помещичье-самодержавного государства, войны, наиболее демократической, предшествовавшей и американской и французской буржуазным революциям»[1].

Подобное «выведение» революционной концепции Радищева непосредственно из событий Крестьянской войны — не редкость в нашей литературе. Исследователи ссылаются на известное замечание Радищева об «обагренном кровию» бурлаке, который «многое может решить доселе гадательное в Истории Российской» (I, 230). Еще чаще приводится другое, знакомое нам положение: «Но крестьянин в законе мертв... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет» (I, 305). Указывается и на то, что в оде «Вольность» писатель сочувственно рисует восстание земледельцев, услышавших «глас свободы»:

Под древом, зноем упоенный,
Господне стадо пастырь пас;
Вдруг новым светом озаренный,
Вспрянув, свободы слышит глас... (I, 9—10).

С предсказаниями Радищева о грядущей крестьянской революции из «Городни» перекликается, по мнению некоторых исследователей, заключение «Песен, петых на состязаниях»:

...О народ, народ преславной!
Твои поздные потомки
Превзойдут тебя во славе
Своим мужеством изящным,
Мужеством богоподобным,
Удивленье всей вселенной,
Все преграды, все оплоты
Сокрушат рукою сильной,
Победят — — природу даже,—
И пред их могущим взором,
Пред лицем их озаренным
Славою побед огромных
Ниц падут цари и царства (I, 72—73).

---

[1] Г. Макогоненко. А. Н. Радищев. Очерк жизни и творчества. М., 1949, стр. 41, 50. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

Подчеркнуто в нашей литературе и то, что Радищев не боялся сравнивать вождей крестьянских восстаний (Разина) с такими великими личностями, как Александр Македонский, Фридрих II, Кромвель (II, 128—129), что уже само по себе являлось неслыханным преступлением с точки зрения официальной идеологии, не знавшей для крестьянских героев иных определений, кроме «злодей», «вор», «разбойник». Больше того, в «Путешествии» Радищев как раз эти определения переадресовывал представителям господствующего класса, называя «извергом», «общественным татем» (вором) — помещика, а «злодеем, злодеев всех лютейшим» — самого царя!

Наконец, в последнее время некоторые советские литературоведы и историки подчеркнули, что в радищевских призывах слышатся отзвуки пугачевских воззваний. В манифестах Пугачева, указах его военной коллегии, «увещевательных письмах» его полковников, пишет тот же Г. П. Макогоненко, выражены «категорические требования народа о вольности и земле, обнаженно передана ненависть к угнетателям-дворянам... Мысль о праве народа на восстание нашла свое выражение в формуле „отмщение"... Во время восстания родилась и формула демократического идеала человека, впоследствии воспринятая передовой революционной русской литературой, и прежде всего Радищевым и декабристами: „истинный сын отечества", „настоящий верноподданный отечеству сын" ...Радищев не мог не знать пугачевских манифестов... Радищевское учение о том, что крепостной только тогда становится „истинным сыном отечества", когда сбрасывает с себя путы рабства, его суждение о праве народа на „мщение" своим прецедентом имело пугачевские манифесты» [2].

Факты очевидны: установка на выявление связей радищевских произведений с идеологией народных масс оказалась плодотворной, результаты изысканий подтверждают характеристику Радищева как идеолога крестьянской революции в России.

И все же вывод о политической концепции Радищева как непосредственном отражении восстания Пугаче-

---

[2] Г. П. Макогоненко. Радищев и его время. М., 1956, стр. 193, 196, 197, 208. «Мотивы пугачевских манифестов» в произведениях Радищева находит и В. В. Мавродин (см. «Крестьянская война в России в 1773—1775 гг. Восстание Пугачева», т. I. Л., 1961, стр. 20, 21).

ва требует весьма существенных уточнений: связывая с народной, крестьянской революцией будущее родины, Радищев отнюдь не принимал современных ему крестьянских «возмущений». «Глупые крестьяне,— восклицает он,— вы искали правосудия в самозванце!» (I, 305).

Сами по себе подобные осуждения ни в коей мере не отменяют характеристику Радищева как идеолога крестьянства. Идеолог класса потому и именуется таковым, что поднимается над уровнем представлений своего класса, придает его стихийным устремлениям осмысленный, целенаправленный, политический характер. Но возникает вопрос — что дает идеологу возможность подняться над узким горизонтом народных представлений, видеть дальше, глубже, яснее? Вот одно из объяснений: «Как гениальный мыслитель он увидел и слабость и неорганизованность крестьянских восстаний; он понимал, что в современных ему обстоятельствах эти восстания победить не могут, что желанная пора победоносной революции придет не скоро... Доведенные до крайности крепостные поднялись на мщение под царистским лозунгом: против Екатерины, но за „народного", мужицкого царя. Революционер Радищев, ненавистник всякой монархии, писал поэтому в „Путешествии" о слабости восставших, пошедших „за грубым самозванцем"» [3].

Гениальность Радищева мы не думаем оспаривать, добавим только, что она предполагает выход за рамки узкого, обыденного рассмотрения непосредственно данного явления. И здесь мы сталкиваемся с любопытным казусом: авторы, выводящие концепцию Радищева непосредственно из опыта крестьянских восстаний в России, замыкают идеолога крестьянской революции в узконациональные границы. «...В противовес дореволюционным буржуазным исследователям, выводившим мировоззрение Радищева из „влияний" западной философии и литературы,— писал П. Н. Берков,— советские авторы считают, что система социально-политических убеждений Радищева ц е л и к о м сложилась на почве русской действительности, на основе классовой борьбы крепостного крестьянства...» [4]. Если верить Г. П. Макогоненко, именно революционный опыт русского народа, накопившийся в его беспрестанных восстаниях про-

[3] Г. П. М а к о г о н е н к о. Радищев и его время, стр. 208.
[4] П. Н. Б е р к о в. Некоторые спорные вопросы современного изучения жизни и творчества А. Н. Радищева.— «XVIII век», сб. 4, М.— Л., 1959, стр. 173. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

тив дворян-помещиков, позволил Радищеву подняться над уровнем западного Просвещения, выдвинуть «несвойственную» энциклопедистам идею народной революции: «Он единственный (!?) в XVIII веке развивает идею народной революции, провозглашает новую подлинно демократическую философию человека-деятеля, революционера»[5]. А вот заключение одного из наших обобщающих пособий: «Идея народного восстания была совершенно чужда французским просветителям — идеологам буржуазии. Во французском Просвещении нельзя указать мыслителя, подобного Радищеву, идеологу и пропагандисту крестьянской войны»[6].

В подобных заявлениях по крайней мере две ошибки. Именно идея народной революции сближала, при всех существенных различиях буржуазного демократизма энциклопедистов и крестьянского демократизма Радищева, их политические концепции в 80-х годах XVIII в. Именно опыт революционной борьбы Запада позволил Радищеву предсказать грядущие результаты народной борьбы, еще совершенно неразличимые в эпоху Крестьянской войны 1773—1775 гг. в России. Попытаемся подтвердить этот вывод.

2. Полемика в советском радищеведении 40—50-х годов

В советской литературе 40 — начала 50-х годов много нареканий вызвали попытки некоторых историков «расписывать» мировоззрение Радищева по западным источникам. Особенно резко критиковалась следующая формула: «Литературная форма „Путешествия" была взята Радищевым у английского писателя Стерна, автора „Сентиментального Путешествия по Франции и Италии", которое пользовалось в то время большой известностью. Радищев — ученик французских рационалистов и враг мистицизма, хотя в некоторых его философских представлениях материалистические идеи Гольбаха и Гельвеция неожиданно смешиваются с идеалистическими представлениями, заимствованными у Лейбница, которого Радищев изучал в Лейпциге. Его идеи о семье, браке, воспитании восходят к Руссо и Мабли (последнего сам Радищев переводил на русский язык).

[5] Г. П. Макогоненко. Народная публицистика XVIII века и Радищев.— Сб. «Радищев, статьи и материалы», Л., 1950, стр. 52.

[6] «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I, М., 1955, стр. 228.

Общие мысли о свободе, вольности, равенстве всех людей сложились у Радищева, по его собственным словам, под влиянием другого французского просветителя — Рейналя»[7].

Принципиальная узость формулы не подлежит сомнению. Формирование мировоззрения она сводит к простому заимствованию тех или иных идей, берет западные источники концепции мыслителя в отрыве от русских, не показывает характера переработки прогрессивной антифеодальной идеологии Запада на русской почве. Со стороны фактической формула также уязвима.

Содержание «Путешествия» никак не сводится к традиционным формам «Путешествия» Стерна. Суть философской системы взглядов Радищева состояла не в эклектическом сочетании материализма и идеализма, идей Гольбаха и Лейбница, а в попытке сопоставить по вопросу о смертности и бессмертии души взгляды этих двух школ с целью выявить достоверность первых, умозрительность вторых. У Руссо и Мабли Радищев брал не только мысли о «браке, семье, воспитании», он был приверженцем их радикальной политической и социальной доктрины. Наконец, Рейналь, как увидим ниже, учил Радищева не только абстрактным представлениям о свободе и вольности.

Добавим, что отвергнутая примитивная формула не выдерживает никакого сравнения с той диалектической постановкой вопроса, которую мы находим у Г. А. Гуковского в 30-е годы. «Радищев,— писал он,— принадлежит к числу столь больших деятелей культуры и социальной жизни вообще, что рассматривать его только в узко-местном, так сказать, провинциальном масштабе — невозможно. Его книга принадлежит истории всей Европы, и понять ее можно лишь на фоне общеевропейского исторического движения. Радищев был рупором великой буржуазной революции конца XVIII века; он был в значительной степени воспитан революционной мыслью западной буржуазии, но он применил ее достижения к условиям русской действительности, к условиям борьбы русского народа за свободу. Нельзя при этом забывать, что в пору своего революционного наступления французская буржуазия в борьбе с феодализмом сама объединялась с широкими народными массами, что буржуазная революция на своем подъеме опиралась на движение всего угнетенного феодализмом народа. Это опреде-

[7] «История СССР», т. I. С древнейших времен до конца XVIII века. М., 1947, стр. 661.

ляет и отношение Радищева к буржуазной мысли Запада. но с характерными и специфическими чертами, связанными с тем, что он был идеологом именно русской революции... Буржуазные — в западноевропейском аспекте — идеи его преломлялись в этих условиях в том смысле, что в них акцентировались именно элементы народного, т. е. в условиях его времени — прежде всего крестьянского мировоззрения» [8].

Этот принципиально верный подход не был сохранен в полемике 40 — начале 50-х годов. Односторонним теориям «заимствований» были противопоставлены не менее односторонние теории, отрицающие всякое влияние передового Запада на формирование революционной концепции Радищева. «Космополитическая наука,— утверждал Г. П. Макогоненко,— на протяжении многих десятилетий тщилась доказать западное происхождение революционности Радищева. Идеологи французского третьего сословия, корифеи просвещения — Гельвеций и Руссо, Дидро и Рейналь объявлялись учителями русского „прорицателя вольности". Серьезная проверка исторических фактов показала всю фальшь и вздорность этих утверждений» [9].

Если под космополитической наукой понимать буржуазную науку, то таковая едва ли доказывала когда-либо западное происхождение р е в о л ю ц и о н н о с т и Радищева — буржуазные историки доказывали обычно западное происхождение его л и б е р а л и з м а. Что касается того, следует ли объявлять корифеев Просвещения учителями Радищева, то прекрасно известно, что в юности Радищев и его друзья «мыслить научалися» по Гельвецию (I, 177), что Радищев впоследствии переводил Мабли, что тот же Руссо оставался для Радищева и на склоне лет «изящнейшим учителем» (II, 65) и т. д. Впрочем, будем справедливы. Исключив Радищева из школы западного Просвещения, Г. П. Макогоненко тут же снова зачисляет его в эту школу, правда, с определенной оговоркой: «Прежде всего, обращают на себя внимание такие факты. В период своего активного знакомства с учениями французских просветителей (Лейпциг) Радищев не является революционером. Его произведения 70-х годов, сразу после приезда

---

[8] Гр. Г у к о в с к и й. Очерки по истории русской литературы..., стр. 144, 145.

[9] Г. П. М а к о г о н е н к о. Народная публицистика XVIII века и Радищев, стр. 52.

в Россию,— примечание к слову „Самодержавство" и „Дневник одной недели" — произведения радикальные, несущие на себе следы плодотворного изучения передовой западноевропейской философии, но не революционные. Революционером Радищев становится в России, становится именно п о с л е крестьянской войны 1773—1775 гг. Произведения 80-х гг. ...— это действительно подлинно революционные произведения»[10].

Факты указаны как будто правильно. Но беда в том, что указаны не все факты. Выпала — по недосмотру или другим причинам — оценка деятельности Радищева в п е р в ы е г о д ы после Пугачевского восстания. В то время как, согласно схеме Г. П. Макогоненко, писатель должен был переживать наивысший подъем творчества, активно осмысливать результат Крестьянской войны, он отходит от всякой общественной деятельности, причем не на год-два, а на целых пять — семь лет! Женившись в 1775 г., он забрасывает свои писательские опыты и не занимается ничем более, «как домашними делами». «...Разум мой,— говорил он на следствии,— как будто забыл прежнюю свою охоту упражняться в сочинениях»[11]. К показаниям Радищева (о чем еще будет идти речь) надо относиться осторожно, проверяя их по другим данным. Но в нашем случае нет никаких оснований брать их под сомнение. Нам не известны произведения или рукописи Радищева 1775—1781 гг., сам же Г. П. Макогоненко датирует первые его революционные работы 1782 и 1783 годами. Подчеркнем и другое: показания Радищева свидетельствуют, что возврат к писательской деятельности был непосредственно связан с новым активным чтением французских просветителей — теперь уже «Истории обеих Индий» Рейналя. «Сию то книгу,— показывал Радищев,— могу я почитать началом нынешнему бедственному моему состоянию. Я начал ее читать в 1780 или 81 году». Правда, ссылки на Рейналя были своего рода защитным приемом Радищева — рассказывая о своем «увлечении» Рейналем, он старался смягчить тяжесть преступления: «слог Реналев, водя меня из путаницы в путаницу, довел до совершения моей безумной книги, которая готова была в исходе 1788 года»[12]. Это очень веское соображение. Однако совершенно

---

[10] Г. П. М а к о г о н е н к о. Народная публицистика XVIII века и Радищев, стр. 52.

[11] Д. С. Б а б к и н. Процесс А. Н. Радищева, стр. 188.

[12] Там же, стр. 188—189.

неоспоримые данные говорят о действительном влиянии книги Рейналя на Радищева в начале 80-х годов. Отзвуки «Истории обеих Индий» обнаружены советскими исследователями и в оде «Вольность» и в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске», прямые ссылки на книгу Рейналя мы находим в «Путешествии» (I, 240), «Слово о Ломоносове» содержит известное высказывание: «Следуя истине, небудем в Ломоносове искать великаго дееписателя, несравним его с Тацитом, Реналем, или Робертсоном» (I, 390). Можно поэтому безошибочно утверждать, что Радищев строил тактику своей защиты, опираясь на вполне реальные и уже известные следствию факты; изрядно начитанная в просветительской литературе Екатерина без труда обнаружила в «Путешествии» умствования, взятые «из разных полумудрецов сего века, как то Руссо, аббе Рейнала и тому гипохондрику подобные...» [13].

Таким образом, предвзятая схема Г. П. Макогоненко (пока Радищев активно читал западных просветителей, он не был революционером, бросив их и обратившись к событиям Крестьянской войны, он стал таковым) не выдерживает фактической проверки. Плодотворное влияние западной мысли на Радищева продолжалось и в начале 80-х годов, когда он приступил к глубокому осмыслению опыта крестьянской борьбы в России. А это требует детального анализа связей Радищева с освободительной мыслью Запада. Добавим, что проблему, заброшенную некоторыми советскими авторами [14], взяли себе на откуп зарубежные буржуазные исследователи Р. Талер, Д. Лэнг и др. [15]

[13] Там же, стр. 160.

[14] В монографии Г. П. Макогоненко «Радищев и его время» (объем 40 печатных листов) вообще не упомянута «История обеих Индий» Рейналя, оказавшая на Радищева 80-х годов самое непосредственное влияние!

[15] За последние 10—15 лет исследованием «западных источников» Радищева занимались в ФРГ, Англии и США. См. K. Bittner. J. G. Herder und A. N. Radiščev.— «Zeitschrift für slavische Philologie», vol. XXV, Hf. I. Heidelberg, 1956; D. M. Lang. Sterne and Radishchev: an Episode in Russian Sentimentalism.— «Revue de littérature comparée». Paris, 1947, № 2; D. M. Lang. Some Western Sources of Radiščev's Political Thought.— «Revue des Études Slaves», XXV. Paris, 1949; D. M. Lang. The First Russian Radical Alexander Radishchev 1749—1802. London, 1959; D. M. Lang. La légende de Radiščev au Panthеon.— «Revue des Études Slaves», XXV. Paris 1949; A. McConnell. Radishchev's Political Thought.— «American Slavic and East European Review», vol. XVIII, 1958, № 4; R. P. Thaler. Radiščev, Britain and America.— «Harvard Slavic Studies», vol. IV, 1957, и др.

3. Версия Талера об англофильстве Радищева

Для Талера, обосновывающего «либерализм» Радищева, проблема истоков «Путешествия» решается просто. Родина либеральных идей — Англия, Радищев должен быть англофилом. «Радищев,— поясняет он,— был в сущности либеральным реформатором... Он желал законного, упорядоченного правления, равноправия в рамках закона, свободы личности, свободы слова, свободы критики и смены правительства, когда это становится необходимым. Резюмирую, Радищев был англофилом. Он был удивительно хорошо осведомлен как о Британии, так и об Америке. Именно в Британии развивалась в наиболее совершенной форме та комбинация закона и порядка, которой он восторгался. Те же самые либеральные идеи, как он знал, были пересажены в Америку, привились, а в некоторых случаях, возможно, даже были развиты там... Он свободно критиковал некоторые стороны британской и американской жизни, но полагал, что Россия могла бы поучиться у обеих стран и позаимствовать там гораздо больше из того, что было там хорошего» [16].

Далее Талер устанавливает, что Радищев, возможно, читал Мильтона, ценил знание иностранных языков, особенно английского, что он, по всей вероятности, знал комедию Шекспира «Двенадцатая ночь», был прекрасно знаком с историей английской цензуры, цитировал «Декларации прав» Американских штатов, а также ссылался на Америку и Англию в оде «Вольность», что он привел в «Путешествии» строки 27—31 акта V, сцены 1 трагедии Аддисона «Смерть Катона», упоминал англичанина Вильяма Горация и американца Франклина, что он знал также английского юриста Блекстона и английского историка Робертсона. Наконец, Талер не исключает знакомства Радищева с трудами Бентама и А. Смита и приводит детальные сведения о Фоксе и Питте, упомянутых Радищевым. Выберем из всех этих параллелей самые существенные.

Отношение Радищева к английской революции Талер описывает так: «Радищев в оде „Вольность“ нарисовал злодея царя, злоупотребившего властью, данной ему для блага народа; царь предстает перед судом народа и осуждает-

---

[16] R. P. Thaler. Radiščev, Britain and America, p. 59—60; те же сведения отчасти повторяет введение Талера к книге: Radishchev Aleksandr Nikolaevich. A Journey from St. Petersbourg to Moscow, Cambr.— Mass., 1958.

ся на смерть: Радищев восхвалял Кромвеля за произведенные законным порядком суд и казнь короля. Но он проклинал Кромвеля за то, что тот „сокрушил твердь свободы“» [17].

Соответствующие строфы оды «Вольность» изложены крайне «сжато», отсутствует всякий комментарий. А ведь если бы Талера привлекала английская революционность, а не английский либерализм, то он мог бы обнаружить, к примеру, сходство основных тезисов обвинения, предъявляемого царю в «Вольности» (строфы 15—22), с обвинением, предъявленным королю Карлу I Верховным судебным трибуналом 20 января 1649 г. Перед этим фактом блекнут все талеровские гипотезы о знакомстве Радищева с трудами Шекспира или Бентама.

Вот отправной тезис обвинения: король наделяется «ограниченной Властью», дабы «править, руководствуясь и в соответствии с Законом Страны и не иначе и своей Ответственностью, Присягой и Службой (by his Trust, Oath and Office) обязуется использовать переданную ему Власть для блага и выгоды Народа и для охранения его прав и свободы» [18].

С того же отправного тезиса начинает свое обвинение народ в оде «Вольность» (взято автором в кавычки!)

«Тебя облек я во порфиру
«Равенство в обществе блюсти,
«Вдовицу призирать и сиру,
«От бед невинность чтоб спасти...» (I, 5—6).

Но король, продолжал обвинительный акт, забыл свои обязанности перед народом: «Возымев злой умысел учредить и сохранить для себя неограниченную и тираническую Власть, дабы править, руководствуясь своей Волей, и уничтожить Права и Свободы народа», он «предательски и преднамеренно развязал войну против настоящего Парламента и представленного в нем Народа, причинив ему неисчислимые бедствия, пролив невинную кровь свободных граждан Нации, разрушив многие семьи, разорив казну, разграбив многие части страны, некоторые из них вплоть до полного опустошения».

Тот же тезис повторяет в обобщенной форме, отвлекаясь от конкретных эпизодов войны английского парла-

[17] Radishchev A. N. A Journey..., p. 8.

[18] Обвинение и приговор цитируются по кн.: «The Trial of Charles I. A contemporary account taken from the memoirs of Sir Thomas Herbert and John Rushworth», ed. R. Lockyer, London, 1959, p. 111—115.

мента с королем, и ода «Вольность»:

«Но ты, забыв мне клятву данну,
«Забыв, что я избрал тебя,
«Себе в утеху быть венчанну
«Возмнил, что ты господь, не я.
«Мечем мои расторг уставы...» (I, 6).

Последнее сопоставление. Вот приговор, вынесенный Карлу I, виновнику всех «предательств и преступлений», всех «убийств, грабежей, поджогов, расхищений. опустошений, ущерба и вреда, причиненного народу»: «Упомянутый Карл Стюарт — как Тиран, Предатель, Убийца и общественный Враг добрых людей этой нации подлежит смерти через отсечение Головы от Тела».

А вот выдержанный почти в тех же выражениях приговор народного обвинения из оды «Вольность»:

«Злодей, злодеев всех лютейший,
«Превзыде зло твою главу,
«Преступник, изо всех первейший,
«Предстань, на суд тебя зову!
«Злодействы все скопил в едино,
«Да ни едина прейдет мимо
«Тебя из казней, супостат.
«В меня дерзнул острить ты жало.
«Единой смерти за то мало,
«Умри! умри же ты сто крат!» (I, 7).

После этого детального воспроизведения событий революции и идет знаменитая строфа о Кромвеле:

Великий муж, коварства полный,
Ханжа, и льстец, и святотать,
Един ты в свет столь благотворный
Пример великий мог подать.
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы,
Ты Карла на суде казнил (I, 7—8).

Что же можно было сказать, комментируя эти строфы? Суд над английским королем, его казнь были величайшим революционным актом, оставившим глу-

бокий след на всей антифеодальной мысли XVII—XVIII вв. Король, облеченный, согласно представлениям феодальной идеологии, властью «от бога», король, который, как заявил Карл I в своих возражениях на решение Верховного трибунала, вообще «не мог быть неправ», впервые судился как простой преступник, изменник нации, виновник всех народных бедствий, и не просто судился, а был осужден на казнь за уничтожение вольностей народа, за создание тиранической власти, развязывание войны против парламента, представляющего народ! И хотя Талер подчеркивает отмеченный Радищевым момент законности осуждения («ты Карла на суде казнил»), пытаясь, очевидно, хотя бы здесь найти подтверждение радищевского «либерализма», однако и этот момент говорит не в его пользу — ведь речь идет в данном случае о законности революционного акта. Доказать, что английские либералы считали, как и Радищев, этот акт «благотворным» и «великим примером», не сможет даже такой знаток либерализма, как Талер. Коллега Талера, историк Вилльямсон свидетельствует, что «все судейское сословие Англии, даже те, кто отличался крайним антироялизмом, единодушно отказались иметь какое-либо дело с актом, который они заклеймили как юридический фарс»[19]. Более того, не только современники тех событий, но и нынешние либеральные историки Англии доказывают в один голос, что организованный для суда над королем трибунал «не имел законных оснований», что палата общин не имела для его учреждения «никаких законных прав» и т. п.[20]

Но развитие западных сюжетов в оде «Вольность» еще не исчерпано. Рассказав о «великом примере» английской революции, Радищев описывает воздействие «духа свободы» на другие страны:

Внезапу мощно потрясенье
Поверх земли уж зрится всей...
Так дух свободы, разоряя
Вознесшейся неволи гнет,
В градах и селах пролетая,

[19] H. R. Williamson. The Day They Killed the King. N. Y., 1957, p. 16—17.

[20] King Charles I. 1649—1949, by C. V. Wedgwood, Mary Coate, M. A. Thomson, David Piper. London, 1949, p. 9; The Trial of Charles I. Introduction by C. V. Wedgwood. London, 1959, p. 23.

К величию он всех зовет.
Живит, родит и созидает,
Препоны на пути не знает,
Вождаем мужеством в стезях;
Нетрепетно с ним разум мыслит.
И слово собственностью числит,
Невежества что развеет прах (I, 9).

Далее Радищев переходит к событиям, происшедшим в XVIII в. на американском континенте. Сам по себе этот факт не отрицается Талером. «В промежуток между 1781—1783 гг.,— сообщает историк,— он написал оду „Вольность“, после того как познакомился с „Американской революцией“ Рейналя, и эту оду включил в „Путешествие“»[21].

Однако попробуем установить по талеровскому «Введению», как освещал Рейналь события американской революции. Что привлекало его в этих событиях? Что узнал, читая его книгу, Радищев? Ведь американская революция прошла и стадию пассивного «мирного» сопротивления и стадию вооруженной борьбы. В этой революции боролись разные силы, среди противников короля одни стояли за решение спора между королем и народом «парламентскими» средствами, другие, как Патрик Генри или Томас Пейн, призывали решить спор на поле брани, «силой оружия».

Введение Талера сообщает о Рейнале самые подробные сведения. Мы узнаем, что писали о нем Гораций Уолпол (Walpole) и Эдмон Шерер, узнаем, что сам Рейналь в «Истории обеих Индий» писал «обо всем на свете», что его идеи оказали на Францию большее влияние, чем «Общественный договор» Руссо, что страстным желанием Рейналя было «освободить человечество», что именно эта сторона его книги глубоко поразила воображение Радищева. Однако содержание «Американской революции» Рейналя Талер так и не излагает. Это не случайно. Рейналь в последнем издании «Истории обеих Индий» (отдельные разделы которого и составили книгу «Американская революция») неустанно, последовательно, страница за страницей, славил народ, который «не замедлил взяться за оружие», поднялся на «всеобщее восстание (soulevement générale), славил

[21] Radishchev A. N. A Journey..., p. 8.

страну, граждане которой «стали солдатами», предпочли умереть в бою, «нежели жить рабами»[22].

«Наступила наконец-то эпоха великой революции, счастливые или печальные события которой навсегда определят сочувствие или восхищение потомков,— приводил Рейналь слова одной из прокламаций.— Вас называют бунтовщиками... Оправдайте это обвинение своим мужеством или заплатите за его утрату всей вашей кровью»[23].

Талер ни слова не говорит о том, что в книге Рейналя пропагандировались идеи революционного памфлета Томаса Пейна «Здравый смысл». «Мы долго говорили о примирении и мире, но все изменилось. Когда в ход пошло оружие и пролилась первая капля крови, время дискуссий миновало. Один день родил революцию. Один день перенес нас в новый век... Мы имеем право взяться за оружие. Нашими правами являются необходимость, справедливая защита, наши несчастья, несчастья наших детей, преступления, совершенные против нас. Наши права — отныне наш высший лозунг народа. Нас рассудит меч. Суд войны — это единственный суд, который будет нас судить... На кровавых полях Лексингтона записано наше право. Англия сама перечеркнула своей рукой связывающий нас договор. С того момента, как она произвела против нас первый выстрел, сама природа провозгласила нас свободными и независимыми... Ваши колонии воспитали людей простых и храбрых, людей трудолюбивых и гордых, людей, которые владеют землей и обрабатывают ее. Свобода является для них первой потребностью. Простой труд заранее приучил их к тяготам войны. Народный энтузиазм заставит расцвести неизвестные таланты. Именно в революциях проявляется величие души, рождаются герои и занимают свои места... Вспомним, что на нас смотрят теперь все грядущие поколения всего мира, ибо мы требуем свободы. Мы определяем их судьбу...»[24].

Революция в Америке была произведена простыми земледельцами, составившими костяк революционной армии, заставившими сложить оружие высоко дисциплинированных солдат английского короля. Эту сторону дела специ-

---

[22] См. «Révolution de l'Amérique par M. l'abbé Raynal», A Londres, Chez Lockyer Davis, 1781, p. 26—33, 43, 60, и др.

[23] См. «Révolution de l'Amérique par M. l'abbé Raynal», p. 27.

[24] Там же, стр. 79—91.

ально подчеркивала книга Рейналя [25]. И как раз этот урок американской революции имел в виду Радищев, когда писал в своей оде об энтузиазме землепашцев — «свободных мужей», поднимающихся на борьбу за свое стадо, свою ниву, свою семью и побеждающих армию наемников деспотизма:

Возри на беспредельно поле,
Где стерта зверства рать стоит:
Не скот тут согнан поневоле,
Не жребий мужество дарит,
Не груда правильно стремится,—
Вождем тут воин каждой зрится,
Кончины славной ищет он.
О воин непоколебимой,
Ты есть и был непобедимой,
Твой вождь — свобода, Вашингтон (I, 11).

Талер цитирует две последние строчки, но не приводит строфу полностью и не комментирует ее. А разве не стоило пояснить, что Вашингтон был для современников символом победоносной вооруженной борьбы за свободу, недаром конгресс на золотой медали в его честь выбил знаменательные слова: «Джорджу Вашингтону, возглавлявшему войско, защитнику свободы. Американское народное собрание». Талер приводит слова, сказанные Радищевым об Америке: «Пример твой мету обнажил», снова не разъясняя их смысл. Но ведь речь идет здесь не о реформах, дарованных королем Георгом III колонистам (таковых они не дождались), а о революции американского народа против королевского деспотизма.

Как можно убедиться, Талер в равной степени извращает наследие и революционного Запада и революционной России, традиции Рейналя и Радищева! А для сокрытия подлинного смысла этих научных «занятий» и служат у него обширные перечни тех второстепенных и третьестепенных сведений, с которых мы начали данный параграф.

5. Лэнг в поисках французских источников политической мысли Радищева

Д. М. Лэнг доказывал тот же «либерализм» Радищева несколько иным способом, чем его коллега Р. П. Талер: подчеркивая не «англофильство» писателя, а его, так сказать, «галломанию».

[25] См. «Révolution de l'Amérique pas M. l'abbé Raynal», p. 13—14.

Исходным пунктом построений Лэнга был тезис о «нереволюционности» французского Просвещения конца 70 — начала 80-х годов XVIII в., на основании чего определялась и «нереволюционность» Радищева. «Императрица Екатерина,— писал Лэнг в одной из статей,— сочла его „бунтовщиком хуже Пугачева“, в то время как советские литературоведы довольно неубедительно пытались представить его чем-то вроде незадачливого революционного подстрекателя (revolutionary firebrand). Оба эти взгляда преувеличены. Идеология философского радикализма XVIII в. имеет мало общего с обликом Пугачева или Марата. Для того чтобы понять идеи Радищева в их исторической перспективе, важно определить источники, из которых он их заимствовал, и ту форму, которую они приняли в его сочинениях» [26].

Политические антипатии Лэнга запечатлены в его характеристике французских учителей Радищева, Рейналя прежде всего. Сообщая, что первое издание «Истории обеих Индий» Рейналя (1770 г.) было «компиляцией» статистических данных и коммерческой информации о всех колониальных державах мира, «приправленной изрядной долей модного морализирования и антиклерикальных тирад, рассчитанных на читающую публику», и что Рейналь был разочарован вторым изданием (1774 г.), Лэнг продолжает: «В погоне за славой скандалиста он поручил Дидро коренным образом переработать весь труд, добавив туда большое количество чувствительных описаний, философских сентенций и выпадов против самодержавия, способных произвести сенсацию. Третье издание, напечатанное в Женеве в 1780 г., было осуждено парижским парламентом, а Рейналь вынужден был уехать в Германию. Как раз в 1780 или 1781 г.— в разгар всех этих событий — Радищев впервые прочел труд Рейналя... Скоро он увлекся сентиментальными речами Рейналя и его многочисленных соратников и возымел мысль написать в подражание их стилю собственное произведение, рисующее ужасы крепостничества...» [27]

---

[26] «Revue des Études Slaves», XXV. Paris, 1949, p. 73.

[27] Там же, стр. 76—77. Лэнг приводит в статье свидетельства активного участия Дидро в подготовке третьего издания «Истории обеих Индий». Подробнее вопрос о соавторстве Дидро и Рейналя освещен в книге: H. Wolpe. Raynal et sa machine de guerre. «L'Histoire des deux Indes» et ses perfectionnements. Stanford — California, 1957, p. 10—13, 186—252.

«Модное морализирование», погоня за «славой скандалиста», выпады, «способные произвести сенсацию»,— подобные оценки показывают, что Лэнг отнюдь не симпатизирует крайним увлечениям мыслителей XVII в., а стало быть, не пойдет по пути «преувеличений», якобы свойственных советским историкам. Но посмотрим внимательнее, к каким выводам приводит Лэнга конкретный анализ.

Цитируя Рейналя и Дидро, Лэнг пишет: «Они не останавливаются перед проповедью восстания и убийства тирана. Так, мы читаем у них: „Большинство наций в цепях. Массы принесены обычно в жертву страстям нескольких привилегированных угнетателей... Но свобода родится в недрах угнетения. Она во всех сердцах, она проникнет благодаря сочинениям публицистов в просвещенные души и благодаря тирании в душу народа. Все люди, наконец, почувствуют — и день пробуждения недалек,— что свобода — первый дар неба, как и первое семя добродетели. Орудия деспотизма обернутся против него самого...“ (III, 200; IV, 552)[28]. В этих зловещих строках будто слышится гул надвигающейся революции»[29].

Недоумение возрастает, когда мы встречаем следующее сопоставление: «И если Рейналь пророчествовал, что порабощенные негры однажды поднимут бунт и истребят своих господ, а „американские поля восторженно упьются кровью, которой они жаждут столько времени“ (III, 204), то и Радищев предвидит, что рано или поздно рабы разобьют бесчеловечные головы своих господ и обагрят их кровью нивы свои»[30]. Спросим у непредвзятого читателя, разве эти «кровавые» пророчества и предвидения не вызывают в памяти «облик Пугачева или Марата?»

Дальше в лес — больше дров. Сам же Лэнг сообщает, что и Рейналь и Радищев восторженно встретили американскую революцию и предвидели революцию в России: «...Радищев предсказывает, что Россия будет потрясена великой революцией и раздроблена на несколько автономных

---

28 Здесь и далее все высказывания Рейналя цитируются по изданию: G. Th. Raynal. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des europeéns dans les deux Indes, vol. I—IV. Genève, 1780. Римскими цифрами в тексте обозначены тома, арабскими — страницы.

29 «Revue des Études Slaves», XXV, p. 79. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

30 Там же, стр. 82.

федеративных государств; это событие возвестит царство свободы. Таков же и взгляд Рейналя на Россию»[31].

Что же остается после этих признаний г-на Лэнга от его собственного исходного тезиса о непричастности «философского радикализма XVIII в.» к идеям революции?

Самоопровержение, начатое, таким образом, еще в 1949 г., Лэнг блистательно завершил через 10 лет в своей монографии «Первый русский радикал». Здесь вновь недвусмысленно утверждается революционность и Рейналя и Радищева. Признав, что «История обеих Индий» призывала «к мятежу и убийству тиранов», Лэнг продолжает: «Не удивительно, что красноречивого экс-иезуита несколько лет спустя приветствовали как одного из пророков французской революции»[32]. Далее Лэнг приводит призыв Радищева к расправе над помещиком-кровопийцей из главы «Вышний Волочек» («Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы...» и т. д.) и заключает: «Не удивительно, что, читая эти строки, Екатерина Великая сочла Радищева бунтовщиком хуже Пугачева!»[33] Достаточно было зазвучать на страницах книги Лэнга собственным радищевским словам, как исходные положения более ранней статьи разлетелись в прах. «Пророческий набатный зов революции» доносится до ушей Лэнга и при чтении главы «Медное», а ода «Вольность», на его взгляд, «предвосхищает идеологию французских революционеров 1789 г. и русских революционных демократов более поздних времен»![34]

Кажется, ясно: и Рейналь и Радищев были людьми, одобрявшими революционный образ действия. Но не будем спешить: монография сообщает о наличии в радищевском «Путешествии» и обращений к царствующей особе, навеянных, разумеется, все тем же Рейналем. Решив, что в «Спасской полести» «бедный Радищев вообразил себя в роли искреннего советника» государя, Лэнг добавляет: «Вне сомнения, Радищев был снова увлечен здесь примером Рейналя, который высокопарно извещал читателей „Истории обеих Индий“: „Я рассказал государям об их обязанностях и ваших правах. Я напомнил им о пагубных последствиях бесчеловечной власти, которая угнетает, или безвольной и слабой власти, которая терпит угнетение. Я нарисовал им

[31] Там же, стр. 79, 81—82.
[32] D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 107—108.
[33] Там же, стр. 166.
[34] Там же, стр. 172, 175—176.

картины ваших бедствий, и их сердце должно было дрогнуть. Я предостерег их, что, если они отведут прочь свои взоры, эти правдивые и ужасающие картины будут высечены на мраморе их могильных плит и навлекут проклятие на их прах, который потомки будут топтать ногами" (VI, 706)»[35].

Мы уже занимались главой «Спасская полесть» и не будем повторяться. Однако лэнговское сопоставление обнаруживает аспект проблемы, безусловно, заслуживающий внимания. То, что Радищев не был в 80-е годы «либералом» — несомненно. Но был ли либералом Рейналь? В чем сходство и различие разбираемых Лэнгом политических концепций? Ответив на это, мы увидим, как видоизменялась предреволюционная просветительская идеология Запада на русской почве, в каком направлении развивал идеи своих учителей Радищев.

5. Сравнение цитат или сравнение концепций?

Весь сравнительный анализ шел у Лэнга по линии сличения отдельных тирад третьего издания «Истории обеих Индий» и «Путешествия из Петербурга в Москву», причем исследователь нигде не делал попыток сопоставить концепции авторов этих книг.

Формально говоря, Рейналь и его друзья занимались довольно узким сюжетом — историей колонизации Азии и Америки европейцами. Но поскольку они считали своим долгом рассказать не только о колониальных завоеваниях, богатствах, быте покоренных народов, но и об истории, политическом устройстве тех стран, откуда экспедиции направлялись (Испания, Англия, Франция, Португалия), поскольку они подробнейшим образом описывали страны, лежащие рядом с колониями (Китай, Россия, Япония), поскольку, помимо всего прочего, они включили в книгу ряд теоретических глав,— то в результуте читатель получил еще одну энциклопедию, гигантскую сумму полуразрозненных географических, статистических, исторических фактов, обработанных в свете принципов просветительской мысли. Широта замысла определила и огромные размеры издания, выросшего до 19 книг[36].

---

[35] D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 143—144.

[36] «История обеих Индий» сравнительно мало изучена. Ценное исследование Г. Вольпе «Рейналь и его боевая машина. „История

Цель всех этих изысканий была одна: выявить степень соответствия порядков, вводимых европейцами в «Индиях» (как, впрочем, и существующих в европейских странах), принципам «разумного» общественного устройства, открытым философией XVIII в. Правда, отдельные признаки конкретно-исторического подхода к общественным явлениям заметны в книге Рейналя. Так, он связывает прогресс Европы не только с распространением «света разума», но и с ликвидацией феодальных институтов, ростом промышленности и особенно торговли, которую относит к главным движущим силам цивилизации. Но отдельные элементы историзма не мешали Рейналю в любом месте, безотносительно к уровню развития изучаемой страны, рассматривать ее порядки в свете абстрактных принципов «природы», «естественной справедливости» и т. п. Сочетание идеализма с первыми наметками исторического подхода является отличительной чертой многотомного труда.

Еще более любопытна — своим промежуточным, переходным характером — политическая концепция Рейналя. В третьем издании «Истории обеих Индий» еще сохраняются упования на венценосных преобразователей и законодателей. Об этом свидетельствуют почтительное наставление Людовику XVI, хвалебный гимн Фридриху II — «королю-философу», призывы к будущим испанским монархам «загладить преступление своих предшественников» и т. д. (I, 469—475, 591—596; II, 356 и др.) Но прошлое — а Рейналь проследил историю почти всех стран мира — дает ему мало обнадеживающих примеров добрых дел государей. Во всем мире (исключая, быть может, несколько «республик дикарей» — I, 64) видны угнетение и тирания. Повсюду народы обращены в собственность горстки угнетателей, причем это положение характерно и для тех европейских стран, где, казалось бы царствуют «разумные» и даже идеальные короли вроде Фридриха II. И этот король пока что прославился на поле брани, и Рейналь советует ему стать не только «королем-воином», но и «королем-гражданином» (I, 595).

Более существенно другое. Рейналь приходит к выводу о вреде тех реформ, которые совершали или будут совер-

---

обеих Индий" и ее переиздания» вышло совсем недавно. Сам Вольпе отмечает: «Можно удивляться тому безразличию, которое современная критика проявила до настоящего времени по отношению к „Истории обеих Индий"» (H. Wolpe. Указ. соч., стр. 7).

шать государи, сохраняющие неограниченную самодержавную власть. Объявляя «уроком для всех государей» речь английской королевы Елизаветы, которая провозглашала единственной заботой короны счастье народа, Рейналь замечает: «Судя по этой мудрой речи, можно было бы поверить, что справедливый, непреклонный, просвещенный деспот был бы лучшим из государей; но как можно упускать из виду то, что во время его правления, если оно будет длительным, люди забудут о своих правах, не имея случая настаивать на них... Рано или поздно деспот, либо слабый, либо жестокий, либо глупый, наследует всемогущей власти, которая не терпела никакого противодействия. Народы, которых она угнетает, считают, что их удел — быть угнетенными. Они утратили чувство свободы, которое поддерживается только упражнением. И, может быть, англичанам не хватило как раз трех Елизавет, чтобы стать последними из рабов» (I, 268—269).

Общий смысл этого рассуждения понятен: залогом прочности общественных преобразований не может быть добрая воля абсолютных монархов; только давление народа, его самодеятельность, его постоянное «упражнение» в борьбе за свободу могут гарантировать его права. А вот аналогичное рассуждение Рейналя на тему, существует ли в императорском Китае «ограниченная власть». «Как и кем она ограничена в Китае? — спрашивает он. — Если стена, которая ограждает народ, не ощетинилась пиками, мечами, штыками, направленным в грудь или священную голову императора, отца и деспота, мы опасаемся, может быть зря, но все же опасаемся, что эта стена является в Китае всего только огромной паутиной, на которой намалевали облик свободы и справедливости, но сквозь которую человек с хорошим зрением различает отвратительную голову деспота. Разве много тиранов свергнуто, брошено в тюрьмы, казнено? Разве виден на площади эшафот, постоянно орошаемый кровью государей? Почему всего этого нет?» (I, 120).

Часто возвращается Рейналь и к истории «страны великих политических событий» — Англии. Именно здесь свобода выдержала жестокую, но победоносную схватку с деспотизмом, «именно здесь один король, отправленный законным образом на эшафот, и другой, низложенный вместе со всем своим родом по приговору нации, дали великий урок земле» (III, 509; I, 17; IV, 407 и др.).

Та же логика исторических фактов заставила Рейналя

сделать еще один шаг: перейти от просвещения монархов к революционным призывам. Колонизация Азии и Америки — одна из самых зловещих в истории человечества страниц — предстала перед ним в таком отвратительном свете, европейцы, в том числе и англичане, «гордые своей свободой, но покушающиеся на свободу других» (IV, 402; III, 563), принесли столько крови, угнетения, всякого рода лжи и насилия «цивилизуемым» народам, что Рейналь проникся бескомпромиссной ненавистью к колонизаторам. «Европейские варвары! — восклицает он. Слава ваших походов не смогла обмануть меня. Успех их не скрыл от меня их несправедливости. Мысленно я часто поднимался на борт кораблей, увозивших вас в дальние страны. Но сойдя вместе с вами на берег и увидав ваши злодеяния, я покинул вас. Я поспешил встать в ряды ваших врагов, я поднял на вас оружие, я омыл свои руки в вашей крови. И ныне я торжественно клянусь: если я когда-либо перестану смотреть на вас, как на стаю алчных и свирепых стервятников, лишенных, подобно этим хищным птицам, морали и совести, пусть мое творение и память обо мне, если мне суждено ее оставить, будут преданы полному забвению и проклятию» (I, 139).

Прямые обращения к порабощенным народам, пропаганда вооруженной борьбы за свободу — эти нотки, едва различимые в первом издании «Истории обеих Индий», совершенно отчетливо зазвучали со страниц третьего издания. «Новым фактом огромной важности,— свидетельствует Вольпе,— стала в третьем издании американская революция, которую Рейналь воспевает с неистовым энтузиазмом»[37]. Именно это событие окончательно утверждает Рейналя в мысли о прогрессивном характере революции вообще. Отделяя распри, возникающие ради утверждения нового тирана, дележа награбленного и т. п., от гражданских войн, Рейналь именует последние «счастливыми волнениями», он говорит о «благе» подобных потрясений, утверждает, что за периодами «мимолетных бедствий», вызванных ими, наступают «эпохи наибольшего блаженства» (II, 155; III, 516 и др.). Открыто славит теперь Рейналь эпоху английской революции, во время которой «оружие стало единственным арбитром» в споре нации с королем (IV, 484).

И если в целом «Историю обеих Индий» еще нельзя признать последовательным революционно-демократиче-

[37] H. Wolpe. Указ. соч., стр. 115.

ским произведением, то маленькое извлечение из нее под названием «Американская революция» (1781 г.) можно смело поставить в один ряд с произведениями Марата или Пейна, тем более, что солидарность Рейналя с последним зафиксирована на страницах его труда (IV, 412—417).

Наличие революционно-демократических идей в «Истории обеих Индий» Рейналя превратило книгу, как метко заметил Вольпе, не только в орудие просвещения, но и в орудие войны, «боевую машину». Исследователь творчества Рейналя Фёжер полагал, что в конце XVIII в. появилось до 70 (!) оригинальных и поддельных изданий книги. Тот же Вольпе пишет, что «История обеих Индий» была известна в Новом Свете не меньше, чем в Европе. «Ее читали с жадностью в Северной Америке, где более 25 тыс. экземпляров будто бы было распространено среди колонистов с целью толкнуть их на бунт» [38]. Дошли идеи Рейналя в начале 80-х годов и до России. Здесь не было 25 тыс. читателей книги Рейналя. Но и в России нашлись люди — среди них Радищев, способные откликнуться на его призыв.

Отсюда еще вовсе не следует, что простое желание «подражать», увлечение «сентиментальными речами Рейналя» вызвала революционный протест Радищева против русской действительности. «...За примером жестокосердия,— писал автор „Путешествия",— не имеем нужды ходить в дальныя страны, ни чудес искать за тридевять земель; в нашем царстве они в очью совершаются» (I, 324). Суть дела в ином: книга Рейналя пропагандировала уроки победоносных западных революций XVII—XVIII вв., уроки эти помогли Радищеву увидеть будущее России. И когда Радищев, отвечая в оде «Вольность» на рейналевские дифирамбы по адресу Америки, писал:

Того ж, того ж и мы все жаждем;
Пример твой мету обнажил (I, 14),

— это была не просто случайная фраза. В ней нашел отражение огромной важности факт — использование идеологом отсталой страны революционного опыта стран более передовых [39].

---

[38] H. Wolpe. Указ. соч., стр. 8, 9.

[39] Можно найти между Рейналем и Радищевым немало точек соприкосновения в частных моментах. Созвучны их идеи бескорыстного служения истине, принципиальное осуждение любых форм угнетения человека человеком, будь то крепостничество, колониальное рабство, политический деспотизм; мысль о союзе

Но установив принципиальное тождество позиций Радищева и Рейналя, мы сразу же должны перейти к выявлению существенных расхождений между ними. Русский мыслитель не остановился на идеях своих учителей.

6. Филиация идей или развитие идей?

Отказ от анализа принципиальных пунктов общности, сравнение цитат, а не концепций — не единственные черты «сравнительного метода» Лэнга. Не менее характерно для него о т с у т с т в и е и с т о р и з м а. Английский историк, видимо, не подозревает о том, что европейская просветительская идеология претерпела, как раз в период 70—80-х годов, существенную э в о л ю ц и ю в своем содержании. Лучшее подтверждение тому — история переизданий книги Рейналя.

Мы уже знаем, какой глубокий след оставили на взглядах Рейналя события американской революции, в самый разгар которой он вместе с Дидро и другими сотрудниками приступил к последней, радикальной переработке своего труда. Подавляющего большинства революционных идей либо вообще нет в изданиях 1770 и 1774 гг., либо они присутствуют там в зародышевой форме. Так, заключение первого издания глухо предупреждало английских колонизаторов о неминуемой революции, в третьем издании урокам совершившейся революции отводятся десятки страниц. В первом издании любые вооруженные раздоры именовались гражданскими войнами (guerres civiles), теперь этот термин четко противопоставлен термину «расприи» (dissentions). Осторожные намеки первого издания о «поучительности» событий английской революции дополняются прямыми напоминаниями об эшафотах, воздвигнутых для тиранов-королей. Приведенная выше речь королевы Елизаветы служила прежде лишь «уроком для всех государей». Комментарий к этой речи в третьем издании превратил ее в поучение народам. В первом издании патриархально-монархический Китай выглядел государством, едва ли не самым совершенным на земле. В третьем издании к этому разделу, полу-

суеверия политического и священного; отдельные деистические высказывания; безусловная защита свободы слова и мысли и т. д. Несомненно и то, что Радищев воспринял хотя бы часть этих идей (общих для многих радикальных мыслителей XVIII в.) непосредственно у Рейналя.

чившему заглавие «Состояние Китая согласно его панегиристам», был прибавлен раздел «Состояние Китая согласно его хулителям», в котором детальнейшим образом опровергались все утверждения панегирика. В первом издании Рейналь. бичуя работорговлю, обращал к королям призывы «ниспровергнуть здание рабства», в третьем, почти разуверившись в пользе подобных обращений, он заявляет, что восставшие рабы сами разобьют свои цепи. И хотя в последнем, третьем издании сохраняются прежние, а порой вводятся и новые почтительные обращения к монархам, однако не они задают тон. Идея революции становится лейтмотивом произведения [40].

Целый ряд новых моментов просветительская идеология приобрела и в трудах Радищева. Начнем с явного стремления к переводу абстрактных просветительских формул, столь характерных для Рейналя, на более конкретный политический язык.

Обратимся к сопоставлению Д. М. Лэнга, сделанному в статье 1949 г. и повторенному в его книге. «Следуя обычной в XVIII в. манере,— пишет Лэнг,— Рейналь, частично под влиянием Дидро, особое внимание придавал роли религиозных предрассудков в установлении политической тирании. „Религия,— читаем мы,— была повсюду изобретением ловких политиков, которые, не найдя у себя средств управлять себе подобными по собственной прихоти, нашли на небесах отсутствовавшую у них силу и с ее помощью нагнали страх на землю“ (I, 39)». Приводя еще одно аналогичное высказывание Рейналя, Лэнг заключает: «Легко обнаружить сходство между этими высказываниями и начальными строфами радищевской оды „Вольность“...:

Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут...» [41].

Не будем спорить — определенное сходство идей Рейналя и Радищева налицо. Но Лэнг не улавливает того нового оттенка, который приобрел тезис энциклопедистов в книге

---

[40] Об эволюции взглядов Рейналя см. ценный материал в указанной книге Вольпе. У Вольпе нет, однако, попыток включить историю «переработок» книги Рейналя в рамки общей эволюции просветительской мысли XVIII в., бегло очерчены революционно-демократические идеи последнего издания.

[41] D. M. L a n g. The First Russian Radical..., p. 107.

Радищева. Целя в русскую действительность, он говорит не о «политиках» вообще, а о «царской власти».

Еще пример. Тот же Лэнг мимоходом отмечает, что Радищев воспроизвел в своем «Слове о Ломоносове» надпись под бюстом одного из героев американской революции — Франклина: «Се изторгнувший гром с небеси, и скиптр из руки царей». В примечании Лэнг приводит оригинал этой надписи: «Eripuit caelo fulmen, mox sceptra tyrannis», замечая: «Радищев превращает при переводе „тиранов" в „царей", т. е. монархов вообще» [42].

Этим, собственно говоря, исчерпывается «анализ». Но ведь дело выходит далеко за рамки чисто лингвистических тонкостей. Постоянное превращение Радищевым тиранoборческих тирад в антимонархические важно отметить при сличении текстов Рейналя и Радищева, особенно если учесть одну особенность рейналевской «Истории обеих Индий», верно подмеченную Вольпе. «Оценивая поджигательские места, которыми изобилует третье издание,— писал он,— надо учитывать, что нападки их абстрактны. Когда же „История обеих Индий" предлагает конкретные реформы или когда она обращается к современным монархам, Рейналь выражается умеренно и почтительно» [43].

Именно в подходе к монархии и абсолютизму хорошо видны и общность и различие сравниваемых политических концепций. В третьем издании Рейналь переходит от отдельных нападок на абсолютизм к детальному обоснованию его пагубности. «Опыт всех веков» доказал ему, что абсолютная власть сковывает ум людей, лишает их мужества, погружает нацию во «всеобщую спячку». В тот момент, когда среди нации начинает возвышаться «великий призрак», подданные разделяются на «два класса»: запуганное и лишенное всяких прав большинство и слой «второразрядных тиранов», которые хозяйничают в стране, прикрываясь именем деспота, «топчут подданных с той же самой беззаботностью, с какой мы давим насекомых, кишащих в пыли наших деревень». Тирания, «содержа в своей свите шпионаж и доносы», изолирует граждан, делает недоверие и страх «основой всеобщего поведения»; здесь «думают мало, говорят еще меньше, боятся доказывать свой взлгяд», здесь «ужасаются своих же собственных идей», «философ прячет свою мысль, как богач свое состояние» (III, 514). Усили-

---

[42] Там же, стр. 183.

[43] H. Wolpe. Указ. соч., стр. 115.

ваются и выпады Рейналя против теократического правления, при котором «повеления деспота превращаются в изречения оракула, а непослушание подданных считается бунтом против неба» (I. 321, 322).

Сравнивая разные формы правления, Рейналь считает прогрессивной замену монархий или деспотий демократиями, хотя и предвидит их непрочность, придерживаясь теории круговорота «бедствия и процветания, свободы и рабства, нравственности и разврата, просвещения и невежества, величия и слабости» (IV, 472—473). Но, укрепляясь в ненависти к абсолютизму, явно предпочитая республику монархии, Рейналь не доходит до последовательного антимонархизма, он считает «благом» для Англии, что там сохраняется ограниченная королевская власть, уравновешивающая посягательства других социальных сил (IV, 499).

Радищев же, полностью разделяя отношение Рейналя к «самодержавным правлениям» (I, 161), считая пагубными для человечества «все единоначальства» (I, 166), освобождается от остатков монархических иллюзий. Если Рейналь специально ищет в истории (пускай редкие!) примеры добрых дел государей, то для Радищева «нет и доскончания мира, примера может быть небудет», чтобы царь поступился властью ради «вольности» (I, 151); «Но царь когда бесстрастен был!» (I, 13).

Если Рейналь иногда именует государей «хранителями общего блага», «судьями народа», «арбитрами нации», если он призывает их не отделять «своих интересов от интересов народа» (I, 488, 591; III, 190, 238 и др.), то для Радищева царь — узурпатор народных прав, «злодей, злодеев всех лютейший», первый общественный преступник (I, 360).

Более того, именно деятельность «просвещенных» монархов, вроде Фридриха II или Иосифа II, которыми порой восторгался Рейналь, вызывает язвительные замечания Радищева: первого он по-прежнему считает самодержцем, «коего любезнейшая страсть была всесилие», а о просветительской деятельности второго замечает: «Он был Царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей если не в Царской?» (I, 348). Кстати, Екатерина II сразу же почувствовала радищевский антимонархизм: «Сочинитель не любит царей, и где может к ним убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкой смелостью» [44].

[44] Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 163.

В целом отношение Рейналя 80-х годов к монархической власти можно было бы определить как позицию растущего скептицизма. Он снимает в последнем издании оптимистические предположения, что добрый случай «может послать в монархических правлениях хорошего государя». «Если гению и добродетели, ниспосылаемым с неба,— заявляет он,— случится однажды попасть в жилище владыки, то сто тысяч раз они минуют его... В Европе... мы сочли бы великим счастьем видеть после десяти плохих наследников доброго короля хотя бы одного, похожего на него». Появляются в третьем издании и откровенные опасения, как бы обращения к государю не остались «гласом вопиющего в пустыне» (I, 120; III, 3, 203 и др.). Однако этот скепсис вовсе не отвергает необходимости обращения власть имущих на «истинный путь», он, скорее, подчеркивает трудность этой задачи.

Радищев же с начала 80-х годов не ограничивается скептицизмом. Он переходит, например в «Житии Ф. В. Ушакова», к борьбе с попытками «просветить» королей. В своей книге Д. М. Лэнг сообщил читателю кое-что об этих положениях: «Человеческому терпению есть предел, и это само по себе может стать спасением человечества. Дай бог, чтобы тираны этого мира остались погруженными в свое безумие и неведение, пока отчаяние человечества не обречет их на погибель»[45]. Лэнг обрывает на этом пересказ, опуская заключительную часть мысли Радищева: «Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем, и умрет в семени до рождения своего» (I, 167).

Нельзя не признать: купюра сделана предусмотрительно. При всем своем старании во всех трех изданиях рейналевской «Истории обеих Индий» Лэнг не смог бы обнаружить подобной мысли. Радищева клеймит как раз те попытки просветить власть имущих, которые энциклопедисты не оставляли даже в наиболее радикальных трудах.

Более последовательный антимонархизм Радищева сочетался — что еще более важно — с более последовательным революционным демократизмом.

Хотя Рейналь поднялся до признания прогрессивности революций и пропаганды вооруженной борьбы, на страницах третьего издания его книги проскальзывают и иные нотки. Порой его продолжают страшить «кровопролитие» и

[45] D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 124.

«анархия», следующие за освобождением от ярма (I, 146), иногда чувствуется, что он проводит некую грань между справедливыми восстаниями против королей-деспотов (soulevements) и несправедливыми бунтами против добрых королей (revoltes), хотя сам упоминает, что слово «бунт» придумано угнетателями, чтобы заставить людей забыть об их правах (IV, 393 и др.). «Бунт является страшным средством, но единственным, остающимся в распоряжении человечества в странах, угнетенных деспотизмом» (I, 381) — вот его позиция. Зачастую Рейналя одолевают раздумья, удастся ли поднять забитый, скованный узкими интересами народ на борьбу.

Считая, что свободы нет там, где нет собственности, Рейналь включил во второе издание «Истории обеих Индий» и сохранил в третьем издании резкие выпады против крестьянских выступлений эпохи Реформации. Говоря о «религиозной и благотворительной системе анабаптистов», он осуждал ее не только за фанатизм, но и за революционно-коммунистические идеалы. «Она казалась основанной на милосердии и мягкости, но произвела одни разбои и преступления. Химера равенства — одна из наиопаснейших в цивилизованном обществе. Проповедовать ее народу не значит напоминать ему о его правах, это значит толкать его на разбой и убийство, это значит спускать домашних животных с цепи и превращать их в диких животных. Надо просвещать и смягчать либо владык, либо законы» (IV, 268). Вольпе специально подчеркивает: «В 1770 г. Рейналь с беспристрастием, окрашенным симпатией, вскрывал причины бунта крестьян. Начиная со второго издания он предает их анафеме, как некогда Мартин Лютер»[46].

Но эта боязнь «кровопролития», страх перед народным «мщением» отброшены автором «Путешествия», мы не находим у него никакого отрицания «химеры равенства».

Радищев радикальнее Рейналя и в понимании просветительских задач. Уроки революций Рейналь понимает двояко: народы они научают бороться за свою свободу, деспотов — отучают от преступлений. «Страх иногда заменяет правосудие для преступника и совесть для убийцы,— писал Рейналь,— такова сила живого интереса, пробуждаемого в нас всеми освободительными войнами» (IV, 456). Вот характерная оценка нидерландской революции: «Позволив Голландии разбить давящий ее железный скипетр и вос-

[46] H. Wolpe. Указ. соч., стр. 80.

стать со дна морского, чтобы владычествовать над морями, небо, несомненно, воздвигло этот памятник свободы, дабы показать народам путь счастья и дабы испугать королей, держащих их вдали от этого пути» (III, 276). Соответственно заключительные страницы «Истории обеих Индий» были обращены равным образом и к народам, которым Рейналь открыл «самые насущные их интересы», и к монархам, в руках которых остается, по его мнению, народная судьба (IV, 705—706).

Этой двойственности в понимании целей вольного слова мы не видим в «Путешествии»: «Трепещи, се мститель грядет, прорицая вольность»,— обращается Радищев к царю.

Возьмем одно из высказываний Рейналя, цитируемых Лэнгом: «Нет, нет, рано или поздно справедливость должна восторжествовать. Если бы этого не случилось, я бы обратился к черни. Я сказал бы: „Народы, чей рев столько раз бросал в дрожь ваших господ, чего вы еще ждете? До какой поры будете беречь вы свои факелы и камни ваших мостовых? Хватайте их“» (I, 398). «Трудно найти в книге Радищева,— заключает Лэнг,— что-либо превосходящее силу этих тирад».

Но легко заметить, что тирады Рейналя даны в условном наклонении, в то время как это наклонение отсутствует в соответствующих революционных призывах «Путешествия».

Последнее сопоставление из монографии Лэнга. Указав что в главе «Городня» содержится «одна из самых сильных во всей русской литературе XVIII в. тирад», Лэнг безошибочно распознает в «сверхъестественном пророческом звучании» радищевских слов «эхо знаменитого призыва к освободителю порабощенных негров» из «Истории обеих Индий» Рейналя [47].

Сравним и мы оба текста:

Радищев	Рейналь
«Вольные люди, ничего непреступившие в оковах, продаются как скоты! О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге. Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того, посмеяние священнаго имени вольности. О! если бы рабы, тяжкими	«Где же он, этот великий человек, которого природа задолжала своим обиженным, угнетенным, измученным детям? Где он? Он появится, не сомневайтесь, он покажется, поднимет священное знамя свободы. Этот почетный стяг соберет вокруг него собратьев по не-

[47] D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 178—179.

узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим главы наши, главы безчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их, изторгнулися великие мужи, для заступления избитаго племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны.—Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие» (I, 368—369).

счастью. Более стремительные, чем горные потоки, они повсюду оставят неизгладимые следы своего справедливого гнева. Испанцы, португальцы, англичане, французы, голландцы, все их тираны станут добычей железа и огня. Поля Америки восторженно упьются кровью, которой они жаждали столько времени, а кости несчастных, скопившиеся за три столетия, содрогнутся от радости. Старый Свет будет рукоплескать вместе с Новым» (III, 204).

Сходство революционных идей Рейналя и Радищева действительно налицо, и можно только гордиться этим сходством. Но и взглянув хотя бы на два абзаца, предшествующие рейналевскому призыву, Лэнг нашел бы то, чего нет у Радищева. Рейналь рассуждает, каким образом «ниспровергнуть здание рабства». И вот его вывод: «Короли земного шара, только вы можете осуществить эту революцию... Объедините хоть раз ради счастья мира ваши силы и ваши замыслы, столь часто объединенные на его погибель» (III, 203—204).

А страницей выше тот же Рейналь обращался к рабовладельцам с детальными планами освобождения рабов. Заявив, что нельзя разбивать сразу оковы несчастных, рожденных в рабстве, он предлагал начать освобождение с их детей, оставив их, впрочем, до 20-летнего возраста работать в мастерской своего господина, дабы они могли возместить расходы, связанные с их воспитанием. Следующие пять лет они должны быть у господина в услужении, но уже за плату, установленную законом. Лишь после этого они будут свободны (III, 202).

Правда, Рейналь, как мы уже подчеркивали, знает, что почти «бесполезно» обращать «глас человечности к народам и их господам». Негры, восклицает он, могут и сами разбить «проклятое ярмо», им не хватает только смелого предводителя, который поднимет их «на месть и резню» (I, 204). Но из этих рассуждений, увенчанных «призывом к освободителю порабощенных негров», ясно одно: Рейналь не безусловно принимает революцию рабов — он грозит ею на тот случай, если «народы Европы», а прежде всего короли не прислушаются к голосу разума.

Напротив, у Радищева перед одной «из самых сильных тирад» главы «Городня» звучали совсем другие мотивы. Глава «Тверь» призывала отправить царей-тиранов на плаху, глава «Медное» отвергала всякую возможность «вразумления» собственников. Последняя мысль выражена в форме прямой полемики одного из персонажей «Путешествия» с неким «иностранцем», который раньше проклинал «обычай, варварской в продаже черных невольников», а затем приехал в екатерининскую Россию в полной уверенности, что ничего подобного не существует в стране, где «мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет» (I, 351). Можно спросить, имел ли Радищев в виду под иностранцем Рейналя (а может быть, и его соавтора — Дидро, действительно приезжавшего в Россию), были ли радищевские мысли прямым ответом на приведенную мысль Рейналя о постепенной (до 25-летнего возраста) подготовке раба к освобождению,— напомним, что в той же самой главе «Медное» Радищев рисует детину «лет в 25», лишившегося под опекой своего господина последних черт человеческого достоинства: «Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь, все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умееш. Ты склонишся и будеш раб духом, как и состоянием» (I, 350—351). Но бесспорно одно. Радищева отличает более ясное осознание непримиримости интересов народов и их владык, интересов рабов и помещиков. Мелькнувшую у Рейналя в минуту отчаяния мысль о бесполезности обращения «гласа» человечности к господам Радищев сделал лейтмотивом «Путешествия».

Между прочим, Рейналь и сам сознавал шаткость своих позиций: «Достоинство этого слабого произведения лишь в том, что оно породит лучшие, само же оно будет, без сомнения, забыто,— писал он, заключая свой труд.— Но я по крайней мере мог бы сказать, что способствовал, сколько мог, счастью себе подобных и, может быть, издали подготовил улучшение их судьбы. Это слабое утешение заменит мне славу» (IV, 707). Ту уверенность, которой не было в голосе автора «Истории обеих Индий», обрел голос автора «Путешествия»: «.. Я ощутил в себе довольно сил, что бы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных» (I, 227).

7. Будущее России в книгах Рейналя и Радищева

При сравнении взглядов Рейналя и Радищева, безусловно, могли быть упущены многие важные моменты. Выявить суть концепции Рейналя из огромного (в несколько тысяч страниц), к тому же крайне противоречивого труда — задача большой трудности. Не менее сложно сопоставить на нескольких страницах «Историю обеих Индий» и «Путешествие». Но подтвердить правильность основных наметок сопоставления позволит один конкретный и неоспоримый пример - просветительские планы будущего преобразования России.

В первом издании своей книги Рейналь, мимоходом коснувшись этой темы, принял сторону «здравых наблюдателей», выступавших против «преувеличенного мнения»[48] о преобразовательской деятельности Петра I. Он соглашается, что обширная страна по-прежнему не имеет законов, свободы, богатства, промышленности, что ее цивилизации мешают суровость климата, разобщенность отдельных частей и т. п. Однако будущее России рисовалось Рейналю в довольно ясной перспективе: ее правители должны пренебречь показной славой, переключить внимание с европейских на внутренние дела, превратить Петербург в простой торговый порт, перенести двор в глубь страны. «Именно отсюда мудрый государь сможет объединить разрозненные части империи... Он разобьет оковы рабов короны и, если это необходимо, побудит, заставит дворянство последовать этому примеру. Таким образом возникнет третье сословие, без которого ни один народ не имел ни искусства, ни науки, ни свободы» (изд. 1770 г., II, 204—205).

По-иному звучат «русские сюжеты» в третьем издании «История обеих Индий». Перед нами обширное исследование (и не одно, а целых два — в 4-й и 19-й книгах); в нем явственно чувствуется рука недавно вернувшегося из России Дидро[49]. В рассуждениях о трудностях цивилизации

---

[48] Созданию этого opinion exagérée способствовали труды Фонтенеля, Вольтера, Сен-Пьера и других теоретиков «просвещенного абсолютизма», видевших в Петре I прообраз мудрого законодателя, идеального государя, при котором «Россия внезапно родилась из небытия, разом догнав цивилизованные нации». См. A. Lortholary. Les «philosophes» du XVIII-e siècle et la Russie. Le mirage russe en France du XVIII-e siècle. Paris, 1951, p. 71.

[49] Многие изложенные здесь идеи встречаются в «Замечаниях» Д. Дидро на «Наказ», написанных им летом 1774 г., по возвра-

России выделяются крепостное рабство и политический деспотизм как наиболее губительные для прогресса страны. Более четкую характеристику получает Петр I. «Уважение, которое следует воздать памяти Петра I, не мешает утверждать, что он так и не увидел благоустроенного в целом государства... Он не поднялся до того, чтобы сочетать блаженство своего народа со своим личным величием. После его блистательных нововведений нация продолжала прозябать в бедности, рабстве и угнетении. Он не пожелал ни в чем поступиться своим деспотизмом, а может быть, еще более его усугубил, оставив своим наследникам ужасную и разрушительную идею, согласно которой подданные ничто, а государь — все» (I, 636).

Только Екатерина II, оказывается, поняла то, чего не понимали ни Петр ни его преемники: «свобода — первое право всех людей» (I, 637). Однако осуществление этой идеи натолкнулось сразу же на препятствия: «В тот момент, когда начали обнаруживаться ее (Екатерины.— *Авт.*) намерения, более ста тысяч крепостных подняли бунт против своих господ. Многие помещики были убиты в своих имениях. Это волнение, последствия которого могли потрясти государство, заставило понять, что надо приручить медведей, прежде чем разбивать их цепи, и что справедливые законы и просвещение должны предшествовать свободе» (I, 637).

Но и дальше, несмотря на все заботы императрицы об улучшении законов и воспитании своих подданных, дело не пошло на лад. Прежде всего провалился грандиозный показательный проект, который авторы приписывают императрице (выбрать самую плодородную в империи провинцию, соорудить там жилища, снабдить их всем необходимым для земледелия, призвать туда свободных людей из цивилизованных стран, дабы они явили пример для остальной России — I, 638—639). Сорок тысяч немцев (!), сообщают Рейналь и Дидро, прельщенных подобными выгодами и прибывших в Россию в 1764 и 1765 гг., попали в рабство и нищету, нашли здесь смерть. Столь же бесплодным, считают они, будет и приглашение ученых из западных стран (эти «экзотические растения погибнут здесь, как гибнут чужеземные растения в наших оранжереях») или создание

щении из России. См. Дени Дидро. Собр. соч., т. IX. «Rossica». М., 1947, стр. 419, 424, 426, 427, 510—511.

школ в Петербурге и посылка за границу учеников — молодому поколению «придется забросить свои таланты, дабы приспособиться к худшим условиям, в которых они должны жить» (I, 638—640). И хотя авторы третьего издания тут же повторяют знакомые нам рекомендации «мудрому государю» (перенести двор внутрь страны, упразднить все виды рабства, создать третье сословие — I, 640), однако прежней уверенности в их осуществимости уже нет.

Предпосылкой цивилизации России, заключают Рейналь и Дидро, может быть только изменение «формы правления». Теперь уже к России они применяют высказанную ранее мысль: великим несчастьем для страны был бы «справедливый, непреклонный, просвещенный деспот»; еще хуже два или три подобных «благодетеля» подряд (IV, 481—482). Действуя вопреки всеобщей воле, насилием, а не убеждением, узурпируя, пускай даже ради общего блага, права людей, «абсолютные господа» разучили бы их мыслить и действовать, погрузили бы нацию в дремоту. Животных «принуждают перейти с плохого пастбища на более тучное, но не было бы тиранией применять подобное насилие к человеческому обществу?.. Народы, не разрешайте вашим так называемым владыкам делать против вашей общей воли даже добро...» (IV, 481—482).

Уроки пребывания Дидро в России также не пропали даром — авторы «Истории обеих Индий» осознали показной характер «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. «Нет сомнения,— заявляют они,— Екатерина очень хорошо чувствовала, что свобода является единственным источником народного блага. Но разве она действительно отреклась от деспотической власти? Читая внимательно ее Наказ депутатам империи, призванным, по-видимому, улучшить законы, разве можно распознать там что-то большее, нежели стремление изменить наименования, зваться монархиней вместо самодержицы, называть простых людей подданными, а не рабами? Сколь бы слепыми ни были русские, разве будут они вечно принимать имя за вещь и разве этой комедией можно возвысить их характер до той энергии, которую намеревались таким образом пробудить?» (IV, 485).

Но почему же Рейналь и Дидро отказываются учесть в «русских» разделах своей книги тот исторический урок, который учел Радищев? Почему, приветствуя всеобщее народное восстание в Америке, они категорически отвергают подобный путь для России? Дело в том, что в Америке ре-

волюцию совершили колонисты, издавна воспитанные в обстановке «свободы и независимости» земледельцы, которые не только обрабатывали землю, но «были ее собственниками», представители уже сложившегося там «третьего сословия». В России же Рейналь и Дидро видели одни только «варварский» народ, погрязший в рабстве, а потому неспособный ни на освободительную борьбу, ни на созидание.

Страх перед спущенным с цепи «русским медведем» и заставляет их отвергнуть всякую мысль о возможности преобразования России снизу. «В империи, разделенной на два класса людей — господ и рабов, как сблизить столь противоположные интересы? Никогда тираны не согласятся добровольно упразднить рабство, для этого потребуется их разорить или уничтожить. Но, допустим, это препятствие преодолено, как поднять из рабского отупения к чувству и достоинству свободы народы, столь ей чуждые, что они становятся бессильными или жестокими, как только разбивают их цепи? Без сомнения, эти трудности натолкнут на идею создания третьего сословия, но каковы средства к тому? Пусть эти средства найдены, сколько понадобится столетий, чтобы получить заметный результат!» (IV, 483—484).

Все эти размышления, а лучше сказать, метания свидетельствуют о полной неуверенности Рейналя и Дидро в будущем России. Их пессимизм связан: а) с неверием в реформаторскую деятельность «просвещенного деспота»; б) с установленным фактом отсутствия «третьего сословия» в России; в) с неверием в созидательные силы закрепощенного крестьянства.

Уже в первом издании «Истории обеих Индий» промелькнула мысль о том, что легче цивилизовать народы, близкие к «естественному состоянию», чем людей, закабаленных (как в Польше или России) рабством (изд. 1770 г., I, 4). Третье издание утверждает эту идею. Показательна та двусмысленная тирада, которой завершается здесь рассмотрение перспектив преобразования России: «Таковы трудности, которые препятствуют, как нам представляется, цивилизации Российской империи. Если Екатерине II удастся их преодолеть, мы воздадим ее мужеству и гению самую блистательную похвалу, но, может быть, мы воздадим ей лучшую из похвал, если она потерпит крах в этом великом начинании» (IV, 487).

Во взглядах Радищева на историю России Лэнг не видит ничего, кроме «влияния рейналевских тирад»[50]. Но стоит поместить рядом с этими «тирадами» высказывания Радищева, как выявится не только принципиальное сходство, но и существенные различия их идей.

1. Русский писатель солидарен с авторами третьего издания «Истории обеих Индий» в оценке «реформаторской» деятельности русских царей. Все заслуги Петра I не заставили Радищева забыть главный порок его деятельности: он был самодержцем, укрепившим рабство в стране, истребившим «последния признаки дикой вольности своего отечества» (I, 150—151).

2. Разоблачению того же показного характера «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, который отметили Дидро и Рейналь, русский писатель посвящает свое главное произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву».

3. В «Путешествии» Радищева вместе с тем отсутствуют пессимизм и уклончивость, присущие «русским» разделам «Истории обеих Индий». Правда, и Радищев осознает всю трудность и длительность преобразования России: «О! горестная участь многих милионов! конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...» (I, 379). Но он верит в революционные потенции народа: «Бурлак... обагренной кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории Российской» (I, 230). Больше того, как раз вера в грядущую народную революцию (ср: «Не мечта сие..., я зрю сквозь целое столетие» — I, 369) позволяет русскому революционеру отбросить в «Путешествии» последние надежды на «просвещение» монархов, выдвинуть ясную программу. Народная революция в будущем, приступ к революционному просвещению в настоящем — таков предлагаемый радищевским «Путешествием» путь преобразования России.

Если Рейналь и Дидро по существу отрицали возможность преобразования России как «сверху», так и «снизу», то Радищев, отвергая еще более категорически, чем они первый путь, признавал и пропагандировал второй.

---

[50] См. D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 110.

8. Разбор «решающего» аргумента г-на Лэнга

Однако в запасе у Лэнга остается, казалось бы, решающий аргумент в пользу тождественности разбираемых концепций. Мы имеем в виду уже упомянутое нами прямое высказывание Рейналя (или Дидро) о предстоящей России «великой революции». Приведем это место в интерпретации английского историка. «Особо знаменательным является предсказание Радищева, сделанное в заключении оды „Вольность", о том, что Россия будет потрясена революционным катаклизмом и раздроблена на несколько автономных федеративных государств — событие, которое возвестит царство свободы. Таков же и рецепт Рейналя для Российской империи: „Не было бы при таком состоянии дел наибольшим счастьем для этой непомерно протяженной страны ее расчленение какой-либо великой революцией, ее раздел на несколько небольших смежных государств, причем порядок, установленный в одних из них, распространился бы на другие?" (IV, 484)» [51].

Прежде всего отметим, что высказывание Рейналя вырвано из 19-й книги, где нельзя обнаружить никаких надежд на возможность революционного преобразования России. В чем же здесь дело? Может быть, перед нами всего-навсего платоническое пожелание Рейналя, не подкрепленное никакими реальными прогнозами? Отчасти это так, но суть не в этом. Самый термин «революция», «великая революция» Рейналь применяет много раз, понимая под ним любое преобразование общества: смену его правителей, изменение законов, нравов и т. д. «Великой революцией» именуются и война за независимость в Америке и, например, изменение формы правления в 1723 г. в Швеции, когда граждане, как сообщает Рейналь, учредили республиканское правление, не отменяя монархии; «никакое потрясение не предшествовало этой великой революции, никакого беспорядка не последовало за ней» (I, 574). Вольпе, подчеркивая неопределенность термина «революция» Рейналя, приводит любопытный казус: в третьем издании «великой революцией» Рейналь стал именовать постройку мощного французского флота (III, 508) [52].

Поэтому чтобы установить, о какой «революции» говорит в данном случае Рейналь (или Дидро), нужно рассмот-

---

[51] D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 112.
[52] H. Wolpe. Указ. соч., стр. 114—115.

реть весь текст, а не ограничиваться одной фразой, как это сделал Лэнг. В разделе о России речь идет, несомненно, о ее политическом преобразовании, но нет никаких оснований утверждать, что под «великой революцией» — как у Радищева — понимается народное восстание против царского деспотизма.

9. Буржуазная компаративистика и научный сравнительный метод

Без сравнительного метода немыслимо изучение истории вообще, истории общественной мысли в особенности. Хотя те или иные теории, потребность в них порождается в каждой стране развитием внутренних классовых антагонизмов, однако влияние зарубежных идей может приобрести в определенные моменты большое значение. Осмысление опыта более развитых стран позволяет идеологам прогрессивных классов стран более отсталых наметить — пускай в самом общем, первом приближении — перспективы развития собственной страны, далеко не столь ясно различимые при учете одних только местных условий. Энгельс недаром отмечал, что теория, отражающая противоречие существующих общественных отношений характеру производительных сил, обнаруживает его не в данных национальных рамках, а «между данным национальным сознанием и практикой других наций, т. е. между национальным и всеобщим сознанием той или другой нации...» [53].

Возвращаясь к буржуазной компаративистике, можно подумать, что она как раз занимается сопоставлением идей разных стран. Но разбор изысканий Лэнга лишний раз подтверждает, сколь далеки подобные сопоставления от содержательного научного сравнения.

Эпитет «буржуазный» наши западные оппоненты могут воспринять как кличку, некий «жупел», который должен употреблять советский историк, говоря о западной немарксистской науке. По сути же дела этот термин означает лишь одно: предвзятость, необъективность концепций наших оппонентов, обусловленную ограниченностью их классового миросозерцания.

Так, применительно к истории русской общественной мысли одни «исследователи»-компаративисты (Д. М. Лэнг

---

[53] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, изд. 2-е, стр. 30.

или Р. П. Талер) будут доказывать, что концепция Радищева в основе своей была слепком с западной и притом только «либеральной» мысли; другие (Г. Роггер) будут изучать, как «западничество» XVIII в. переродилось на русской почве в «славянофильство» XIX в.; третьи (например, Г. Кон) будут делить всю русскую мысль на «западничество» и «славянофильство»; четвертые (вроде Н. А. Бердяева) будут выявлять полную противоположность русского мышления западному (это тоже компаративизм, так сказать, наизнанку) [54].

Но несмотря на внешнее многообразие этих концепций, их объединяет одна черта. Сами исходные тезисы здесь носят априорный, навязанный науке характер, а потому и «доказаны» они могут быть только сравнением отдельных надерганных цитат и фраз, путем абсолютизации, непомерного раздувания иногда действительных, а иногда и просто вымышленных элементов сходства или различия изучаемых идей. Но в любом случае компаративизм, как метод по сути своей идеалистический и метафизический, не может воссоздать реальное движение общественной мысли через границы веков и наций, он загоняет живой процесс развития в мертвые схемы, отрывает идеи от почвы, которая их породила, игнорирует те коренные изменения, которые происходят в общественном сознании под влиянием новых процессов классовой борьбы.

Разобранные нами работы Лэнга являются лучшим подтверждением сказанного выше. В них мы находим десятки, если не сотни, сопоставлений идей Радищева и западных мыслителей: Гельвеция, Мабли, Руссо, Монтескье, Вольнея, Стерна, а прежде всего Радищева и Рейналя. Но из этого конгломерата цитат нельзя получить объективного представления ни о концепции Радищева, ни о взглядах западных мыслителей, ни об эволюции антифеодальной мысли XVIII в. вообще, ни о тех изменениях, которые претерпела западная идеология, преломленная сквозь призму русских условий.

Между тем сопоставление концепций Рейналя и Радищева 80 — начала 90-х годов XVIII в. прекрасно выявляет как общие закономерности развития просветительской

---

[54] H. Rogger. National Consciousness in XVIII century Russia. Cambr., Mass., 1960; H. Kohn. The Mind of Modern Russia, New Brunswick. New Jersey, 1955; Н. А. Бердяев. Русская идея. Париж, 1946.

антифеодальной мысли (которая двигалась в это время от веры в «просвещенных монархов» к разочарованию в них, от доктрин конституционной монархии к республиканизму, от боязни народных восстаний к прямой пропаганде вооруженной борьбы), так и существенные особенности этого развития в разных странах.

Рейналь и Радищев не только стоят на разных ступеньках эволюции просветительской мысли XVIII в., но и представляют разные — по своей классовой основе — ее направления.

Рейналь — идеолог набирающего силу «третьего сословия», по существу именно с его позиций осмысливает он всю историю прошлых битв, трактуя ее, само собой разумеется, как историю борьбы всего человечества за «свободу». Он видит в этой истории немало славных страниц: нидерландскую, английскую, американскую революции, он уже прямо говорит о «благе» подобных «счастливых волнений», Но опыт борьбы народов показывает Рейналю не только великие победы, но и выгодные и разумные, с его точки зрения, компромиссы нового со старым, образцы сочетания «свободы» с королевской властью — недаром английское конституционное устройство представляется ему лучшим на земле. Тот же опыт открывает перед ним и еще одну истину: народ, поднявшийся на борьбу во имя «химеры равенства», может не ограничиться борьбой против политического деспотизма, но и покуситься на святая святых — право собственности. Именно поэтому, рассуждая о путях и средствах «цивилизации» государств, Рейналь не хочет связывать себе руки; он возлагает главные надежды на пробуждение в народе «духа беспокойства», его самодеятельность, его «упражнение» в свободе и в то же время видит всю трудность и опасность его пробуждения и подобных «упражнений», он почти не верит в благоразумие королей и в то же время продолжает «вразумлять» их. Не хочет принимать Рейналь безусловно и ни одного существующего на земле государственного строя: он знает, что монархии вырождаются в тирании и деспотии, демократии впадают в «анархию», аристократические правления сочетают недостатки тех и других; он считает благотворными для судеб государств и наций не только революции против королевской власти, но и сохранение «ограниченной» королевской власти в царстве «свободы». Он противоречив, «оппортунистичен» (так же как двойствен, оппортунистичен в своих

социальных и политических устремлениях представляемый им класс), хотя от издания к изданию линия революционного демократизма все четче и яснее выявляется на страницах «Истории обеих Индий» (что соответствует объективному ходу вещей — движению французского «третьего сословия» к революционному решению спора с абсолютизмом).

Радищев 80-х годов берет у своих западных учителей только революционно-демократические идеи и отбрасывает их либерально-просветительский реформизм. Он не только бесстрашен в разоблачении преступлений господствующих классов, но и до конца последователен в своих выводах. Он отбрасывает остатки веры в просвещение земных «владык», он шлет проклятия людям, занимающимся таким просвещением, полемике с ними он посвящает свое «Путешествие», он верит только в одно — в силу грядущей народной революции, пробужденной вольным словом. С одной стороны, он гораздо последовательнее Рейналя в развитии революционных идей, с другой — гораздо ограниченнее и у́же в предлагаемых вариантах, ибо гораздо у́же объем той исторической практики, которая служит обоснованию его идей. Такой характер переработки западных источников на русской почве определялся конкретной исторической ситуацией. Противоречия между крестьянством и феодалами достигли в эпоху Радищева такой остроты, что ни о каком классовом компромиссе здесь не могло быть и речи (это, кстати, отметили Рейналь и Дидро, сделав, правда, отсюда пессимистические выводы). Это и определило в 80-х годах XVIII в. бескомпромиссность позиции Радищева, перешедшего на сторону крестьян.

Анализ источников не подтверждает, таким образом, данные буржуазной компаративистики о западных источниках «либерализма» Радищева.

Анализ источников позволяет вместе с тем внести существенные коррективы в бытующую у нас упрощенную формулу, согласно которой «сочувственное отношение к революции, признание ее неизбежности для освобождения „угнетенного человечества“ резкой гранью отделяло Радищева от современных ему западных просветителей и радикальных буржуазных мыслителей XVIII века, которые не шли дальше „просвещенного абсолютизма“» [55]. Грань эта

[55] Н. Л. Степанов. Жизнь и творчество А. Н. Радищева. М., 1949, стр. 16.

оказалась не столь резкой, как полагали некоторые авторы. Пример Рейналя и Дидро подтвердил, что французское Просвещение в эпоху Американской войны за независимость, прозвучавшей «набатным колоколом для европейской буржуазии»[56], сделало громадный шаг вперед — к изживанию концепций «просвещенного абсолютизма», к революционному демократизму. Именно этот сдвиг отразили в России сначала ода «Вольность», затем «Путешествие».

Наконец, сравнивая революционные идеи Франции и России XVIII в., следует подчеркнуть еще одно немаловажное обстоятельство: само революционное выступление Радищева было для России явлением исключительным — классическая пора революционной демократии была здесь впереди. Франция в конце тех же 80-х годов приступила уже к практическому осуществлению революционных концепций, дав миру плеяду блестящих идеологов и вождей революции. Мы видим здесь еще накануне революции целую гамму оттенков буржуазно-демократической идеологии[57],— в дальнейшем ее ходе мы увидим последовательное развитие идей буржуазной политической демократии (Кондорсе, Демулен, Робеспьер) и демократии социальной (Варле, Жак Ру, Доливье и др.), образцы революционной стратегии и тактики (Марат), попытку выработки принципов революционного правительства (Робеспьер, Сен-Жюст), критику революционной диктатуры и революционного террора справа (Пейн, Демулен и др.) и слева (Леклерк, Жак Ру). Наконец, здесь же будет предпринята попытка осуществления нового социального порядка — заговор Бабефа во имя того самого равенства, «химера» которого когда-то так испугала авторов «Истории обеих Индий».

10. Г-н Лэнг в поисках советского «национализма»

«В последние годы в Советском Союзе и среди западных исследователей усилился интерес к жизни и идеям Радищева,— пишет Лэнг в книге «Первый русский радикал».— Его двухсотлетие было отпраздновано в 1949 г. в России, где печать объявила, что отныне он должен считаться предтечей ленинизма. Это вызвало наводнение брошюр и диссертаций, в которых Радищев, идеалист, защитник свободы,

[56] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 9.
[57] См. D. Mornet. Les origines intellectuelles de la Révolution française (1715—1787). Paris, 1933.

был превращен в материалиста, революционного конспиратора». Те же партийные установки, если верить Лэнгу, привели советских историков на позиции национализма, заставив их изображать Радищева «политическим мыслителем, превзошедшим Монтескье, Руссо и всех других западных писателей XVIII столетия. Те, кто рассматривал Радищева как выдающегося представителя европейской освободительной радикальной традиции, подвергались высокопарным, шовинистическим нападкам» [58].

Мы достаточно подробно говорили о принадлежности Радищева к революционной традиции европейского Просвещения XVIII в., остановимся на обвинениях в национализме, брошенных Лэнгом в адрес советской науки.

Вообще говоря, поскольку единый процесс развития мировой общественной мысли протекает в национальных формах, любой историк будет вынужден в определенных случаях констатировать, что мыслитель (или теоретическая мысль) такой-то страны стоит выше мыслителя (теоретической мысли) другой страны. Ничего антинаучного или «националистического» в таких оценках нет — никто не станет оспаривать, что идеологи передовых восходящих классов в одних странах становятся выше своих предшественников из других стран, уже прошедших данный этап развития [59]. Ясно, к примеру, что французское Просвещение кануна революции 1789 г. было богаче по своему содержанию английской антифеодальной идеологии кануна революции 1648 г., и т. д. Можно указать, что в той же монографии Лэнга содержится признание, что Радищев «развивает дальше» идеи «общественного договора» Руссо. «Независимый подход Радищева к таким классикам XVIII столетия, как Монтескье и Руссо» был виден Лэнгу и при чтении недавно обнаруженных бумаг Радищева, где «критиковалась (это пишет Лэнг! — *Авт.*) доктрина разделения властей в идеальном государстве Монтескье, а также идея Руссо о том, что демократический строй возможен только

---

[58] D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 15, 276.

[59] Не надо только забывать некоторые существенные обстоятельства. Мыслитель (или направление) поднимается выше своих предшественников потому, что опирается на них, стоит на их плечах, развивает дальше их идеи. Надо помнить и о крайней узости, условности сравнений «выше», «ниже», особенно когда речь идет о сравнении близких по времени и духу мыслителей или разных по содержанию идей.

в малых государствах»[60]. Так почему же подобные оценки в устах советских авторов следует считать проявлением национализма?

Далее. Коль скоро Лэнг выводит этот «национализм» из партийных установок, то почему он обходит принципиальные высказывания В. И. Ленина, например, из его статьи «О национальной гордости великороссов», тем более, что она касается непосредственно Радищева? «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям,— писал здесь Ленин,— чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы *ее* трудящиеся массы (т. е. 9/10 *ее* населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты, Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика»[61].

Итак, Ленин действительно считал имя Радищева символом национальной гордости России. Но что говорил здесь же Ленин об отношении российской национальной традиции к западной? Вот его слова: «Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация *тоже* создала революционный класс, *тоже* доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами»[62]. Выделенное Лениным маленькое словечко «тоже» несет громадный смысл. Ленин не только не противопоставлял русских деятелей западным, напротив, он гордился тем, что русские борцы за свободу пошли вслед за своими западными собратьями.

Иначе не могло и быть, ибо лозунгом Ленина и партии большевиков была и остается «интернациональная

[60] D. M. Lang. The First Russian Radical..., p. 75.
[61] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 107.
[62] Там же, стр. 107—108.

культура демократизма и всемирного рабочего движения»[63]. «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре,— пояснял Ленин.— Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть *такие* же *две* культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.» И призывая большевиков к борьбе с первого рода «культурой», Ленин учил их отличать, ценить, пропагандировать вторую, подлинную культуру, брать в пролетарскую интернациональную культуру «из *каждой* национальной культуры *исключительно* ее последовательно демократические и социалистические элементы»[64]. Что общего имеют эти предельно ясные положения с национализмом?

Правда, в руках у Лэнга как будто остается «козырь»— высказывания некоторых советских историков 40—50-х годов, противопоставлявших русскую и западную мысль. Цитируем докторскую диссертацию: «Характерно, что при решении социологических вопросов русские просветители подвергли резкой критике многие положения западноевропейских социологов Вико, Макиавелли, Гуго Гроция, Гоббса, Пуфендорфа, Локка, Руссо, Гельвеция и др. и в противовес им выдвинули свои принципы»[65].

Но, во-первых, всякий, кто сравнит подобные «обобщения» с ленинскими установками, увидит, что они являются результатом забвения ленинских указаний о существовании двух культур в каждой нации. Во-вторых, подобные высказывания критиковались нашей печатью. «Было две России и два Запада,— говорилось по поводу приведенной выше „формулы".— Россия Радищева, декабристов, революционных демократов противостояла России Антонских, Руничей, Магницких, Уваровых и Шевыревых, а не Гельвецию и Руссо»[66]. Искажение фактов в указанной диссертации

[63] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 118. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[64] Там же, стр. 129; т. 23, стр. 318.

[65] И. Я. Щипанов. Общественно-политические и философские воззрения русских просветителей второй половины XVIII века. Автореф. докт. дисс. М., 1953, стр. 20. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[66] См. Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак, Л. А. Филиппов. Какой России принадлежал А. А. Антонский? — «Вопросы истории», 1956, № 9, стр. 125.

при исследовании как русской, так и западной мысли XVIII в. отмечал журнал «Партийная жизнь» в передовой «О принципиальности в научной работе». Та же передовая выступала против искажений связей русского и западного Просвещения не только в диссертации И. Я. Щипанова, но и в других работах. «Известна, например, ленинская характеристика просветительства,— указывалось в ней.— В работе „От какого наследства мы отказываемся?“ В. И. Ленин пишет: „Как и просветители западно-европейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлен горячей враждой к крепостному праву...“ (Соч., т. 2, стр. 472). Но в „Очерках истории исторической науки в СССР“, изданных в 1955 году, из этого ясного положения делается такой вывод: „В этой характеристике даны основные черты, существенно отличающие русских просветителей от просветителей западноевропейских“ (стр. 228)» [67]. Выступал против нарушений ленинских принципов журнал «Вопросы философии», передовая статья которого критиковала за «нигилистическое отношение к достижениям зарубежной культуры и науки» книгу В. С. Кружкова «Мировоззрение Н. А. Добролюбова» [68].

Советская партийная печать указывала и на причины подобных ошибок. «Одно из проявлений беспринципности в науке,— писала „Партийная жизнь“,— это готовность (обычно в карьеристских целях) в угоду ложно понятым требованиям времени стать на путь того, что нельзя назвать иначе, чем конъюнктурщина. В. И. Ленин говорил: „Самое верное средство дискредитировать новую политическую (и не только политическую) идею и повредить ей состоит в том, чтобы, во имя защиты ее, довести ее до абсурда“ (Соч., т. 31, стр. 44). Тем и опасны приспособленцы в науке, что они, желая представить себя как самых передовых мыслителей, быстро откликающихся на злобу дня, готовы поступиться любой истиной» [69]. Передовая «Партийной жизни» специально подчеркивала, что нигилистическое отрицание всей западной культуры и науки, любые его проявления ничего общего не имеют с марксистским пониманием патриотизма.

Поскольку ошибочные положения имелись в советской литературе, Лэнг был вправе упомянуть о них в своих тру-

---

[67] «Партийная жизнь», 1956, № 9, стр. 31—32.
[68] «Вопросы философии», 1955, № 3, стр. 9.
[69] «Партийная жизнь», 1956, № 9, стр. 32.

дах. Но если бы английский историк обладал хотя бы граном объективности, он должен был бы признать, что эти положения — результат не следования ленинской методологии, а отхода от нее, что это не «господствующая» в советской науке точка зрения, а отвергаемые ею ошибки. Марксизм-ленинизм дает советским историкам единственную установку: ценить в равной степени и русскую и западную демократические традиции, выявлять интернациональные связи прогрессивных мыслителей в соответствии с реальными историческими фактами.

Но если наши ошибки никоим образом не вытекают из методологии марксизма-ленинизма, то их существование нередко объясняется недостаточным знанием зарубежного конкретно-исторического материала.

Для буржуазной исторической науки последнего столетия — и дореволюционной русской и зарубежной — характерны тенденция к забвению, умалению революционно-демократических традиций, стремление всячески приглушить радикализм идеологов буржуазных революций XVIII—XIX вв.

Надо сказать, что советские историки за последние десятилетия сделали немало для опровержения легенд русской дореволюционной либеральной науки, восстановления подлинного облика первого русского революционера.

Отметим другой немаловажный момент. Уже В. П. Семенников, автор первой советской работы о Радищеве, выясняя его отношение к событиям американской и французской революций, услышал созвучие между строфами радищевской революционной оды «Вольность» и книгой Рейналя «Американская революция». Таким образом, еще в 20-е годы советская историография указала на родство революционных идей французского и русского Просвещения. Впоследствии попытки выявить определенную общность позиций Радищева и его западных учителей предпринимали Г. А. Гуковский, А. И. Старцев и другие советские литературоведы[70]. Но большинство исследователей творчества Радищева, утверждая с фактами в руках революционность Радищева, продолжали игнорировать наличие аналогичных

[70] См. В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования, стр. 5—8; Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы..., стр. 172—174; А. И. Старцев. О западных связях А. Н. Радищева.— «Интернациональная литература», 1940, № 7—8, и др.

идей во французском Просвещении конца 70 — начала 80-х годов XVIII в. Они довольствовались старыми, взятыми из той же буржуазной литературы представлениями о «непричастности» французских мыслителей к идеям народной революции, продолжали по-прежнему считать Рейналя типичным представителем идеологии «просвещенного абсолютизма», который писал свою книгу с единственной целью «наставить и просветить королей, напомнить монархам об их обязанностях» [71].

Эта формула утвердилась довольно прочно в нашей науке, хотя ей противоречат исторические факты и хотя даже в буржуазной историографии появляются любопытные свидетельства коренных сдвигов в идеологии французского Просвещения конца 70 — начала 80-х годов. Признание этих фактов мы выявили и у Лэнга.

Глубокое изучение наследия мировой революционной мысли является насущной потребностью советской науки. И если буржуазная реакционная историография в силу классовой ограниченности неспособна оценить по достоинству и русскую и западную революционную мысль, то сделать это должна марксистская историческая наука. Это и будет — по существу, а не на словах — исправлением допущенных ошибок, выполнением завета Ленина об использовании всех богатств прогрессивного наследия прошлого для строительства интернациональной культуры демократизма и социализма.

Нет оснований считать, что Радищев поднялся выше всех мыслителей XVIII в., что он «был самым прогрессивным, наиболее последовательным революционным мыслителем из всех политических мыслителей своего времени» [72], а тем более заявлять (забывая о Мелье, Пейне, Марате, Леклерке, Ру, Варле, Сен-Жюсте, Робеспьере, Бабефе, Демулене и т. д.), что Радищев был «единственным» революционером той эпохи. Но нет никаких оснований исключать его из плеяды действительно великих и самых последовательных революционеров той эпохи, понявших, наконец, простую истину: народы станут свободными не по милости королей, а когда у них появится «мужество быть свободными».

---

[71] С. А. Покровский. Государственно-правовые взгляды Радищева, стр. 118.

[72] В. С. Покровский. Общественно-политические и правовые взгляды А. Н. Радищева. Киев, 1952, стр. 149. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

ГЛАВА ПЯТАЯ

РАДИЩЕВ И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1789—1790 гг.)

«Никогда человеческая грудь не была полнее надеждами, как в великую весну девяностых годов... Святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями».

А. И. Герцен

1. Чему научил Радищева «пример Лудвига XVI»?

Революционная концепция Радищева сложилась до французской революции. «Вольность» — поэтическое выражение веры писателя — создана в начале 80-х годов; «Путешествие из Петербурга в Москву» — развернутое прозаическое обоснование идей «Вольности» — закончено в первом варианте к концу 1788 г. Революционные события во Франции имели для Радищева огромное значение: началось претворение теории в жизнь. Вот почему необходимо выделить 1789—1790 годы как особый этап эволюции писателя, тем более, что предпринимались попытки установить сдвиг его вправо в этот период. «К событиям революции Радищев относится холодновато, скептически,— писал В. П. Семенников.— Эти события не волнуют его радостно, он видит там „необузданность", дошедую до последнего предела... Раньше было увлечение американской революцией, но Радищев сдержанно отнесся к процессу развития революции во Франции» [1]. На чем основан этот взгляд?

Как мы знаем, в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске» (1782 г.) Радищев в категорической форме выразил мнение о неспособности царей поступаться властью в пользу свободы (I, 151). Но издавая письмо в 1790 г., он сделал к указанному месту приписку: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли». Приписку эту обычно считают выражением определенных монархических иллюзий Радищева.

[1] В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования, стр. 51, 54.

«Примечание это само за себя говорит,— указывала в ходе дискуссии 1955—1958 гг. Э. С. Виленская.— Ему трудно придать иное толкование, приписать „третьим лицам“ или „эзоповскому языку“. Проще, конечно, обойти его молчанием. Радищев смотрел на вопрос о просвещенном монархе как на практический, точно так же, как и французские просветители, для которых, по выражению Меринга, „государи и их дворы остаются всегда... только средствами для осуществления их целей“» [2],

Это замечание относится к числу явных недоразумений. Приписка Радищева, если вдуматься, не опровергает, а подтверждает его последовательную революционность и антимонархизм в 80-е годы. Ведь если только в 1790 г. пример Людовика XVI дал писателю «другие мысли» (очевидно, мысли о добровольном даровании вольности «сверху»), то, значит, таковых не было до этого, когда создавалось «Письмо» и когда писатель работал над «Путешествием» [3]. Единственно, что можно вывести из приписки самой по себе,— не веру Радищева в просвещенных монархов вообще, а появление такой веры в 1790 г. Кстати, примерно так истолковал приписку Г. В. Плеханов, считавший Радищева «убежденным и последовательным революционером»: «...Вообразив, будто Людовик XVI искренне расположен был удовлетворить политические требования французского народа, Радищев стал доверчивее, нежели прежде, относиться к доброй воле власть имущих» [4].

Но попробуем раскрыть, в чем состоял пример Людовика XVI — ведь без этого вообще нельзя говорить о смысле далеко не столь ясной приписки.

В первые месяцы революции, действительно, были моменты, когда монарх благословлял завоевания революции, а революция благодарила за это монарха. «Санкт-Петербургские ведомости» [5] в корреспонденции из Парижа от 14 августа 1789 г. писали о торжественном присвоении На-

---

[2] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 169.

[3] На это справедливо обратил внимание А. В. Западов, см. «Вопросы философии», 1957, № 6, стр. 140.

[4] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXII. М.—Л., 1925, стр. 349.

[5] Хотя Радищеву были доступны французские источники, мы ограничимся ссылками на официальную русскую прессу. Это дает совершенную уверенность в знакомстве писателя с событиями, а также позволяет установить, как мог воспринимать его приписку рядовой русский читатель.

родным собранием «наилучшему Государю» звания «Возстановителя Французской Вольности». В корреспонденции от 23 октября сообщалось, что король, согласившись переехать в Париж, получил от Народного собрания титул «самаго лучшаго Друга Народа». Наконец, в начале 1790 г. (что примерно совпадает с датировкой приписки) в русской прессе была перепечатана речь короля от 4 февраля, где он клялся защищать вольность своих подданных, «которой основание положено народным желанием совокупно с Моим собственным». Здесь же описывались восторги парижан по этому поводу [6]. М. М. Штранге пишет, что эти маневры короля пробудили у части русского общества надежду на возможность «согласия между королем и нацией» [7].

Однако та же информация «Санкт-Петербургских» или «Московских ведомостей» могла породить у читателя мысли иного порядка: 1) все без исключени моменты «единения» нации и короля были результатом не его доброй воли, а, наоборот, очередного насилия над ней; 2) все без исключения моменты такого «единения» закономерно сменялись новой распрей короля и народа.

Лишь после того как «так называемыя Французския Гвардии» приняли сторону мещан, а «чернь» несколько дней сряду теснилась в Версале и, составя «превеликую толпу», царила на улицах Парижа, король, как сообщали газеты, принял требования третьего сословия в Национальном собрании. Но приняв в июне эти требования, он сразу же готовит реванш: окружает Париж войсками, собирается с их помощью сделать «распоряжения свои повелительным образом».

Вооруженное восстание 14 июля срывает эти попытки. «Получа полное сведение о том, что с Инвалидным домом и Бастиллиею последовало», сообщали газеты, король прибыл в Национальное собрание и принял все требования народа: удалил войска, возвратил Неккера, уволил вновь назначенных министров. И приняв эти требования, «Возстановитель Французской Вольности» снова медлит с подписанием Декларации прав человека и гражданина, стягивает в Версаль верные офицерские силы.

---

[6] «СПб. ведомости», 1789, № 71, стр. 1126—1127; № 88, стр. 1457; 1790, № 18, стр. 280—285.

[7] М. М. Штранге. Русское общество и французская революция 1789—1794 гг. М., 1956, стр. 62.

Только новое вторжение вооруженного народа в Версаль 5—6 октября пресекает эти происки монархистов. Узнав, что к нему движется армия народа, и «желая утишить сие смятение», король приказывает объявить народу, что он своих телохранителей от службы уволит, приемлет «безусловно и просто» статьи Нового уложения, «изтолкование Прав Человека и Гражданина». Наконец, подчиняясь требованию народа, король отправляется вместе с Национальным собранием в Париж. И снова газеты пишут о происках партии короля, сообщают, что в Народном собрании междоусобная вражда с некоторого времени «возрастает очевидно» [8].

Короче говоря, о каком бы этапе «великой распри» короля и народа ни шла речь: созыве Генеральных штатов и утверждении их регламента, отставке Неккера, подписании королем Декларации прав человека и гражданина, определении объема власти короля и т. п.,— король оказывался в «единомыслии и дружеском согласии с Поверенными народа» только после того, как «чернь» своим вооруженным вмешательством навязывала свою волю королю. И каждый раз, объявив себя поборником «вольности», король изменял народу, и лишь новый подъем сопротивления принуждал его к очередной капитуляции.

Как могла звучать в свете этих фактов приписка Радищева? «Письмо к другу» освещало одну сторону проблемы взаимоотношений короля и народа: писатель утверждал в 1782 г., что монархи добровольно не поступаются своей властью ради вольности народа. Пример Людовика XVI мог породить «другие мысли»: короли уступают только силе народа.

Правдоподобность такого истолкования подтверждают другие высказывания Радищева того же периода. В «Житии Ф. В. Ушакова», сопоставляя историю возмущения русских студентов против наставника Бокума с примерами народных восстаний против самодержцев, Радищев вспоминает, что студенты делали Бокуму «весьма кроткия представления гораздо кротче, нежели когда либо Парижский Парламент делывал Французскому Королю. Но как таковыя представления были частныя, как то бывают и парламентския, а не от всех, то Бокум отвергал их толико же само-

[8] «СПб. ведомости», 1789, № 59, стр. 916—918; № 61, стр. 961; № 62, стр. 974—977; № 63, стр. 989—993; № 86, стр. 1357—1358; № 88, стр. 1385—1391, 1457.

властно. как и Король Французской, говоря своему народу „в том состоит наше удовольствие"». Но как же угнетенные добивались осуществления своих прав? Вот ответ: «Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начинались сходбища, частыя советования, предприятии, и все что при заговорах бывает, взаимныя о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях; тут отважность была похваляема, а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая» (I, 167—168).

Правда, могут возразить, что «Житие» закончено в 1788 г. и только публиковалось в 1789 г., что упоминание о тяжбе короля с парламентом относится к событиям 1787—1788 гг. и что высказывание не отражает в полной мере позицию Радищева в первый год революции. Это не совсем так. К чему, спрашивается, было публиковать в 1789 г. работу, проникнутую антимонархическими идеями и разоблачающую Людвика XVI, если его «пример» порождал теперь мысли совершенно иного порядка?

К такому истолкованию приписки близок и А. И. Старцев, который не желает видеть в ней дань традициям «просвещенного абсолютизма», иллюзиям об уступчивости царей, обнаруженную Э. С. Виленской. «Если бы речь шла о характеристике Людовика XVI как „доброго царя", отказывающегося от своей власти в пользу народа,— пишет Старцев,— не было бы, по-видимому, нужды придавать примечанию столь лапидарный и не лишенный загадочности характер... Радищев не мог не знать, что французский король уступил народу и Учредительному собранию не вследствие своих гражданских добродетелей, а потому, что политическая обстановка вынуждала его к уступчивости, независимо от его желания»

Вместе с тем сам А. И. Старцев усматривает в радищевском примечании некую «позитивную оценку соглашения парижского Учредительного собрания с королем», постановку вопроса о том, можно ли «развивать демократические завоевания» в рамках монархии, уже ограниченной волей народа [9]. Даже Марат и Робеспьер, указывает исследова-

---

[9] А. И. Старцев. Радищев в годы «Путешествия». М., 1960, стр. 177, 179, 180 и сл.

тель, не порывали вплоть до 1791 г. с платформой конституционной монархии, думая в рамках этой политической формы правления двигать революцию вперед.

Указание А. И. Старцева на наличие монархических иллюзий у радикальных идеологов первых лет революции важно. Не менее важно различение оттенков этих иллюзий, чуждое Э. С. Виленской.

Но сказать определенно, что подобные иллюзии были свойственны и Радищеву, мы не можем: ни в одном из произведений Радищева 1789—1790 гг. нельзя найти ни одной строчки в пользу «позитивной оценки» соглашения Учредительного собрания с Людовиком XVI, недаром свою трактовку А. И. Старцеву приходится подкреплять цитатами из «Дара отечества» Марата, а не текстами радищевских трудов [10].

2. Послецензурная правка «Путешествия» (1789—1790 гг.)

Уточняя позицию Радищева 1789—1790 гг., следует с особым вниманием отнестись к послецензурной правке «Путешествия». В первоначальном варианте описание одного из эпизодов пугачевского «возмущения» (глава «Едрово») заканчивалось так: «Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто неповедали вы сего законным судиям вашим?.. Но крестьянин в законе мертв, следовательно против господина своего — возрыдав скажу — судиться не может» (I, 425). В новом варианте последняя фраза приобрела вид: «Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...» (I, 305). Теперь, не отказываясь от своего осуждения крестьян и по-прежнему считая, что крестьянин в законе «мертв», Радищев глухо намекает: крестьянин обретет свои законные права, «если того восхочет». О чем говорит этот намек? Радищев вполне мог иметь в виду опыт революционной Франции, где стихийная борьба крестьянских масс получала свое завершение в законодательных актах Национального собрания. В начале революции русская пресса немало писала о крестьянских мятежах, «пожигании» дворянских замков во Франции, с другой стороны, читатель той же прессы знал о первых практических результатах этой борьбы: отречении 4 августа 1789 г. духовенства и дворян-

[10] Ссылки на радищевский «Проект в будущем» не могут служить свидетельством монархических иллюзий писателя.

ства «от всех своих прав, вольность сельских жителей угнетающих» [11].

К вставкам 1789—1790 гг. относится прямое высказывание Радищева о французской революции. «Но дивись несообразности разума человеческого,— пишет он в главе „Торжок".— Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможнаго, ценсура во Франции неуничтожена. И хотя всё там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, да возплачут Французы о участи своей, и с ними человечество! мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их Государь, насильственно взяли печатную книгу, и сочинителя оной (речь идет о Марате.— *Авт.*) отдали под суд, за то, что дерзнул писать против народнаго собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаеш близ Бастильских пропастей» (I, 347).

Отрицательное отношение Радищева к французской революции как будто неоспоримо: самые эпитеты «необузданность» и «безначалие» вполне созвучны оценкам русской прессы, клеймившей революционную Францию. Так расценил в свое время высказывание Радищева и В. П. Семенников. Но вдумаемся в любопытный факт. В глазах той же казенной прессы Марат и был одним из главных вдохновителей «необузданности» и «безначалия», нарушающих «основания общества». Эта пресса в один голос одобряла преследование Национальным собранием «возмутителя народной тишины» и негодовала на дерзость «черни», спасшей писателя от расправы [12]. Радищев же, под прикрытием избитых фраз о необузданности и безначалии, выступает в защиту главного возмутителя «тишины».

Добавим, что образ Франции, ходящей «близ Бастильских пропастей», мог быть навеян сентябрьскими номерами «Друга народа» за 1789 г., где Марат, призывая народ не обольщаться взятием Бастилии, восклицал: «О французы... доколе же будете вы спать на краю пропасти?» И как будто на следующий номер того же «Друга народа» откликается приведенная выше радищевская «крамольная» вставка из главы «Едрово»: крестьянин будет в законе жив, «если того восхочет». «Ведь только при отблесках пламени, пожи-

---

[11] «СПб. ведомости», 1789, № 69, стр. 1091.

[12] См. «СПб. ведомости», 1790, № 15, стр. 228—229; «Моск. ведомости», 1790, № 16, стр. 231.

равшего подожженные замки дворян,— писал Марат по поводу знаменитого заседания Национального собрания ночью 4 августа,— проявили они величие души, достаточное, чтобы отказаться от привилегии держать в оковах людей, сумевших вернуть себе свободу с оружием в руках!» [13]

К числу позднейших вставок относится и абзац «Едрово» с поговоркой: «всяк пляшет, да некак скоморох». Зачем было Радищеву после цензуры добавлять это скептическое замечание, если у него как раз в это время появились надежды на «добрую волю» власть имущих?

К сожалению, невозможно учесть все позднейшие вставки. Перед арестом писатель пытался изъять из рукописи «Путешествия», ранее бывшей в цензуре, многие листы, не соответствующие печатному тексту. Однако известные факты говорят сами за себя: печатая книгу в 1790 г., Радищев усиливал, а не смягчал ее революционное звучание.

Буржуазные комментаторы «Путешествия», превратно толкуя его содержание, постоянно недоумевали, как мог писатель выбрать для обращения к «верхам» столь неудобный момент. «Кабинетный труженик-идеалист», вдохновлявшийся идеями «Наказа», оказывается, упустил из виду, что французские события заставили Екатерину отказаться от идей «вольности и равенства»; ведя уединенную жизнь, он-де «не заметил сигнала к отбою в правительственных „сферах“» [14]. Знакомство с действительным содержанием книги ставит все на свои места. Начало революции во Франции, растущий интерес к ней в России были наиболее благоприятным моментом для революционной пропаганды печатным словом, этот момент сумел уловить и использовать писатель. Не «льстец Августов», не «лизорук Меценатов», а Цицерон, гремящий против Катилины, Сатирик, не щадящий Нерона, народные мстители Брут и Телль, Кромвель, пославший короля на плаху, Франклин, «исторгнувший гром с небеси, и скиптр из руки царей»,— вот герои прошлого, которых Радищев прославляет во время революции, Марат — вот герой настоящего, которого он защищает в эти дни.

Русский писатель шел дальше многих деятелей французской революции, не освободившихся в эти годы от преклонения перед королевской властью (или думавших использо-

[13] Ж. П. Марат. Избр. произв., т. II. М., 1956, стр. 63, 71.

[14] См. «Историческая хрестоматия», вып. XV, М., 1907, стр. 397 и др.

вать эту власть в интересах революции). В то время как Национальное собрание порой присваивало французскому королю титулы «Возстановителя и Защитника Вольности», «Друга Народа», Радищев клеймил монархические иллюзии. Тогда как большинство депутатов Национального собрания подумывало об усмирении народа, он видел в его борьбе единственный залог успеха. В те дни, когда конституционалисты перешли в наступление на Марата, он поднимает голос в его защиту.

Более того, опыт прошлых (английской и американской) революций позволял писателю не только поспевать за событиями настоящего, но и глядеть вперед: включив в свою книгу оду «Вольность», он сумел еще в 1790 г. нарисовать картину Франции 1793 г.

3. Еще раз проблема «русской почвы» и «западных влияний»

Попытаемся соотнести революционную концепцию Радищева 80 — начала 90-х годов с важнейшими событиями его эпохи. В советской исследовательской литературе все чаще подчеркивается полемическая направленность «Путешествия» против доктрины «просвещенного абсолютизма». В 60-х годах Екатерина II, по примеру «просвещенных монархов» Запада, попыталась укрепить устои самодержавного государства, расшатанные крестьянскими бунтами и дворцовыми переворотами, с помощью идей западного Просвещения. Заигрывание с энциклопедистами, интимная и вместе с тем известная всему свету переписка с Вольтером, Даламбером, Гриммом, Дидро, попытки воплотить в «Наказе» принципы Монтескье и Беккариа, грандиозные инсценировки, вроде конкурса в Вольном экономическом обществе или созыва Уложенной комиссии, наконец, организация «свободного» общественного мнения — все эти меры «Великой, Премудрой, Матери Отечества» выдвинули русскую царицу чуть ли не на первое место среди европейских «просвещенных» государей. Но политика «просвещенного абсолютизма» не только содействовала укреплению престижа Екатерины в Европе и России, она открыла широкий доступ в страну просветительским идеям, по природе своей чуждым абсолютизму и феодализму.

Приняв всерьез либеральные акции Екатерины II, небольшая группа передовых дворян, присоединившихся к

мнению западных просветителей, впервые заявила русскому обществу о несправедливости и невыгодности крепостнической системы. Поленов на конкурсе, Коробьин, Эйзен, депутат Козельский в Комиссии, Новиков в журналах 70-х годов выдвигают прогрессивно-либеральные требования и проекты смягчения рабства «сверху», предлагая обуздать «злонравных» помещиков, ослабить крепостные узы, которые «рабы» грозили порвать своими бунтами. В конце 60 — начале 70-х годов оформляется и радикальные крыло русского Просвещения. Писатель Козельский в «Философических предложениях» (1768 г.) начал пропаганду теории «общественного договора» Руссо, в те же годы появился в русском переводе ряд радикальных политических статей «Энциклопедии». В то время как русские дворянские либералы увлекаются «Естественной политикой» Гольбаха, Радищев переводит на русский язык «Размышления о греческой истории» Мабли, проникнутые антимонархическими и республиканскими идеями [15].

Дальнейшим развитием этих идей раннего русского Просвещения и была концепция Радищева 80-х годов. Но между первым и вторым периодами лежала целая историческая полоса, наполненная событиями огромной важности, которые были осмыслены Радищевым с принципиально новых позиций. Это и определило — при общности взглядов на несправедливость крепостного права и сходстве теоретических основ — различие двух этапов русского Просвещения, различие дворянского либерализма Поленова и крестьянского демократизма Радищева, радикализма «Философических предложений» и революционности «Путешествия из Петербурга в Москву».

Одним из таких событий был окончательный крах показного либерализма Екатерины. Болтовни о смягчении участи «рабов» хватило на пару-другую лет. Под первым благовидным предлогом (начало войны с Турцией) царица кончает «законодательные проказы». Была распущена Уложенная комиссия, зажат рот «свободным» русским журналам, следы «Наказа» остались только в бесчисленных пане-

---

[15] См. подробнее: И. С. Бак. Антифеодальные экономические учения в России второй половины XVIII века. М., 1958, стр. 42—43; М. М. Штранге. «Энциклопедия» Дидро и ее русские переводчики.— Сб. «Французский ежегодник, 1959». М., 1960, стр. 76—88, и др.

гириках, «блаженство», обещанное народу, так и не наступило.

Пугачевское восстание 1773—1775 гг. было наиболее выразительным ответом «облагодетельствованного» крестьянства на «матерние» заботы самодержавной власти. Несмотря на стихийный характер возмущения, царистские иллюзии крестьян, острие движения было явно направлено против основ феодальной системы, движение это в кульминационном пункте своего развития (июль 1774 г.) выдвинуло лозунг взятия земли и воли путем уничтожения помещиков.

Кровавая схватка двух классов, зверская расправа царских войск с восставшими воочию показали Радищеву, что интересы «низов» и «верхов» непримиримы, что любые надежды на освобождение «сверху» обречены на провал. Назвав в своем «Путешествии» помещика «общественным татем», объявив его имущество результатом грабежа крестьян, призвав к избиению всего дворянского «племени», Радищев решительно взял сторону крестьян. Но сформулировать положительную политическую программу освобождения народа, преодолеть известные кризисные явления в своем идейном развитии (вторая половина 70-х годов) писатель смог, только выйдя за рамки своей страны, обобщив опыт народных движений в более развитых в политическом отношении странах Запада.

Радищев — порождение русской жизни, «Путешествие» — итог эволюции русской просветительской идеологии. С этого исходного, определяющего пункта должно начинаться исследование мировоззрения писателя. Но было бы нелепостью утверждать, что Радищев — порождение одной только «русской почвы». Если он за столетие вперед провидел русскую революцию, то потому, что на столетие обогнали Россию революционная Америка, а затем революционная Франция, открывшие его взору будущее отчизны. В эпоху Радищева в России обозначился кризис феодально-крепостнической системы, Запад в ту же эпоху нащупывал радикальные пути ее ликвидации — эти два определяющих факта лежат в основе радищевской концепции. В «Путешествии» обобщен опыт не одной только Крестьянской войны 1773—1775 гг., но и великих буржуазных революций XVII—XVIII вв. — этим обусловлены радикализм и глубина книги.

При этом общепросветительская антифеодальная идеология была преломлена на русской почве сквозь призму

острого антагонизма русского феодала и его «раба». Абстрактный угнетенный человек принимает в «Путешествии» образ русского мужика, «деспот на троне» получает черты Екатерины, сомнения Рейналя о возможности «вразумления» тиранов обретают новое подтверждение в практике русского «просвещенного абсолютизма», общий вывод теории «общественного договора» о праве порабощенного народа на сопротивление воплощается в мечту о будущей крестьянской революции.

Две сплетенные воедино темы объединяют содержание по видимости разрозненных картин «Путешествия»: 1) показ оборотной стороны «золотого века» Екатерины, реальных результатов ее политики; 2) поиск иных путей освобождения народа. Сталкивая выразителей различных общественных мнений, сопоставляя различные точки зрения, заставляя своих положительных героев отбрасывать одну иллюзию за другой, Радищев подводит читателя к революционным выводам. Не сентиментальные слезы кающегося в своем «жестокосердии» дворянина («Любани»), не бегство честных защитников народа от жизни и борьбы («Чудово», «Зайцово»), не упование на просвещение «верхов» («Спасская полесть») и не вера в их будущие либеральные начинания («Хотилов», «Выдропуск»), а воспитание мужественных борцов за правду и справедливость («Крестьцы»), грядущая революция народа, разбуженного тяжестью угнетения («Медное»), просвещение народа словом вольности («Торжок», «Тверь», «Городня», «Слово о Ломоносове»),— вот тот трудный, но единственно верный, по мнению Радищева, путь борьбы со «стозевным чудищем», гнетущим человека.

Революционное просветительство в настоящем, народная революция в будущем — таков «Проект в будущем» Радищева, таков его ответ на вопрос «что делать?» — великий вопрос всей русской демократической литературы XVIII—XIX вв.

Революционные идеи Радищева — это не «срывы», «вопли», «трагические душераздирающие крики» мятущегося в противоречиях человека, как их любили именовать некоторые исследователи. Это тщательно продуманные выводы, итог многолетних исканий, подытожение исторического опыта России и Европы. Писатель прекрасно понимает, что дало народу множество «замаранных грязию» проектов, оставленных на стезе показного правительствен-

ного либерализма его «человеколюбивыми» предшественниками. Он отказывается следовать за ними по проторенной самой императрицей и все же непроезжей дороге. Он предпочитает идти по еще неведомому в России, опасному, но, казалось ему, более надежному пути: выразителем его идей становится «новомодной стихотворец» из «Твери», предмет стихов которого «несвойствен нашей земле» (I, 362, 354).

Понимание своей новаторской роли и одновременно глубочайшее убеждение в своей правоте с предельной силой выражены писателем в дни расплаты за революционный подвиг, когда, отвечая на расспросы А. М. Кутузова и его призывы «переменить» образ мыслей, он писал:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду (I, 123).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗА И ПРОТИВ НОВОЙ ГИПОТЕЗЫ. ВОПРОСЫ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ

«...Вряд ли было что-нибудь высказано одним автором, не вызвав противоположного заявления со стороны кого-либо другого... Совершенно бесполезно в этом случае подсчитывать голоса, чтобы следовать тому мнению, которого придерживается большинство авторов, ибо если дело касается трудного вопроса, то более вероятно, что истина находится на стороне меньшинства, а не большинства».

Р. Декарт

1. Спор или осуждение?

До середины 50-х годов новая точка зрения на «Путешествие» не принималась всерьез большинством радищеведов. В лучшем случае ей уделялась пара-другая строк в примечаниях. Походя сообщалось: концепция Макогоненко «соблазняюще убедительна», но «неисторична и надумана», или: трактовки «Проекта в будущем», принадлежащие Шапиро, Смолянову, Баркову, Бабкину, «оригинальны», но «совершенно неудовлетворительны» [1].

Дискуссия в журнале «Вопросы философии» (1955—1958 гг.) заставила противников новой трактовки высказаться более подробно. Но прежняя пренебрежительная манера определила и тон их статей и ту задачу, которая в них выдвигалась.

В одной из статей так характеризовались взгляды инициаторов дискуссии, якобы попавших под пагубное влияние работ Макогоненко: «...Наряду с серьезными исследованиями появились наспех подготовленные статьи и даже монографии, в которых научный анализ подменялся торжественным дифирамбом, а субъективные, не подкреплен-

---

[1] См. Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1955, стр. 475; Е. В. Приказчикова. Экономические взгляды А. Н. Радищева, стр. 80.

ные документальными данными представления авторов выдавались за последнее слово науки»[2].

«На этом несложном „труде“ тт. Карякина и Плимака можно было бы не задерживаться,— писал еще один благожелательный оппонент,— если бы само изложение велось объективно... Вместо конкретно-исторического анализа трудов Радищева читателю предлагается заранее составленная схема, в которую, как в прокрустово ложе, пытаются втиснуть воззрения Радищева. Применяя такую, с позволения сказать, „методу“, можно доказать все что угодно. Но для науки такие доказательства не имеют никакой ценности»[3].

Правда, большинство противников новой трактовки отмолчалось, но малочисленность выступивших вполне компенсировалась решительностью, с которой выдвигалось требование изгнать новую точку зрения из науки: «В истории общественной мысли, несомненно, имеется еще немалое число невыясненных и дискуссионных вопросов. И естественно, что наши споры будут продолжаться и впредь. Но все наши усилия окажутся бесплодными и не приведут к реальным результатам, если порочные методы исследования не будут осуждены научной общественностью»[4].

Однако, волей или неволей, оппонентам пришлось ввязаться в спор, подкреплять «осуждения» конкретными доводами.

2. Чья трактовка страдает субъективизмом?

Основной довод противников новой трактовки «Путешествия» сводится к тому, что таковая попросту придумана Г. П. Макогоненко и его «последователями». Руководствуясь стремлением «приукрасить» Радищева, они сначала объявили писателя последовательным революционером, отвергавшим любой иной путь изменения общественных отношений. Затем они стали приписывать все высказывания, противоречащие их представлению о мировоззрении Радищева, неким «третьим лицам», с которыми он якобы полемизирует в «Путешествии», либо вообще обходить их, прибегая к «фигуре умолчания». Свои субъективные представления о композиции «Путешествия» Г. П. Макогоненко иллюстрирует «нарочитым толкованием глав книги», писала

---

[2] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 163.
[3] «Вопросы философии», 1957, № 6, стр. 127, 131.
[4] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 174.

Э. С. Виленская. В то же время в этом своем толковании автор опирается на композицию «Путешествия». «В итоге вся „система доказательств" вращается в порочном кругу логических умозаключений, где посылки и выводы произвольно меняются местами по первому требованию автора» [5].

Чтобы оценить убедительность этих обвинений, нам придется воспроизвести некоторые места, правда, не из работ Г. П. Макогоненко, а из «Очерков» Г. А. Гуковского. Выписки будут несколько пространны, но выбора нет — картина того, как «придумывалась» версия о последовательной революционности Радищева, безусловно, должна быть восстановлена, хотя бы в главных своих чертах.

«Радищев знает,— писал Гуковский,— что тиранство монарха не есть результат случайных низких моральных свойств его... Спасти народ от тирании помещиков и царя может одно: революция,— такова мысль Радищева... Да разве сам Радищев не закончил свое „Письмо к другу, жительствующему в Тобольске" словами: „...нет и до скончания мира примера может быть не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле". Знаменитое и уже цитированное заключение главы „Медное" в „Путешествии" недвусмысленно отвергает возможность всякого сомнения в данном вопросе... Это — призыв к революции и именно к народной крестьянской революции, уверенность в ее неизбежности... Та же мысль, что в конце главы „Медное", изложена Радищевым в „Житии Ушакова". „...Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства (т. е. монархии). Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют... Не ведают мучители, и дажды господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что... то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания... во сте других родит отчаяние и исступление. Пребуди, благое неведение, всецело, пребуди нерушимо до окончания века, в тебе почила сохранность страждующего общества! Да не дерзнет никто совлещи по-

[5] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 165.

кров сей с очей власти, да исчезнет помышляй о сем и умрет в семени дорождения своего!“.

Неужели же можно думать,—заключал Гуковский,— что написавший последнюю приведенную фразу хотел убедить царицу, т. е. сделать то, что он считал преступлением. Наоборот, он заявляет, что безумие властителей приводит к революции; поэтому он благословляет это безумие... Радищев считает революцию единственным путем завоевания свободы для народа. В реформы сверху он не верит» [6].

Как видим, идея последовательной революционности взглядов Радищева 80-х годов навеяна его собственными высказываниями и ничем иным. Можно, правда, допустить, что Гуковский толкует неправильно, субъективистски любое из выделенных им положений. Но странное дело! Обвиняя своих оппонентов в «субъективизме» и произволе, противники последовательной революционности автора «Путешествия» по сути дела никогда не разбирали в своих статьях приведенные высказывания Радищева! Мы еще и еще раз обращаем внимание на подчеркнутые Гуковским слова «Жития Ушакова»: просвещение царей не только бесполезно, но и вредно, напротив, их слепота рано или поздно приведет к спасительному восстанию народа. Да будут прокляты те, кто «дерзнет совлещи покров сей с очей власти» (ср. «Истину», снимающую «бельма», «толстую плену» с очей царя в «Спасской полести»).

Нельзя просто скользнуть взглядом по этим словам, нельзя по ним просто «пробежать». Здесь, как, впрочем, и во всех других выводах Радищева, взвешена каждая строка, продумано и отчеканено каждое слово. То, что было скрыто в «Путешествии» за скептическими намеками, о чем говорил читателю пародийный тон, здесь сказано ясно и прямо. Основной вывод «Медного» — свободы надо ждать не от советов «великих отчинников», «но от самой тяжести порабощения» — здесь повторен писателем еще раз, теперь уже в прямом столкновении с либерально-просветительской концепцией.

Можно ли обходить это совершенно ясное свидетельство вражды Радищева к идее просвещения царей, строя умозаключения насчет сочетания в его произведениях 80-х годов «двух программ», революционной и реформистской?

[6] Гр. Гуковский. Очерки по истории русской литературы..., стр. 150—152.

А между тем даже упоминания об этом высказывании нет не только в сравнительно небольших статьях Э. С. Виленской и И. Я. Щипанова, но и в монографии А. И. Старцева, который пытается уверить нас, что сюжетные мотивы, связанные по форме с концепцией «просвещенного абсолютизма» (сон в «Спасской полести», царские манифесты в «Хотилове» и «Выдропуске»), якобы не входят ни в какое противоречие с революционной позицией автора, не содержат «никаких мыслей, противоположных и враждебных его основным взглядам»[7].

Спору нет, в конкретном анализе сюжета той или иной главы, при выявлении тех или иных композиционных нитей «Путешествия» возможны субъективистские оценки. Целый ряд ошибочных или спорных представлений Г. П. Макогоненко был уже отмечен нами. Можно принять замечания Э. С. Виленской по поводу несколько прямолинейной трактовки главы «Крестьцы», вступления к главе «Подберезье» или посвящения «А. М. К.»в статье, открывшей дискуссию 1955—1958 гг. В полемике о степени автобиографичности «Путешествия» скорее прав А. И. Старцев, считающий образ путешественника «средоточием автобиографизма Радищева в „Путешествии“», чем Г. П. Макогоненко, у которого путешественник противостоит Радищеву как человек «со своей биографией и со своей судьбой»[8]. Но, выявляя произвольные моменты в новых трактовках (эта критическая работа заслуживает всяческого признания), противники «концепции Макогоненко» не желают видеть моментов неоспоримых, доказанных давным давно. Э. С. Виленская считает, например, что в главах «Путешествия» вообще нечего искать ответа на вопрос «как освободить народ» (!), хотя сама же находит в «Хотилове» «основные принципы освобождения крестьян „сверху“». По ее мнению, Радищев вовсе не задавался в «Спасской полести» вопросом, случайны ли «все неустройства» в обществе и можно ли «открыть истину царю, чтобы тот устранил все злоупотребления». И вопрос и ответ, оказывается, «придуманы» Ю. Ф. Карякиным и Е. Г. Плимаком! Но разве не путешественнику из «Спасской полести» принадлежит вопрос, «каким бы обра-

---

[7] А. И. Старцев. Радищев в годы «Путешествия», стр. 142.

[8] А. И. Старцев не прав в другом: он считает, что идея эволюции героя несовместима с явной автобиографичностью образа. Но почему Радищев не мог отразить в образе свою собственную эволюцию?

зом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховныя власти?». Э. С. Виленская согласна признать, что в главах «Чудово» или «Зайцово» показаны люди, бегущие от жизни, от борьбы со злом, но она уверяет, что Радищев не выражает им «своего осуждения». Но разве Радищев не разделяет следующее высказывание главного персонажа главы «Крестьцы»: «Убойся заранее, именовать благоразумием, слабость в деяниях, сего перваго добродетели врага»? Мало того, Э. С. Виленская доказывает, что, говоря об освобождении «себе подобных», Радищев... вовсе не имел в виду прежде всего крепостных! [9]

Аналогичный пример — из книги А. И. Старцева. «К сожалению,— пишет он,— некоторая часть новейших исследователей приняла всерьез нелепые измышления буржуазных авторов о „либерализме" Радищева. Вместо того чтобы изучать революционное мировоззрение Радищева, выраженное в „Путешествии" в той его форме, в какой оно исторически сложилось, они признали, что в „Путешествии" присутствуют чуждые революционным взглядам писателя „либеральные" мотивы, и стали думать и гадать, как спасти репутацию Радищева-революционера» [10].

Но что делать, коль скоро в проекте выражена идея постепенного освобождения крестьян, притом по воле царя, с согласия помещиков, за выкуп, с одним только наделом и т. п.? Ведь даже убежденная союзница А. И. Старцева — Э. С. Виленская нашла в «Хотилове» принципы освобождения крестьян «сверху». Или, быть может, эти принципы перестают считаться либеральными, когда их выдвигает Радищев, и снова становятся либеральными, если принадлежат, скажем, депутату Козельскому, Голицыну или Коробьину?

Буквально в штыки оппоненты встречают идею эволюции героев «Путешествия». Воззрения путешественника на сущность «закона» не изменяются на протяжении книги, исправляет Э. С. Виленская «субъективистскую трактовку» Ю. Ф. Карякина и Е. Г. Плимака. Восклицание «Закон? и ты смееш поносить сие священное имя?» из главы «Любани» перекликается с подобным ему в главе «Городня»: «О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге» [11].

---

[9] См. «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 164, 166, 167.
[10] А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 138.
[11] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 166.

Последуем, однако, призыву Э. С. Виленской не вырывать отдельные фразы и произведем «перекличку» по полной форме:

«Любани»	«Городня»
«Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О есть ли бы он тогда, хотя пьяной опомнился, и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу! — А кто тебе дал власть над ним?—Закон.— Закон? И ты смееш поносить сие священное имя? Нещастный!.. Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующаго стана» (I, 234).	«Вольные люди, ничего непреступившие в оковах, продаются как скоты! О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге. Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того, посмеяние священнаго имени вольности. О! если бы рабы. тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим главы безчеловечных своих господ... что бы тем потеряло государство? ...Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени... Я зрю сквозь целое столетие» (I, 368—369).

Надо ли доказывать, что в первом случае перед нами типичная реакция «кающегося дворянина», во втором — протест убежденного революционера? А ведь аналогичных «перекличек» можно устроить десятки, что, впрочем, сделано в нашей третьей главе...

А. И. Старцев берется доказать, что в главе «Хотилов» нет никаких мыслей, «враждебных» и «противоположных» взглядам Радищева, изложенным в других главах «Путешествия». «...Внимательное чтение главы показывает,— пишет исследователь,— что „монарх" не только развивает аргуменсацию, во многих важных пунктах соприкасающуюся с позицией Радищева, но более того, что ему принадлежат некоторые из наиболее знаменитых антикрепостнических формулировок „Путешествия". Так, именно он утверждает, что в крепостническом государстве „две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы". Он же заявляет, что гражданское положение крестьянина в России может назвать „блаженным" лишь „ненасытец кровей". Он дает хрошо известную характеристику рабовладельческой Америке, где „сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысящи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова". Наконец, он же угрожает помещикам новым пугачевским восстанием и неминуемой гибелью от руки угнетенного и ожесточенного народа. Монарх

в „Хотилове“, таким образом, в качестве монарха совершенно условен. Это просветитель круга Радищева»[12].

Но еще более внимательное чтение главы «Хотилов» показало бы Старцеву разнородность ее частей. Она состоит из: 1) высочайшего манифеста — описания «блаженства», царящего в стране; 2) разоблачения этой картины показного блаженства с использованием типичных просветительских аргументов; 3) «ближайших о состоянии земледелателей рассуждений», которые органически переходят в слезливые обращения того же монарха к помещикам; 4) целой связки бумаг, начертанных другом путешественника — проектов «к постепенному освобождению земледельцов в России».

Мысли, действительно созвучные революционной позиции писателя в целом, принадлежат второй части (и в этом нет ничего странного, ибо здесь разоблачается лицемерие официальной идеологии). Но если бы Старцев занялся сопоставлением, скажем, третьей или четвертой частей «Проекта в будущем» с революционными главами, обнаружить противоречия и расхождения не представило бы особого труда.

Однако в той же книге Старцева обнаруживаются порой и действительно ценные находки.

«Настойчивое противопоставление „Хотилова“ и „Выдропуска“, как воплощения либеральных иллюзий, тем главам „Путешествия“, где формулируются идеи и лозунги народного восстания,— писал Старцев,— составляет один из основных опорных пуктов всей „диалогической“ схемы „Путешествия“. В особенности часто против „либерала“ из „Хотилова“ выдвигается известная формулировка из заключения главы „Медное“, гласящая, что освобождения крестьян „ожидать должно“ не от милости господствующих классов, но „от самой тяжести порабощения“.

Представляется загадкой, как за многие годы разработки и уточнения своей схемы Макогоненко и другие авторы, уделявшие столь большое внимание сюжету книги Радищева, не увидели, что, согласно сюжету „Путешествия“, глава „Медное“ принадлежит как раз перу автора „Хотилова“ и „Выдропуска“».

Далее А. И. Старцев указывает, что эти три главы размещены в книге симметрично, через главу одна от другой,

---

[12] А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 150—151.

и что в самой главе „Медное“ прямо говорится о чтении «найденных бумаг» из этой же «хотиловской» связки. «Следовательно,— с удовлетворением заключает Старцев,— не остается ничего другого, как признать автором революционной главы „Медное“ автора „либеральных“ глав „Хотилов“ и „Выдропуск“, а тем самым признать, что „диалогическая“ схема „Путешествия“ (т. е. схема, выявляющая противоположные мысли глав „Хотилов“ и „Медное“.— *Авт.*), находится в безнадежном тупике» [13].

Но искренне радоваться подобному открытию придется, как нам кажется, вовсе не противникам «диалогической схемы». Ведь если революционер из «Медного» и автор «Проекта в будущем» одно и то же лицо, то становится ясным, почему брошена им на станции «Хотилов» целая кипа проектов освобождения крестьян «сверху». Становится ясным, почему он пародирует во вступлении к «Хотилову» высочайшие манифесты, разоблачая лицемерие и ложь царских «забот» о «блаженстве» народа. Оказывается, что никакого реформизма в главе «Хотилов» нет, что герои-революционеры появляются в радищевской книге не на заключительном этапе пути, а гораздо раньше — еще на «втором», по схеме Макогоненко, этапе. «Хотилов» — это не изложение реформистско-монархических идей «гражданина будущих времен» (точно так же как и «Спасская полесть» — это не исповедание веры путника в царя), а, скорее всего, рассказ о том, как подобные идеи когда-то были «испробованы» и затем отвергнуты самим хотиловским гражданином. «Диалогическая схема» не находится в тупике, она лишь уточняется. В тупике же находятся сторонники прежних взглядов, которые по-прежнему приписывают реформистскую программу Радищеву.

Чтобы кончить спор о «Проекте в будущем», сделаем одно существенное уточнение, которое, возможно, будет принято обеими сторонами. Строго говоря, «Хотилов» отвергает только путь освобождения «сверху», сами по себе «либеральные» меры, предложенные когда-то «гражданином будущих времен» к «постепенному освобождению земледельцов», автор считал вполне разумными и нужными — недаром путешественник узнает в авторе хотиловских бумаг «искреннего друга своего». Единственное и основное,

---

[13] А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 154—157.

в чем убеждены и путник и его друг,— эти разумные меры не осуществить «с согласия помещиков» и по «манию царя». Почему так и что надо делать ввиду этого — разъясняют «Медное», «Тверь», «Городня» «Слово о Ломоносове».

3. «Мистика» или «полуфантастика»?

Положение о том, что антифеодальная литература XVIII в. широко пользовалась языком намеков, аллегорий, символов, ни у кого не вызывает никаких возражений. Но мысль, что революционер Радищев пользовался в «Путешествии» эзоповским языком, вызвала во время дискуссии 50-х годов решительные протесты, призывы отказаться от «„изысканий", мистифицирующих науку, возвращающих ее к средневековой схоластике» [14].

На первый взгляд, для протестов имеются основания. Кажется непостижимым, почему писатель, почти открыто изложивший свою революционную программу в «Твери», прибегал к хитроумным намекам при изложении реформистско-просветительских концепций.

Однако эти совершенно необъяснимые вещи становятся вполне понятными, когда мы вспомним, что так называемые либеральные главы оказались совсем не либеральными,— оказались разоблачением показного либерализма Екатерины. Обвинения в лицемерии столь же мало услаждали слух августейшей читательницы, как и явно революционные призывы, недаром негодующие заметки оставлены Екатериной II не только на полях «Твери», но и на полях «Спасской полести» или «Хотилова».

Объявив изыскания в области эзоповского языка «Путешествия» «мистификацией» науки, Э. С. Виленская не утруждала себя их разбором. Книга А. И. Старцева, продолжая в традиционном стиле ниспровержение «полуфантастических» домыслов, несколько изменяет обычаю — в отличие от «мистики», «полуфантастика» требует хотя бы наполовину серьезного отношения к доводам оппонентов.

Прежде всего Старцев не согласен с трактовкой связки между главами «Едрово» и «Хотилов»: «„Всяк пляшет, да не как скоморох",— повторяет Путешественник фразу, связанную с предыдущим повествованием, и в этот момент замечает утерянную кем-то бумагу на дороге. И эта фраза

---

[14] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 170, 174.

якобы тоже должна выражать неодобрение Радищевым содержания главы «Хотилов». Однако надо быть очень преданным предвзятой схеме, чтобы объявить скоморошеством ту критику абсолютизма и крепостного права, которая содержится в главе „Хотилов“» [15].

Но напомним еще раз, что «Хотилов» начинается не с обличения абсолютизма и крепостничества, а с высокопарных фраз о «блаженстве» страны, пародирующих манифест Екатерины II. Так, может быть, царские речи или инсценировки Радищев и объявлял скоморошеством?

Истолкование шутливой концовки как «скептической» («лучше разсуждать о том, что выгоднее для едущаго на почте, что бы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи, быть иноходцем или скакуном? нежели заниматься тем, что несуществует») также кажется Старцеву «вольным толкованием». «...Сторонники „диалогической“ схемы,— иронизирует он,— объявляют ремарку Путешественника написанной „эзоповским языком“ и, „расшифровывая“, видимо, аллюры почтовых лошадей как темпы социальных преобразований, считают, что Радищев клеймит здесь путь реформы (иноходь!) и осуждает тем самым содержание главы „Хотилов“» [16].

Шутливая ремарка, действительно, не допускает тех слишком прямолинейных толкований, которые давались ей некоторыми исследователями, впрочем, не сторонниками «диалогической» схемы, а... Э. С. Виленской, которая в свое время писала: «Радищев приходит к выводу, что российское самодержавие в лице Екатерины в такой же степени неспособно справиться со стоящими перед Россией задачами, как неспособна почтовая кляча стать скакуном или иноходцем» [17].

Но и сам А. И. Старцев не отрицает, что шутка содержит косвенный намек на несоответствие некоторых постановлений самодержавной власти существующему положению дел: «...Путешественник под шутливым предлогом уклоняется от резкой оценки того, насколько „равенство во гражданах“, предусмотренное в новой табели о рангах, не соответствует „нынешним временам“, то есть режиму екатерининской монархии» [18]. Согласимся с таким истолкова-

---

[15] А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 154.
[16] Там же, стр. 153.
[17] «Исторические записки», т. 34, стр. 316.
[18] А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 153.

нием, только будем вполне последовательны. Табель найден «между многими постановлениями, относящимися к возстановлению по возможности равенства во гражданах». Так, может быть, намек относится и к ним, ко всякой связке «замаранных грязию» бумаг?

Следующим объектом внимания исследователя становится хотиловская «грязь». «Как признак неодобрения Радищевым „Проекта в будущем",— пишет он,— не упускается и то обстоятельство, что бумага, на которой этот проект написан, была „замарана грязью", хотя простой здравый смысл требовал бы учесть, что бумага была поднята на проезжей дороге, „великая грязь" которой специально отмечена в главе „Тосна"»[19].

Простой здравый смысл — вещь, безусловно, превосходная, особенно если он сочетается с точностью в пересказе разбираемых мест. Вот что говорилось в «Тосне» о «великой грязи»: «Поехавши из Петербурга я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней в след Государя. Такова она была действительно, но на малое время. Земля насыпанная на дороге, зделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета, и зделала ее не проходимую» (I, 230).

А. И. Старцеву ничего не сказали эти слова, а между тем исследователю, знающему дух эпохи Радищева, они должны были сказать многое... «Как во времена Екатерины, так и при ее преемниках,— свидетельствует А. Татаринцев,— дорога благоустраивалась лишь для царского выезда»[20]. Напомним и такой факт. На конец 80-х годов приходится заключительная фаза той политики, которую мы именуем политикой «просвещенного абсолютизма». Знаменитое обставленное «потемкинскими деревнями» путешествие Екатерины II в Крым (1787 г.) вызвало целую эпидемию «ласкательной литературы», восторженных песнопений в честь «великой», «августейшей», «всепресветлейшей», «премудрой» и «великодушной» «Матери Отечества». «Оставим Астрономам доказывать, что земля вкруг солнца обращается: наше СОЛНЦЕ вкруг нас ходит, и ходит для того, да мы в благополучии почиваем...,— восклицали слу-

[19] Там же.

[20] А. Татаринцев. Сатирическое воззвание к возмущению. Саратов, 1965, стр. 46.

жители культа Екатерины, растроганные новыми изъявлениями царских милостей.— От края моря Балтийского до края Евксинскаго шествие Твое, да тако ни един из подданных Твоих укрыется благодетельныя теплоты Твоея» (Из «Речи на прибытие е. и. в. в город Мстиславль» архиепископа Георгия 19 января 1787 г.).

Кто знает, может, иной читатель увидит некоторое отношение замечания Радищева о «великой грязи» к картинам того показного благоустройства, которое держалось столь недолго на дорогах России при проездах государей. Вполне возможно, такому читателю покажется не столь уж маловажной еще одна деталь: «замаранные грязию» проекты освобождения путник нашел, поехав «в след Государя».

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что такими только доводами нельзя переубедить наших оппонентов, с абсолютной достоверностью доказать им, что, например, в образе «нечто, седящего во власти на Престоле» изображена Екатерина, что чихание этого «нечто» — издание «Наказа», что речи льстецов из «Спасской полести» или вступление к «Хотилову» — пародия на панегирики екатерининской эпохи, что, рисуя на фоне хотиловской «грязи» тогдашние проекты смягчения рабства, Радищев напоминал о крахе либеральных упований и т. п. Сам Радищев мертв, черновики его почти не сохранились, его современники также мертвы. Но есть одно средство, способное, пожалуй, переубедить даже закоренелых скептиков. Их надо попросить прочесть десять, двадцать, а в особо упорных случаях и сотню-другую «похвальных слов» той эпохи. Тогда, нам кажется, спор пошел бы уже о том, для чего понадобилась Радищеву пародия на панегирики, какой смысл на фоне этой пародии приобретало изложение либеральных проектов, и т. п.

Точно так же невозможно доказать нашим оппонентам, что в каждом отдельном замечании, которое мы толкуем как «скептическое», обязательно и безусловно есть «тайный» смысл. Но если брать такие замечания не порознь, а в их совокупности, не сами по себе, а в единстве с общей композицией книги, то мы непременно установим наличие скепсиса и иронии как раз при изложении либеральных идей.

4. Следует ли при анализе книги Радищева «отмахиваться» от других его произведений?

Одно из обвинений против авторов статьи «О двух оценках „Путешествия из Петербурга в Москву" в советской литературе» гласило: книга рассматривается в отрыве от других сочинений Радищева. «В самом деле,— возмущался И. Я. Щипанов,— как можно, говоря о „Путешествии...", совершенно игнорировать такие труды Радищева, как „Опыт о законодательстве" [21] (1782—1790), „О добродетелях и награждениях" (1780), „Беседа о том, что есть сын отечества" (1789), „Письмо к другу, жительствующему в Тобольске" (1790), „О законоположении" (1801—1802), „Проект для разделения Уложения Российского" (1801—1802), „Проект Гражданского уложения" (1801—1802), „Особые мнения" (1801—1802), „Описание моего владения" (1800—1801), „Осмнадцатое столетие" (1801), „Песнь историческая" (1802) и другие... Тем, кто хочет разобраться по существу в характере „Путешествия..." Радищева, никак не удастся отмахнуться от остальных его произведений...» [22].

Требование ставить «Путешествие» в связь с другими произведениями справедливо, но только не в той редакции, которую придал ему И. Я. Щипанов. Оппонент не допускает и мысли, что взгляды Радищева от произведения к произведению могли изменяться, что он не сразу стал или мог перестать быть революционером. Строго рассуждая, гипотеза о последовательной революционности «Путешествия» должна быть доказана на тексте этого произведения, для чего требуется временно абстрагироваться («отмахнуться», по терминологии И. Я. Щипанова) от других произведений Радищева не только 70-х или 90-х, но и 80-х годов. Лишь завершив разбор «Путешествия», можно переходить к другим произведениям, помня о возможности колебаний, зигзагов в эволюции мыслителя и т. п.

Без соблюдения этого элементарного условия «подключение» других произведений будет только запутывать анализ, что и подтвердила в ходе дискуссии 1955—1958 гг. Э. С. Виленская. Справедливо отметив, что в «Песни исторической» (90-е годы XVIII — начало XIX в.) Ради-

---

[21] У Радищева — «Опыт о законодавстве».— *Авт.*

[22] «Вопросы философии», 1957, № 6, стр. 127.

щев рисует некоторых «образцовых» государей (Траяна, Адриана и особенно Марка Аврелия), она прямо перекинула «мостик» от «Песни» к «Путешествию»: «Таким образом, если при анализе вопроса об отношении Радищева к идее просвещенного абсолютизма рассматривать всю совокупность высказанных им мыслей по этому поводу, то вывод должен быть неминуемо противоположным тому, который сделали Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак и все разделяющие их точку зрения. Радищев, несомненно, воспринял взгляд французских просветителей на монарха как блюстителя законов, и в этом нет ничего зазорного для революционного мыслителя» [23].

Но ведь в сочинениях Радищева 80-х годов никаких «образцовых» государей читатель вообще не находил. «Но царь когда бесстрастен был!»,— восклицал Радищев в оде «Вольность», рассматривая *ту же* эпоху римских императоров.

Столкнувшись с противоречиями в суждениях 80-х и 90-х годов, исследователь должен, казалось бы, поставить вопрос о каких-то сдвигах в мировоззрении писателя. Э. С. Виленская поступает иначе: взгляды одного периода она подгоняет под взгляды другого.

Правда, по мнению Э. С. Виленской, веру в благие намерения царской власти можно обнаружить и в произведениях 80-х годов: «...Авторы изолировали „Путешествие" от других произведений, написанных одновременно,— дополняет она свои аргументы,— и не сочли нужным проверить по ним свои выводы. В частности, они оставили без внимания его экономические статьи, относящиеся к 80-м годам и перекликающиеся с хотиловским „Проектом в будущем"» [24]. Выпад кажется неотразимым, но снова бьет мимо цели. Дело в том, что Радищев писал в 80-е годы *разные по своему характеру* произведения. Будучи чиновником Коммерц-коллегии, он должен был выполнять служебные поручения, писать ряд записок («О таможенных обрядах», «...О запрещении провоза товаров иностранных...», «Записка о податях Петербургской губернии» и т. п.). Искать в подобных произведениях доводов в пользу той или иной трактовки «Путешествия» было бы просто нелепостью.

Именно поэтому, покончив с разбором «Путешествия» и раздвигая рамки анализа, мы сформулируем несколько

---

[23] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 168.
[24] Там же, стр. 165.

элементарных требований. Произведения Радищева нельзя просто сваливать в одну кучу. Следует различать их не только хронологически, но и выделять особо: а) произведения, опубликованные самим Радищевым; б) разного рода служебные докладные записки; в) показания на следствии; г) произведения, авторство которых не представляется достаточно очевидным; д) произведения, не завершенные или не опубликованные по каким-то неизвестным нам причинам.

Тогда группа «а» даст для наших споров безусловно доказательный материал, остальные могут служить лишь для построения тех или иных предположений.

5. Краткая справка о предыстории «Путешествия»

Радищев начал свою литературную деятельность с перевода «Размышлений о греческой истории» Мабли — одного из радикальных произведений эпохи французского Просвещения.

Собственно Радищеву принадлежит в «Размышлениях» важное примечание. Мысль Мабли о том, что в Македонии монархии не перешли еще в «самодержавство», вызывает его реплику: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние... Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народнаго общества» (II, 282).

Перед нами все исходные теоретические посылки революционных идей оды «Вольность» [25], но автор примечания еще не делает из посылок революционных выводов. Он осуждает самодержавие, но не монархию, восстает против неправосудного государя, но государя «правосудного» именует «первым гражданином народнаго общества». Короче, молодому Радищеву, несмотря на весь его радикализм, не чужды были определенные монархические иллюзии. В целом, если брать в виде «эталона» градацию взглядов положительных

---

[25] См. об этом подробнее: А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 19—34,

героев «Путешествия», Радищев в конце 70-х годов оставался на уровне представлений Крестьянкина из главы «Зайцово», но еще не поднялся до уровня взглядов стихотворца из «Твери».

Следующий этап его эволюции связан с написанием «Письма к другу, жительствующему в Тобольске» (1782 г., впервые опубликовано в 1790 г.). Говоря об истреблении Петром I последних признаков «дикой вольности своего отечества», Радищев ставит более общий вопрос: а могут ли цари вообще утверждать «вольность частную»? Мы уже неоднократно ссылались на его категорический ответ: «...Нет и доскончания мира, примера может быть небудет, чтобы Царь упустил добровольно, что либо из своея власти, седяй на престоле» (I, 151). Перетолковать эти слова в каком-то «монархически-реформистском» духе нельзя при всем желании. Писатель, очевидно, изжил к 1782 г. монархические иллюзии.

Если добавить, что примерно в те же годы написаны ода «Вольность» и «Слово о Ломоносове», то мы придем к следующему заключению. В указанных трех произведениях содержатся все исходные посылки замысла «Путешествия» — вольность даруется не «сверху» («Письмо»), а «снизу» («Вольность»); четко осознана и задача литературы — пропаганда революционных идей («Слово о Ломоносове»). Эти моменты будут развиты в «Путешествии»: вольность даруется не «сверху» («Спасская полесть», «Хотилов», «Выдропуск», «Медное»), а «снизу» («Тверь», «Городня»). Будет полностью воспроизведена в книге и концепция революционного просвещения («Слово о Ломоносове»).

6. «Беседа о том, что есть сын отечества»

«Беседа о том, что есть сын отечества» была напечатана в журнале «Беседующий гражданин» в 1789 г. Принадлежность ее Радищеву установлена по мемуарам его современника, члена тогдашнего петербургского Общества друзей словесных наук С. А. Тучкова [26]. Выделить это произведение из ряда других заставляет ряд обстоятельств. Нельзя с абсолютной достоверностью считать одного только Радищева автором этого произведения. Неточности в мемуарной литературе — вещь обычная, тем более, что Тучков с сере-

[26] См. «Записки С. А. Тучкова 1766—1808», СПб., 1908, стр. 42—43.

дины 1789 г. по декабрь вообще не был в Петербурге. Довод П. Е. Щеголева и комментаторов I тома полного собрания сочинений Радищева, указавших на ряд совпадений «Беседы» с другими сочинениями Радищева (I, 470), не выдерживает критики. В «Беседе» есть места не только созвучные радищевской мысли и стилю. Монарх именуется здесь «Отцом Народа», в «Вольности» же писатель призывал «задавить» хищного зверя, «что чтил слепец своим отцем». В «Беседе» богомудрые монархи сеют свет «просвещения», в «Вольности» — «призраки, тьму» и т. д.

Но что можно сказать о «Беседе» в целом? В числе идей, созвучных революционной концепции писателя, отметим трактовку понятий «сын отечества», «патриот», противопоставленную официальной доктрине. Сынами отечества, утверждает автор «Беседы», не могут считаться угнетенные и униженные рабы, лишенные разума, потерявшие облик человека. Сынами отечества не могут быть и угнетатели, умножающие свое имение за счет других, лишающие своих сограждан убежища и пропитания, разного рода гурманы и вертопрахи. Сынами отечества не являются и те, кто величаво поднимает на твердь небесную свой взор, кто попирает ногами всех, терзает ближних своих «насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством» или «раздирает» людей, осмелившихся произнести слова «человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность» (т. е. самодержец и его слуги). Созвучна главе «Медное» мысль о том, каким образом рабы могут вернуть себе человеческий облик: «...Случается иногда, что жестокая печаль, обьяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума, и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца...» (I, 215—217).

Напротив, резко противоречит концепции Радищева 80-х годов, во-первых, прямое отождествление отечества с монархией. Во-вторых, в «благородство», как качество патриота, включается повиновение «законам и блюстителям оных», «придержащим властям», государям — «Отцам Народа». В-третьих, утверждая необходимость воспитания у граждан истинных качеств патриота, автор ссылается на опыт «просвещенного абсолютизма»: «...В наших глазах род таковаго точно воспитания, и на сих правилах основаннаго введен Богомудрыми Монархами, и просвещенная Европа

с изумлением видит успехи онаго, возходящие к предположенной цели исполинскими шагами!» (I, 220—223).

Советские исследователи, выделяя демократическое содержание изложенной здесь концепции патриотизма, либо вообще обходят мысли иного порядка, либо объясняют их исключительно цензурными условиями. Последний момент важен — о цензурных затруднениях при публикации «Бесед» упоминает Тучков [27].

Но, нам кажется, нельзя сводить дело только к цензуре. Мы знаем, что «Письмо к другу» или «Житие Ф. В. Ушакова», да и само «Путешествие» Радищев сумел провести через цензуру, ничуть не поступаясь своими принципиальными взглядами. Гораздо существеннее то, что материалы, печатаемые Обществом друзей словесных наук, читались и обсуждались, согласно его уставу, членами общества (Тучков прямо свидетельствует, что «Беседа» получила их одобрение).

Чтобы провести свое в общем и целом демократическое произведение, так сказать, через двойную цензуру — цензуру царскую и цензуру «друзей», очевидно, не доросших до его революционности, Радищеву, возможно, пришлось пойти на ряд принципиальных уступок. Любопытно, что в записях Тучкова улавливается разница в оценке «Беседы» и «Путешествия». О первой говорится, что она прошла цензуру, о втором — что оно печаталось вообще «без цензуры» (?); о первой сказано, что написана она с «вольностью духа», о книге под названием «Езда (?) из Петербурга в Москву» — несколько иначе: «с великою вольностию, в сильных выражениях писал он противу деспотизма» [28] (отмеченные ошибки еще раз подтверждают недостаточную осведомленность Тучкова о событиях).

7. «Опыт о законодавстве»

«Опыт о законодавстве» занимает также особое место среди произведений Радищева. Датировка его (1782—1790 гг.) устанавливается предположительно (по водяным

[27] «Члены (общества.— *Авт.*), хотя одобрили оное, но не надеялись, чтоб цензура пропустила сочинение, писанное с такою вольностью духа. Г. Радищев взял на себя отвезти все издания того месяца к ценсору, и успел в том, что сочинение его, вместе с другими, было позволено для напечатания» («Записки С. А. Тучкова», стр. 42—43).

[28] Там же.

знакам на бумаге). О непосредственной цели его написания мы ничего не знаем. Произведение не было закончено писателем до ареста.

В «Опыте» изложены основания теории естественного права. Повторяя мысли, знакомые по оде «Вольность», Радищев объявляет целью закона обеспечение «природной вольности», поскольку то может дозволить общее благо. Неудобства российских законоположений противопоставляются прославленному законодательству Англии, причем с очень характерным радищевским замечанием насчет путей достижения ею идеального порядка: «К блаженству ея возник в сердцах ея сограждан дух вольности от стеснения меры превосходящего» (III, 8). Следует напоминание о бесплодности попыток Екатерины устранить царящие в России неудобства: «Сему намерена была пособить ныне царствующая императрица, изданием новаго уложения. Но важнейшия может быть дела отвратили ее до сих пор от того внимание» (III, 8).

Затем Радищев излагает «смысл до селе изданных в России законов». «В России,— пишет он,— находим два члена общества: государь и народ. Права перваго, поелику он уже царствует, произтекают от его власти, и определяются его волею. Права второго основание свое имеют в дозволении перваго» (III, 9). Но обратный принцип, как показывает следующее рассуждение автора, защищает закон естественный: «...Соборная народа власть есть власть первоначальная, а потому власть вышшая, единая, состав общества основати или разрушить могущая... Соборному деянию народа власть народом постановленная, хотя всего превыше, не может назначить ни пути, ни предела» (III, 10, 11).

Чтобы яснее представить себе конкретный смысл и звучание этого, казалось бы, абстрактного положения, сошлемся хотя бы на знаменитую декларацию конгресса штата Виргиния (1776 г.): «Народ есть верховный обладатель всякой власти; следовательно, всякая власть имеет своим источником волю народа. Лица, располагающие правительственной властью во всех ее формах, представляют собой доверенных лиц и слуг народа и всегда могут быть призваны народом к ответу»[29]. А вот аналогичный пункт из

[29] Цит. по кн.: А. М. Деборин. Социально-политические учения нового времени, т. I. М., 1958, стр. 416.

французской Декларации прав человека и гражданина: «Всякая Верховная власть имеет основание свое в Народе; и ни какое общество властительствовать не может, не заимствуя Власти от Народа» [30].

Далее Радищев показывает, что и естественные и законные права отдельных лиц не все соблюдены в России. Пункт 13 гласит: «Право собственности состоит в невозбранном и полезном употреблении своего имения. Сие право не есть всеобщее в России» (III, 14).

Особенно интересна глава «О государе». В России, отмечает Радищев, самодержавный государь «...может все делать по своему произволу, но то, что начинает, не имея хотя деянием своим положительных правил, должен творить в пользу общую, ибо какой предлог самодержавнаго правления? не тот, чтобы у людей отнять естественную вольность: но чтобы действия их направить к получению большаго ото всех добра» (III, 15).

Кажется, впервые мы получаем возможность счесть автора приверженцем доктрины «просвещенного абсолютизма»: отказываясь от собственной оценки «самодержавства» как «напротивнейшего человеческому естеству состояния», он объявляет именно самодержца защитником общего блага! Но обращение к источникам показывает, что перед нами почти дословно переписанный писателем п. 13 «Наказа Самодержицы Всероссийской» [31]. Напомним, что воспроизведенная здесь Радищевым концепция «Наказа» — самодержавный государь «должен творить в пользу общую» — перекликается как с текстом «Хотилова» и «Выдропуска», где государи творили подвиги «на пользу общую», так и с последующей характеристикой священного и политического суеверия в оде «Вольность»:

Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
На пользу общую,— рекут.

И если в оде «Вольность» за этим следовало описание народного суда над самодержцем, который «безгласными поверг все правы» (I,6), то и в «Опыте о законодавстве» следующее за п. 13 «Наказа» положение обосновывает законность свержения царя — узурпатора народных прав:

[30] Цит. по «СПб. ведомостям», 1789, № 74, стр. 1168.
[31] См. «Наказ», стр. 5.

«Отъявый единое из сих прав (речь идет об имении, чести, вольности, жизни.— *Авт.*) у гражданина, государь нарушает первоначальное условие и теряет, имея скиптр в руках, право ко престолу» (III, 15).

Еще раз подчеркнем, что перед нами не простое сравнение идей «Наказа» с абстрактными принципами просветительской теории. Все без исключения пункты теории, которые Радищев противопоставляет существующему в России законодательству или неосуществленным статьям «Наказа», получили реальное воплощение в законодательных актах сначала американской, затем французской революций. Столкновение основ естественного права с основами существующего в России законодательства означало в те годы сопоставление двух исторических практик: бесплодной практики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II и победоносной практики американской и французской революций, воплотивших, как казалось современникам, принципы теории естественного права в положительный закон.

8. Служебные проекты и переписка Радищева 80-х годов

Большинство служебных записок Радищева (III, 51—93) не имеет отношения к спорным проблемам. В. В. Пугачев, специально искавший монархические иллюзии у Радищева 80-х годов [32], обнаружил таковые лишь в письме Радищева к его начальнику А. Р. Воронцову от 7 июня 1787 г. Сообщая Воронцову о получении иностранных книг, Радищев называл среди них «Henri IV peint par lui-même», которая «содержит две речи сего благомыслящаго государя, в коих добрая его душа без надменности обнаруживается» (III, 329).

На наш взгляд, считать эту фразу свидетельством монархических иллюзий нельзя не только по причине ее краткости, но хотя бы потому, что А. Р. Воронцов никогда не был политическим единомышленником Радищева, в письмах к нему 80-х годов выдержан сугубо деловой тон. Объективности ради следует привести и скептические нотки в адрес «добродетельных государей» из того же письма. Сообщая Воронцову о книге «Joseph II», Радищев добавляет:

---

[32] В. В. Пугачев. А. Н. Радищев и французская революция.— «Ученые записки Горьковского ун-та», вып. 52. Серия историко-филол., 1961, стр. 271.

«может быть, то, что в книге сей писано, и не лживо, но хорошо хвалить царей по смерти, ибо хвала тогда будет беспристрастна» (III, 329).

Более существенно другое высказывание Радищева из незавершенной «Записки о податях Петербургской губернии». Общий тон записки — явно критический, она вскрывает коренные неустройства существующей податной системы. Особо тягостно положение помещичьих крестьян: «Оклад крестьянина есть прихоть помещика, а мера онаго его корыстолюбие и безкорыстность». С общим критическим тоном записки дисгармонирует, правда, одно положение. Указ Екатерины II об отсрочке уплаты недоимок дает Радищеву повод заявить о благих намерениях верховной власти: «Разположение недоимок взысканием на 20 лет суть доказательства, сколько блага народное правительству драгоценно и сколько оно жестоких средств гнушается» (III, 118).

Но напомним, что записка готовилась (как полагают комментаторы) для служебных целей, в связи с образованием в 1786 г. комиссии, утверждавшей план «приращения» государственных доходов; членом комиссии был А. Р. Воронцов (III, 588—591).

Среди других незавершенных записок Радищева 80-х годов имеется «Описание Петербургской губернии», также содержащее крайне резкие выпады против крепостничества (III, 131). Однако никаких конкретных мер для облегчения участи крестьян (аналогичных «Проекту в будущем») записка не предлагает.

9. Показания Радищева на следствии

Особого рассмотрения требуют материалы процесса Радищева. Недопустимо использовать показания революционера, данные в застенках, для характеристики его мировоззрения, что делали некоторые дореволюционные авторы. «Признания Радищева чрезвычайно любопытны,— утверждал М. Н. Лонгинов.— Из них видно, что это был вовсе не республиканец, не якобинец, не атеист, даже не систематический противник тогдашнего правительства или Екатерины» [33]. Но неправильно и отбрасывать показания: они су-

---

[33] См. «Историческая хрестоматия», вып. XV, стр. 200.

щественно дополняют — при правильном подходе — представление об облике, поведении узника.

Часть советских историков, не принимая всерьез многих признаний Радищева, сделанных явно в целях самозащиты, иначе относятся к его свидетельству о том, что в «Путешествии» он желал содействовать освобождению крестьян «сверху», надеясь на «добрую волю» Екатерины II,

«Изложение вопроса об освобождении крестьян,— пишет Л. Б. Светлов,— даже в покаянной Радищева приобрело характер призыва к царскому правительству непременно осуществить это важнейшее государственное преобразование. Радищев писал здесь: „В проекте о освобождении крестьян помещичьих я мечтал, признаюсь, как может быть оно постепенно; ибо уверен в душе моей, что запретившей покупку деревень к заводам и фабрикам законоположнице, что начертавшей перстом мягкосердия меру работ приписанным к заводам крестьянам, что давшей крестьянину судию из среды его, мысль освобождения крестьян помещичьих если не исполнена, то потому, что вящшие тому препятствуют соображения". Комплименты, которыми Радищев был вынужден скрыть свою мысль, не могут умалить значения этих строк, особенно учитывая, в каких условиях они написаны» [34].

Рассмотрим внимательно эту часть показаний, включая и опущенные Л. Б. Светловым материалы допросов 8, 9 и 10 июля 1790 г.

На вопрос Шешковского: «Почему вы в насмехательном виде писали о блаженстве и даете чувствовать, что онаго нет?» Радищев отвечал: «Все описанные в книге листы, начиная от 236 по 277 (речь идет о „Хотилове" и „Вышнем Волочке".— *Авт.*), написаны им подлинно; как теперь он сам понимает, должно казаться, что я писал с насмешкою, и с тем намерением, что желание мое стремилось всех крестьян от помещиков отобрать и сделать их вольными...» [35].

Как уже отметил Я. Л. Барсков [36], показания точно соответствуют замечаниям Екатерины, которая, читая «Хотилов», установила два факта: 1) что здесь «в насмехательном виде говорится о блаженстве и дается чувствовать, что

[34] Л. Б. Светлов. А. Н. Радищев, стр. 107.
[35] Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 179—180.
[36] Я. Л. Барсков. «Материалы к изучению „Путешествия..."». «Academia», 1935, стр. 426.

онаго нету» и 2) что автор проекта «уговаривает помещиков освободить крестьян». Радищев отвечает на вопрос Шешковского буквальным повторением слов Екатерины. Более того, композиция хотиловского манифеста, изложенного в форме обращения царя к помещикам, и детальное знание крестьянской политики Екатерины дают обвиняемому возможность найти «смягчающие» обстоятельства: «...Однако ж располагал он так в мыслях своих, что-де сие сделано будет по воле всемилостивейшей государыни... чему уже есть и начало: о крестьянах при заводах и фабриках поставлены правила как с ними поступать, кто их купит, а солдат без суда сечь запрещено...». В показания вклиниваются упоминания о тяжести солдатской службы — это также ответ на замечание Екатерины: «...сочинитель намерен говорить о крестьянах и их неволе и о войск, кои в неволи же по причине строя и стройность...», причем Радищев допускает сознательную передержку: в «Хотилове» говорится не о тяжести солдатской службы, а нарисована под видом «пространного воинского стана» (I, 315—316) картина царящего в стране деспотизма. После такой интерпретации «Проекта в будущем» писатель заодно подправляет и смысл «Медного»: и здесь, оказывается, имеются в виду меры «высшей императорской власти»[37].

Перед нами не еще один «призыв к царскому правительству», а пример замечательной тактики узника. Он признает на следствии то, что замечено Екатериной, затем делает попытку смягчить тяжесть уже установленных фактов. Раньше-де ему и в голову не приходил истинный смысл написанного, его желание освободить крестьян было «сродно» человеколюбию Екатерины, что касается крамольной оды «Вольность», то вся она почерпнута из «разных книг», а ее картины «взяты с худых царей», его осуждение помещиков было только по поводу «частных случаев», а не вообще, да и сам он был в «безумии», поддавшись слогу Рейналя и возымев тщеславное намерение «прослыть писателем», и т. д. и т. п. Кстати, авторам буквальных истолкований покаянной Радищева не мешает напомнить, что сам писатель говорил уже в сибирской ссылке по поводу таких «признаний»: «...Я признаюсь в превратности моих мыслей охотно, если меня убедят доводами, лучше тех, которые в сем случае употреблены были. А на таковые я в возра-

[37] Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 162, 180, 182.

жение, как Автор, другого сказать не умел, как что сказал, помню, что Галлилей отрекся от доказательств своих о неподвижности солнца, и, следуя глаголу Инквизиции, воскрикнул вопреки здравого рассудка: солнце коловращается» (II, 5).

10. О пользе логической последовательности в научном исследовании

«Время отличит то, что мы думали, от того, что мы говорили»,— писал один из вождей «Энциклопедии», Даламбер. Но чтобы совершенно неизбежное в исследовательской литературе «додумывание» и «домысливание» за автора не превратилось в выдумывание или примысливание писателям прошлого того, что они вообще не думали, требуется (помимо знания эпохи, тщательного текстологического анализа, использования мемуаров и т. д.) строжайшая логическая последовательность в постановке вопросов.

Но как раз на логику поиска не обращают никакого внимания авторы иных исследовательских работ. Начнем с А. И. Старцева. О Радищеве-политике 80-х годов исследователь пишет: «Тезис Радищева о неуступчивости царей в „Письме к другу", взятый как политическое высказывание, обозначал, что Радищев считает безнадежными всякие расчеты на уступки абсолютизма, на возможность компромисса с ним. Общая картина антимонархической и антифеодальной революции была нарисована Радищевым в оде „Вольность"... Там были последовательно изображены: свержение монархической власти в результате народного восстания, казнь монарха как политического преступника и установление демократической республики. „Вольность" была написана примерно в те же годы, что и „Письмо к другу", и, в полном согласии с тезисом, завершающим „Письмо к другу", в ней нет места для уступчивых монархов и для соглашений в борьбе с абсолютизмом за политическую власть. В „Житии Ушакова", написанном в 1788 году, в канун революционных событий во Франции, Радищев высказал ряд дополнительных соображений о политической агрессивности самодержавия, тесно связанных с этой отчетливо революционной концепцией» [38].

Мысли Радищева-политика в 80-е годы обозначены А. И. Старцевым достаточно точно, исключая, пожалуй,

---

[38] А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 176.

«Житие Ф. В. Ушакова», революционность которого явно приглушена (Радищев говорит здесь не только об «агрессивности» самодержавия, но и проклинает людей, пытающихся снять «завесу с очей власти»).

Но будем — в отличие от А. И. Старцева — логичны в дальнейших рассуждениях. Все указанные произведения писались одновременно с «Путешествием», ода «Вольность» вошла в его состав. Казалось бы, можно предполагать: тот же круг мыслей (идея неуступчивости царей. понимание безнадежности всяких расчетов на компромисс с абсолютизмом и т. п.) заключен и в «Путешествии». Но обнаружив в «Путешествии» сюжетные мотивы, «связанные по форме с концепцией „просвещенного абсолютизма“ (сон в „Спасской полести“, царские манифесты в „Хотилове“ и „Выдропуске“» и «кратко изложенный в заключительной части той же главы („Хотилов“.— *Авт.*) проект реформы, предусматривающий отмену крепостного права в условиях абсолютной монархии» [39], А. И. Старцев, вместо того чтобы обнажить вопиющие противоречия (либо в трудах Радищева, либо в собственном своем труде), спокойно выдает эти идеи за идеал самого Радищева. Далее выстраивается целая серия умозрительных аргументов, призванных подтвердить, что все эти мотивы лишь «как бы» (!) противоречат революционной позиции автора. Между тем А. И. Старцеву достаточно было просто положить рядом страницы 137 и 176 своего труда, чтобы обнаружилась совершенная немыслимость приписанных Радищеву противоречий, ибо нельзя в одно и то же время считать безнадежными всякие расчеты на уступки абсолютизма и рассчитывать на освобождение народа в условиях «абсолютной монархии», не видеть никаких уступчивых монархов и проповедовать концепцию «просвещенного абсолютизма».

Другой пример. Известно, что уже в 70-е годы, питая иллюзии относительно «добрых монархов», Радищев совершенно непримиримо относится к самодержавию — «наипротивнейшему человеческому естеству состоянию». Известно и другое — в 80-х годах в своем «Опыте о законодавстве» Радищев как будто именно самодержавие объявляет блюстителем вольности и всеобщего блага: «Предлог самодержавнаго правления... не тот, чтобы у людей отнять естественную вольность: но чтобы действия их направить к полу-

[39] А. И. Старцев. Указ. соч., стр. 137.

чению большаго ото всех добра» (II, 282; III, 15). Большинство исследователей, сталкиваясь с подобным противоречием между высказываниями Радищева 70-х и 80-х годов, тем более необъяснимым, что Радищев в 80-е годы эволюционировал явно влево, попросту замалчивают этот логически необъяснимый факт. Некоторые начинают строить искусственные конструкции, доказывая, что в 80-е (!) годы единодержавная власть еще не отрицается писателем, «но рассматривается как исполнительная (!), находящаяся под контролем суверенного (!) народа» [40]. Между тем единственное, что следовало сделать, следуя элементарной логике, это: а) выявить, обнажить немыслимое противоречие, б) поставить задачу более углубленного анализа. И мы вполне уверены, что разгадка (второе положение является выпиской из «Наказа» Екатерины) была бы найдена без особого труда.

Переходя к логическим неувязкам в анализе центрального пункта разногласий — главы «Хотилов», можно привести буквально десятки примеров того, как сторонники старого подхода к «Путешествию» фактически опровергают сами себя. В. Н. Орлов предупреждает: «...Не следует забывать (как это часто делается в последнее время), что и сам Радищев... допускал возможность „постепенного освобождения" крестьян по инициативе верховной власти» и сам же фактически утверждает правоту оппонентов: Радищев «не питал никаких (!) иллюзий насчет „философа на троне..."» [41]. Д. Д. Благой признает, что вся книга Радищева утверждала одну мысль: нет «добрых» и «злых» царей, как нет «добрых» и «злонравных» помещиков: «царская власть сама по себе является безусловным злом». И тот же Д. Д. Благой, обратившись к главе «Хотилов», пишет, что Радищев «высказывал надежду на возможность уничтожения крепостничества сверху...» [42]. Э. С. Виленская, ссылаясь на ироническую концовку «Хотилова», приходит к выводу, что, по мнению Радищева, «...российское самодержавие в лице Екатерины в такой же степени неспособно справиться со стоящими перед Россией задачами, как неспособна почтовая кляча стать скакуном или иноходцем».

---

[40] См. Ю. М. Лотман. Был ли А. Н. Радищев дворянским революционером? — «Вопросы философии», 1956, № 3, стр. 168.

[41] Вл. Орлов. Русские просветители 1790—1800 годов. М., 1953, стр. 188, 15. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

[42] В кн.: «А. Радищев. Избранное», М., 1959, стр. 278—279.

Но глава в целом по-прежнему трактуется как... свидетельство неутраченной Радищевым веры в то, что «крепостное право может быть уничтожено путем реформы „сверху"».

Получается, в тех или иных ее вариантах, старая, разрушившая сама себя формула В. П. Семенникова: только революция — и вместе с тем реформы для предотвращения революции; никаких надежд на «просвещенный абсолютизм» — и вместе с тем надежды на него; неверие в «благонамеренность» крепостников — и вместе с тем вера в эту благонамеренность. Одно из двух: либо недомыслие было свойственно самому Радищеву в 80-е годы, и об этом надо писать прямо, либо Радищева до сих пор недопонимают некоторые исследователи, и им надо заново, глубже, чем ранее, изучать тексты. Выбор становится неминуемым — стоит только быть логичным до конца.

В том-то и дело, что объективное содержание «Путешествия» говорит в этих оценках само за себя. Главы «Медное», «Тверь» исключают наличие в «Путешествии» иллюзий насчет «философа на троне», и, объективно оценивая их содержание, В. Н. Орлов, Д. Д. Благой, Э. С. Виленская и др. по существу отвергают и свою собственную версию о принадлежности Радищеву хотиловских иллюзий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЗА И ПРОТИВ НОВОЙ ГИПОТЕЗЫ. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

«...Наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства. Всю историю надо изучать заново...».

Ф. Энгельс *

1. Может ли быть революционером «идеалист в понимании истории»?

Часто говорят: у Радищева в «Путешествии» не могло не быть реформистских иллюзий (иногда их именуют «просветительскими»), ибо он оставался «идеалистом в области истории». «Почему же революционер Радищев все же выдвигал и проект решения крестьянского вопроса путем реформ? Чем объяснить эту непоследовательность? — спрашивала Е. В. Приказчикова.— Дело в том, что, будучи материалистом в философии (надо —„в понимании природы".— *Авт.*), Радищев оставался идеалистом в понимании общественного развития. Переоценка всеми просветителями XVIII в. силы и роли человеческого разума в преодолении общественных противоречий не осталась чужда и Радищеву... Радищев не верил в благодетельность „просвещенного абсолютизма" и вместе с тем проявлял некоторые колебания в сторону иллюзий о возможности (какая тонкость в оценке! — *Авт.*) убедить представителей власти в необходимости справедливого решения крестьянского вопроса» [1].

О том, что «действие разума над разумом» Радищев понимал вовсе не в духе вразумления «представителей власти», мы говорили достаточно подробно, скажем несколько слов о принципиальной стороне дела.

Уровень теоретических представлений того или иного революционера, безусловно, определял в той или иной мере

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 371.

[1] Е. В. Приказчикова. Экономические взгляды А. Н. Радищева, стр. 81.

степень последовательности его идей и действий. Идеализм в понимании общественных явлений, если говорить вообще, мог порождать и действительно порождал преувеличенные надежды на просвещение «верхов». Но следует решительно возразить против абсолютизации как такой зависимости, так и самого тезиса об идеализме мыслителей XVIII в.

Следуя логике Е. В. Приказчиковой, следовало бы признать, что до Маркса и Энгельса, открывших материалистическое понимание истории, было немыслимо вообще появление последовательных революционеров. Но если бескомпромиссное отношение к «верхам» было немыслимо для Радищева, видевшего банкротство политики «просвещенного абсолютизма», жившего во времена непрекращавшихся крестьянских волнений в России и великих революций на Западе, то как тогда объяснить «не знающий компромисса демократизм и революционность» Жана Мелье (1664—1729 гг.)? [2]

Фигуры Мелье и Радищева никак не укладываются в прокрустово ложе узких определений: просветитель — «реформист». И тот и другой принадлежали, если оперировать наиболее общими определениями, к эпохе Просвещения XVIII в. И тот и другой, без всякого сомнения, остались идеалистами в понимании общественных событий. И тот и другой были, безусловно, последовательными революционными демократами. Мелье, как и Радищев, был беспощаден к угнетателям: «Никакая ненависть, никакое отвращение не будут чрезмерны по отношению к людям, которые являются виновниками стольких зол и повсеместно эксплуатируют других» [3]. Б. Ф. Поршнев отмечает: «Идея необходимости широчайшей и радикальной народной революции скорее однородна у Мелье с подобной идеей у Радищева и русских революционных демократов» [4]. Много сходного и в судьбе «Завещания» и «Путешествия» — запрет и нелегальное распространение в рукописях.

Появление последовательной революционности у мыслителей, остающихся идеалистами в понимании общественных процессов, объясняется прежде всего остротой классовых антагонизмов в стране, заставляющих признать непримири-

---

[2] Ж. Мелье. Завещание, т. I. М., 1954. Вступ. статья В. П. Волгина, стр. 23.

[3] Там же, стр. 72.

[4] Сб. «Из истории социально-политических идей. К 75-летию акад. В. П. Волгина». М., 1955, стр. 227.

мость интересов угнетенного и господствующего классов. «Революционно-демократическая страстность, так резко выделяющая „Завещание" Мелье из всей социалистической и материалистической литературы XVIII века,— пишет В. П. Волгин,— порождена, несомненно, социальными отношениями французской деревни» [5].

Подобными же отношениями порождена и революционно-демократическая страстность Радищева. Что же касается его идеализма, то следует также сделать существенную оговорку.

«...Идеалистическое понимание истории,— писал Энгельс,— не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах, и вообще никаких материальных интересов; производство и все экономические отношения упоминались лишь между прочим, как второстепенные элементы „истории культуры"» [6].

Спросим теперь: можно ли безоговорочно применять это положение, скажем, к Гельвецию, который пытался объяснить переход людей к цивилизации развитием материальных потребностей людей, к Гельвецию, который учил, что «ум является сыном нужды и интереса»? Можно ли безоговорочно применять это положение, скажем, к Руссо, который, пытаясь исторически подойти к происхождению неравенства, связывал возникновение «противоположности интересов» людей с появлением частной собственности, созданной изобретением новых орудий производства и новых искусств — обработки металлов и земледелия? А ведь Радищев был прямым учеником Гельвеция и Руссо. Основы социологических представлений Радищева, как и его учителей, покоились на идеалистической теории естественного права. Но нельзя не видеть и у него в ряде мест выхода за рамки этой теории. Он понял решающее обстоятельство: корыстолюбие господствующих классов нельзя преодолеть уговорами, интерес «великих отчинников» сильнее доводов ума и сердца. Вряд ли можно вместить в узкую формулу «идеализм в понимании общественного развития» следующее положение Радищева, восходящее к Руссо: «...Земледелие произвело раздел земли на области и государства, построило деревни и города, изобрело ремесла, рукоделия, торговлю, устройство, законы, правления. Как скоро

---

[5] Ж. Мелье. Указ. соч., стр. 51.
[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 25.

сказал человек: сия пядень земли моя! он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластию, когда человек повелевает человеком. Он стал кланяться воздвигнутому им самим богу, и, облекши его багряницею, поставил на олтаре превыше всех, воскурил ему фимиам: но наскучив своею мечтою и стряхнув оковы свои и плен, попрал обоготворенного и преторг его дыхание. Вот шествие разума человеческого» (II, 64).

То, что формированию радикальной политической концепции Радищева помогли материалистические догадки Гельвеция и Руссо, не представляет никаких сомнений.

2. Может ли быть революционером сторонник теории «общественного договора»?

Иногда разобранное нами возражение принимает несколько видоизмененную форму. Радищев, заявляют противники новой гипотезы, исповедовал, как и большинство мыслителей XVIII в., идеалистическую теорию «общественного договора». Формальное признание в рамках этой теории права народов на восстание против правителей, нарушивших договор, предполагало веру в «правосудных» монархов, обеспечивающих права и благополучие народа.

В оде «Вольность», напоминала Э. С. Виленская, Радищев так изложил «свой взгляд на происхождение власти монарха, его права и обязанности:

Тебя облек я во порфиру
Равенство в обществе блюсти,
Вдовицу призирать и сиру,
От бед невинность чтоб спасти...

Радищев выступает не против монарха как такового,— заключала она,— а против неправосудного царя, нарушившего „безмолвный договор“, забывшего „клятву данну“... Радищев, несомненно, воспринял взгляд французских просветителей на монарха как блюстителя законов, и в этом нет ничего зазорного для революционного мыслителя»[7].

Из приведенной строфы ясно видно: Радищев разделяет теорию «общественного договора». Но из общепринятой его формулы (люди, переходя из «естественного состояния» в гражданское, наделяют правителя властью для защиты об-

[7] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 167—168.

щих интересов, если правитель нарушил «договор», народ вправе свергнуть его) в истории Просвещения делались глубоко различные выводы.

Сторонники умеренно-либеральных концепций, признавая право народа на смещение монарха, нарушившего договор, видели в этом праве средство «образумить» тиранов, самый веский аргумент в пользу строгого соблюдения принципов «умеренной» монархии. «Законная» (на манер революции 1688 г.) смена монарха, нарушившего «договор», монархом, соблюдающим его,— таков, пожалуй, предел революционности этого направления, достигнутый в трудах родоначальника европейского либерализма Дж. Локка.

Напротив, представители революционно-демократических тенденций в антифеодальной идеологии XVIII в., исходя из этой же самой формулы «общественного договора», утверждали необходимость практических революционных действий снизу против узурпаторов народных прав, искали действенных путей и средств воплощения в жизнь принципа народного суверенитета.

Нетрудно установить причины такого сдвига в интерпретации естественноправовых доктрин. Основным противоречием просветительской идеологии XVIII в. было противоречие между революционными по своему характеру требованиями, направленными на ниспровержение всего феодально-крепостнического строя, и упованиями на мирный путь их проведения в жизнь — руками коронованного феодала. Несомненна и связь этого противоречия с идеализмом просветителей в понимании исторических событий, с переоценкой ими роли идей, разума, просвещения и недооценкой роли материальных интересов.

Некоторые из монархов — Фридрих II, Иосиф II, Екатерина II — горячо откликнулись на призывы просветителей. Выхолостив из их теорий антифеодальное содержание, они свели эти теории к болтовне о «разумном» монархе — блюстителе народного блага, сделали из них лишнее средство укрепления пошатнувшегося престижа абсолютной власти.

В этих условиях в Просвещении XVIII в. начинается очень сложный процесс столкновения идеалистических концепций с жизнью, процесс изживания либерально-монархических иллюзий. Как отмечал Г. В. Плеханов, именно в предреволюционные годы в теории французских просветителей проникает «значительная доза пессимизма» в отноше-

нии выбора путей освобождения народа[8]. Особенно ярко это видно на примере Гельвеция, которого к 70-м годам уже покинула вера в возможность просвещения французских королей, но который не видит иных путей освобождения. То признавая прогрессивность и освободительный характер народных революций, то связывая с ними регресс общества и заявляя, что день восстания будет для рабов лишь долгожданным днем мести, а не освобождения, то полагая, что гнет деспотизма вызовет в народе мужество, необходимое для избавления от ярма, то, напротив, утверждая, что деспотизм превращает людей в покорных рабов, Гельвеций кончил тем, что объявил болезнь, для борьбы с которой он «рассчитывал дать известное лекарство», вообще «неисцелимой». «Эта опустившаяся нация,— писал он о Франции,— есть теперь предмет презрения для всей Европы. Никакой спасительный кризис не вернет ей свободы». Но если «небо юга» Европы все более заволакивалось «туманами суеверия и азиатского деспотизма», зато, по его мнению, все больше прояснялось «небо севера», где «Екатерина II, Фридрих желают стать любимцами человечества...»[9].

Несколько лет спустя на север, к Екатерине, отправился Дидро. Сопоставив действительное положение страны с царскими обещаниями, он вскрыл в своих «Замечаниях на „Наказ"» (1774 г.) вопиющее несоответствие слов и дел Екатерины: «Я вижу там деспота, отрекшегося на словах, но деспотизм по существу остался, хотя он и именуется монархией. Я не вижу здесь ни одного постановления, которое было бы направлено на освобождение массы народа»[10]. Правда, Дидро еще не оставляет надежд, что со временем императрица, обладающая «великой душой, проницательностью, просвещением, широким умом, справедливостью, добротой, терпением и твердостью», поймет его доводы[11]. Но подобные надежды почти исчезли через несколько лет, в период работы над третьим изданием «Истории обеих Индий».

В конечном счете практика «верхов» и «низов», «просвещенных» монархов, с одной стороны, революционных масс — с другой, разрешила коренное противоречие просветительской идеологии. Она показала, что революционные по

---

[8] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXII, стр. 22.
[9] К. А. Гельвеций. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. М., 1938, стр. 2—3, 143, 144, 362, 396.
[10] Д. Дидро. Собр. соч., т. X. «Rossica», стр. 510—511.
[11] Там же, стр. 511.

своему существу требования проводятся в жизнь не уговорами «коронованных зверей» (Т. Пейн), а революционным путем. Не воля Георга III, а сила вооруженного народа дала «вольность» английским колониям в Америке; не Людовик XVI, а Национальное собрание, опирающееся на вооруженный народ, установило суверенитет народа во Франции. «...Авгиевы конюшни паразитов и грабителей были столь чудовищно грязны,— писал Т. Пейн,— что их нельзя было очистить каким-либо иным способом, кроме полной и всеобщей революции» [12].

Именно эту новую историческую практику осмысливали впоследствии политические деятели типа Пейна, Марата, Робеспьера, оставшиеся на позициях теорий естественного права, и «общественного договора», но решительно порвавшие с их либерально-просветительской интерпретацией. Локку и не снилось, когда он писал свои политические труды, утверждает новейший историк, что он готовил руководство для американских (и добавим — для французских) революционеров [13].

Та же практика заставляла и многих просветителей предреволюционного периода вносить существенные коррективы в свои концепции. В третьем издании «Истории обеих Индий» Рейналь и Дидро, преодолевая реформистско-просветительские иллюзии и обретая утерянный было оптимизм, провозглашают американскую революцию делом всего человеческого рода, они верят, что Европа в один прекрасный день «увидит учителей» в своих заокеанских детях [14]. Эти мысли и чувства разделяла вся передовая Франция. Здесь родилась обширная литература, посвященная Америке. «С 1776 по 1778 г. появилась о ней добрая сотня книг, к ним стоило бы добавить статьи в газетах, комментарии и восторженные отзывы, разбросанные в сочинениях, которые не были непосредственно посвящены Соединенным Штатам. Среди авторов — знаменитые имена: Бомарше, Рейналь, Мабли, Мирабо, Кондорсе, Бриссо; другие вновь прославились благодаря избранной ими теме: Гийяр д'Обертей, аббат Робен, Сен-Жан де Кревкер, Шастелюкс... Академии разделяли всеобщий энтузиазм. Рейналь объявил в 1783 г. в Лионской академии конкурс на тему „Вред или

[12] Т. Пейн. Избр. соч. М., 1959, стр. 184.
[13] J. Miller. Origins of the American Revolution. Boston, 1943, p. 170.
[14] См. «Révolution de l'Amérique par M. l'abbé Raynal».

пользу принесло человечеству открытие Америки". В конкурсе участвовали Кондорсе, Шастелюкс, Жанти... Аббат Жанти, бывший, между прочим, королевским цензором, заключал: „Борьба англо-американцев за независимость более всего способна ускорить революцию, несущую счастье земле. В недрах этой молодой республики таятся истинные сокровища, которые обогатят мир". Предполагают, что Кондорсе, еще более смелый, чем королевский цензор, видел в американской революции образец, который должен внушить уважение к правам человека и подготовить торжество на земле истинных принципов... Когда в 1789 г. разразилась революция, ее наиболее активные творцы вдохновлялись уроками Америки... Декларация прав человека, ночь 4 августа навеяны в определенной мере идеями Вашингтона, Франклина, Джефферсона, теми документами, где запечатлена, если можно так выразиться, философия американской революции... Но Америка бросила на чашу весов судьбы не только идеи, но и факты, не только рассуждения, но и действительность. А это значило родить если не сами идеи, то по крайней мере решительную веру в идеи»[15].

Достаточно хотя бы бегло сравнить идеи теоретиков XVIII в. разных направлений и разных поколений, чтобы понять, насколько ошибочно и антиисторично говорить о теории «общественного договора» вообще, независимо от ее точного к о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я. И Гольбах и Мабли, и Руссо и Пейн, и Марат и Радищев — все они разделяют традиционную социологическую концепцию XVII—XVIII вв. Однако они не только выразители одной и той же теории, но и представители р а з н ы х э т а п о в в ее развитии, р а з н ы х о т т е н к о в в ее трактовке.

Гольбах еще ждет «чуда» обновления государства, «счастливого сочетания интереса правителей и их подданных» от просвещенного в принципах истинной философии принца, а не от «внезапных революций», «сильных лекарств»[16]. «Но когда,— спрашивает Мабли,— философия сядет на троне?» А если монарх, случайно задетый лучом света, познал

---

[15] D. M o r n e t. Les origines intellectuelles de la Révolution française (1715—1787), p. 396—397, 399. См. также: B. F a y. L'ésprit révolutionnaire en France et aux États-Unis à la fin du XVIII-e siècle. Paris, 1924.

[16] P. H o l b a c h. La politique naturelle ou discours sur les vrais principes du gouvernement, t. II, p. 402—404, 411 etc.

свои обязанности, разве он свободен выполнить их? И Мабли заботится не столько о просвещении королей, сколько о созыве Генеральных штатов, за которыми должна стоять воля народа, воспламененного идеями свободы и «способного извлечь выгоду из этого события» [17].

Пейн в работе «Права человека» выступает не только против умеренного Монтескье, вынужденного «разрываться между принципиальностью и осторожностью», и двуликого Вольтера, совмещавшего «в своем лице льстеца и сатирика деспотизма». Его уже не удовлетворяет абстрактность революционно-демократической концепции Руссо и Рейналя: «...они рождают в душе человека любовь к некоему предмету, не показывая способов к овладению им» [18]. Если Гольбах говорил о «неистовстве революций», то Пейн — об их «созидательной работе»; если первый хотел просвещать народы, дабы отвратить революцию, то второй утверждал, что именно революция «сделала для просвещения всего мира и распространения свободолюбия и либеральных взглядов среди человечества больше, чем какое-либо другое человеческое событие...» [19].

Марат, пропагандируя в трактате «Цепи рабства» (1774 г.) теорию «общественного договора», занимается не только обоснованием права народов на сопротивление угнетателям. Он задолго до революции изучает условия, предпосылки успеха общего вооруженного восстания, разбивающего эти цепи [20]. «Оружие в руках порабощенных всегда будет более опасным, чем полезным для государства» [21],— высказывал порой опасения Руссо. «Свобода добывается лишь с оружием в руках»,— обобщает опыт борьбы плебейских масс Марат [22]. К 1793 г. его идеи станут знаменем целой плеяды революционеров.

Рассматривая содержание просветительства вне развития, отождествив теорию «общественного договора» с одной, исторически первой ее формой, некоторые авторы считают вообще излишним вдаваться в анализ «Путешествия», полагая, что приверженность к указанной теории равнозначна вере в «просвещенный абсолютизм». А между тем эта

[17] Collection complète des oeuvres de l'abbé de Mably, 1794—1795. Tome troisième, p. 302—304.
[18] Т. Пейн. Избр. соч., стр. 228.
[19] Там же, стр. 172—174.
[20] Ж. П. Марат. Избр. произв., т. I. M., 1956, стр. 143—155.
[21] J. J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. I. Paris, 1883, p. 734.
[22] Ж. П. Марат. Избр. произв., т. II. M., 1956, стр. 250.

теория представлена в книге в двух различных трактовках. В главе «Хотилов» — пример либеральной интерпретации, причем еще более умеренной, чем, скажем, трактовки Локка или Гольбаха (что вполне соответствует уровню радикализма тогдашнего русского дворянского Просвещения). Инициатором восстановления «в будущем» нарушенных естественных прав явится сам монарх, здесь нет упоминания о верховенстве народа, его праве на сопротивление и т. д. В полемике с этой трактовкой «Вольность» обосновывает необходимость революции против самодержца, уже нарушившего естественные права.

Как правильно подчеркивает исследователь оды, «вопрос ставился исторически: когда-то народ „облек во порфиру" царя с задачей „равенство в обществе блюсти"»[23]. Но монарх неизбежно, в силу своего положения, превращается в деспота:

«Но ты забыв мне клятву данну,
«Забыв, что я избрал тебя;
«Себе в утеху быть венчанну
«Возмнил, что ты господь, не я;
«Мечем мои разторг уставы;
«Безгласными поверг все правы,
«Стыдиться истинне велел... (I, 359).

О том, что делать «любителям человечества», говорят Радищеву примеры Кромвеля и Вашингтона, возглавивших вооруженную борьбу народов за свободу. Нет у Радищева никаких намеков на «ограниченную», «смешанную» или «просвещенную» монархию и в идеале будущего. Управлять освобожденным обществом будут не венценосцы, но люди, известные своими личными заслугами и своей опытностью, предмет которых суть «мы, не я», а на развалинах империи образуется федерация свободных государств:

Возникнут малые светила;
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцем,
На пользу всех ладью направят,
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцем (I, 16).

---

[23] Г. П. Макогоненко. Поэзия Александра Радищева. — Сб «А. Н. Радищев. Стихотворения», Л., 1953, стр. 29.

Вся ода направлена против слепцов, считавших монархов «отцами отечества», а ее автору все еще продолжают приписывать веру в монарха — «блюстителя законов»!

3. Диалектика категорий в историческом исследовании

В советской литературе последних лет Радищева все чаще называют революционным демократом XVIII в.[24] Причины утверждения такой оценки понятны: в ней схвачено ядро, суть «Путешествия» — идея народной крестьянской революции, уничтожающей самодержавие и помещичий класс. Однако по мере распространения подобных взглядов среди части историков все больше росло убеждение в их несоответствии ленинской периодизации русского освободительного движения. Оформленное выражение этим настроениям дала, наконец, передовая журнала «Вопросы истории» в № 9 за 1955 г.— «О некоторых вопросах истории русской общественной мысли конца XVIII — первой половины XIX в.» «Г. П. Макогоненко, Е. В. Приказчикова, Э. С. Виленская и некоторые другие исследователи,— говорилось в ней,— подняв много нового и интересного материала о деятельности первого русского революционного писателя А. Н. Радищева, неправильно характеризуют его как „первого русского революционного демократа", как „первого идеолога крестьянской революции", как экономиста, „положившего начало революционно-демократическому направлению русской экономической мысли". В результате произвольных подчеркиваний и умолчаний Радищев как дворянский революционер сдвигается со своего исторического места»[25].

Подобные споры идут вокруг целого ряда фигур русского Просвещения XVIII в. Стоило автору предисловия к «Избранным произведениям русских мыслителей второй половины XVIII века» ввести в круг просветителей князя Д. А. Голицына, А. Я. Поленова, Г. С. Коробьина, как появилась рецензия С. А. Покровского и С. В. Папаригопуло,

---

[24] См. «История политических учений», ч. I, М., 1965, стр. 271 и сл.; «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I, стр. 227 и сл.; «История русской экономической мысли», т. I, ч. I, М., 1955, стр. 657, 699 и сл.; «История русской литературы», т. IV, ч. II, М., 1947, стр. 534, и т. д.

[25] «Вопросы истории», 1955, № 9, стр. 4.

указывающая на неприменимость ленинской характеристики просветительства к этим дворянско-либеральным деятелям[26]. С другой стороны, попытки названных критиков исключить из круга просветителей деятелей не только либерального (Голицын, Поленов, Коробьин), но и революционно-демократического (Радищев) направления вызвали протесты ряда исследователей, заговоривших об «искусственном суживании, обеднении русского Просвещения XVIII века». «Кто же тогда просветитель?— спрашивал З. И. Гершкович.— Если следовать формально-логическому принципу дихотомического деления по признаку наличия или отсутствия революционных убеждений, то окажется, что все деятели XVIII века — либо революционеры, либо не революционеры. Но тогда, согласно схеме С. А. Покровского, и те и другие (т. е. никто!) не являются просветителями. Вопреки логике, С. А. Покровский все же признает существование в XVIII веке просветителей (черт с ней, с логикой, были бы просветители). В частности, Ломоносов признается таковым. На каком основании? На том, что он выступал против крепостного права. А Радищев, отлучаемый от просветительства, не выступал против крепостного права?» Настал черед для отлучения от марксистской методологии С. А. Покровского — ему было приписано запутывание «четкой ленинской постановки вопроса»[27].

Но вернемся к Радищеву. При попытках раскрыть классовое содержание его идей были испробованы, пожалуй, все возможные определения. Писателя именовали революционным просветителем, предтечей дворянских революционеров, дворянским революционером, идеологом передовых слоев дворянства, зачинателем революционно-демократических идей, идеологом крестьянской революции и, наконец, просто революционным демократом XVIII в. При этом исследователи то отбрасывали одну категорию, заменяя ее другой, то хватались за третью, отбрасывая первые две, то вообще предпочитали обходиться без содержательных определений. Стоило журналу «Вопросы истории» выступить с упомянутой передовой, как некоторые из критикуемых

---

[26] С. А. Покровский, С. В. Папаригопуло. За строго научный подход к изданию философского наследства.— «Вопросы философии», 1954, № 6.

[27] З. И. Гершкович. О методологических принципах изучения русского просветительства.— Сб. «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века», М.— Л., 1961, стр. 151—152

поспешили принести повинные. «Думается, что настало время разобраться, наконец, в той терминологической путанице, которая принимает все более широкие масштабы в нашей литературе,— писала Э. С. Виленская.— Мы со все большей легкостью оперируем такими понятиями, как „либерализм“, „революционный демократизм“, „крестьянская революция“ и другие, применительно ко второй половине XVIII века. В этой путанице считает себя повинным и автор настоящей статьи, объявивший Радищева „предтечей революционных демократов“, „первым идеологом крестьянской революции“, применявший понятие „либерализм“ в значении, близком к предреформенному его смыслу, а поэтому считает данную статью направленной и против собственных ошибок»[28].

Порой при поспешных исправлениях дело доходило до комических происшествий. На одной и той же 126-й странице известного пособия читатель узнавал, к примеру, что «Путешествие» Радищева было «смелым голосом революционера-демократа XVIII века в защиту угнетенного крепостного крестьянства», а далее он читал, что «устами... дворянского революционера Радищева был подан голос в защиту крепостного крестьянства»[29]. Можно, конечно, посмеяться над рассеянностью компетентного специалиста, забывшего в ходе очередной «перестройки» вымарать все прежние формулировки, если бы не было грустно: философы, казалось бы, должны учить своих коллег сознательному употреблению категорий...

Но вернемся от комической (или, если угодно, грустной) стороны дела к принципиальной стороне. Как нам вообще относиться к этим спорам и «перестройкам»? Что это — схоластическая игра в дефиниции или выражение каких-то реальных трудностей процесса познания? Идут ли споры от априорных схем или же навязываются развитием знаний? В большинстве случаев верно второе. Суть в том, что общие категории: «просветитель», «дворянский революционер», «революционный демократ» сняты с идеологических и политических процессов (таких, как французское Просвещение XVIII в., декабристское движение начала XIX в., революционно-демократическое движение 40—60-х

---

[28] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 173.

[29] И. Я. Щипанов. Общественно-политические и философские воззрения А. Н. Радищева.— Сб. «Из истории русской философии», М., 1951, стр. 126. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

годов XIX в. в России), имеющих не только черты определенного родства, но и существенные отличия от русского Просвещения XVIII в.

С другой стороны, у исследователей русского Просвещения XVIII в. нет иного выбора, как осваивать новый материал через посредство наличных «классических» определений, причем ни одно из них не будет характеризовать данный ряд явлений вполне адекватно.

Попробуем, например, отнести к Радищеву известные ленинские понятия. «Освободительное движение в России,— писал В. И. Ленин,— прошло три главные этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время»[30]. Выделяя три поколения, три класса, действовавшие в русской революции, В. И. Ленин указывал: дворяне «страшно далеки... от народа», ближе связь с народом у революционеров-разночинцев, пролетариат «впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян»[31].

Нарушает ли определение Радищева как идеолога крестьянской революции эту периодизацию? Прежде всего, В. И. Ленин имел в виду этапы одного и того же по своему объективному содержанию движения, направленного на замену самодержавно-крепостнического строя буржуазно-демократическим. Поэтому абсолютный разрыв, а тем более абсолютное противопоставление этапов является недопустимым: единство решаемых задач предопределяло возможность существования родственных идей и теорий для всех трех периодов.

Далее, ленинские общие характеристики даны этапам движения в целом, они выделяют в них только массовидное. Несомненно, что степень близости к народу, характер класса, представители которого стоят во главе движения, с необходимостью определяют его общий характер и идеологию. Но если речь идет не об общей характеристике движения и идеологии классов, а о выявлении особенностей мировоззрения того или иного мыслителя, то тут уже нельзя ограничиваться противопоставлением общих формул — «дворян-

---

[30] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 93.
[31] Там же, т. 21, стр. 261.

ский этап революционности», «разночинский этап революционности» — и выводить мировоззрение того или иного революционера только из этих абстракций, без конкретного анализа его идей и произведений. На каждом этапе освободительного движения наряду с господствующими течениями пробивали себе дорогу иные тенденции, «необычные» для данной эпохи, для данного периода.

Следует учитывать и громадную относительную самодеятельность идей. Было бы вульгаризацией исторического материализма отрицать тот факт, что освободительная теория возникает в головах идеологов передовых классов гораздо раньше движения — как теоретическое обобщение классовых антагонизмов данного общества, а затем уже под влиянием передовых идей, по мере развития классовых антагонизмов идеи оплодотворяют движение, оно переходит на высший этап: становится из стихийного — организованным. Революционный демократизм Мелье сложился как система взглядов к началу XVIII в., революционно-демократическое движение во Франции относится к 90-м годам XVIII в. Революционно-демократическая концепция Руссо, сформулированная в 60-х годах XVIII в., в те годы не получила отклика во Франции, тремя десятилетиями позже она стала практическим наставлением якобинцев. Случай подобного «забегания» мысли вперед мы видим в «Путешествии» Радищева.

В самом деле, разве не подходит содержание идей Радищева 80-х годов под понятие «революционный демократизм»? Разве не защищает он интересы угнетенного крестьянства, требуя избиения «племени помещиков» и казни царя? Разве не надеется он на революционную самодеятельность масс? Разве не свойственна ему вера не только в их правоту, но и в их силу? Разве не предусматривает его положительная программа (объективно буржуазная) в своих самых общих положениях (федерация республик вместо самодержавной империи, народовластие вместо абсолютизма, полная свобода слова вместо деспотизма цензуры, переход всей земли земледельцу — «себе всяк пашет, себе жнет») демократизации всех социальных и общественных отношений в стране? Разве нет — при всех различиях в степени зрелости и разработки идей, уровне их теоретического обоснования и т. п.— определенного родства этих идей с концепциями русской революционной демократии 60-х годов XIX в.?

Пусть Радищев еще не дорос до диалектической формулы Белинского: «Отрицание — мой бог» [32], но разве его героями в истории не являются, как и у Белинского 40-х годов, те же «разрушители старого»: Брут, Телль, Кромвель, Вашингтон, Франклин? Разве мысль, выраженная Радищевым: когда царь, «седяй на Престоле», добровольно уступал что-либо из своей власти — не является предвосхищением вывода революционной демократии 60-х годов XIX в.: «сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей»? [33]. Разве нет в проклятиях Радищева по адресу тех, кто просвещением царей думал смягчить доводящий до «крайности» гнет, или в его выводе о том, что свободы надо ждать от «тяжести порабощения»,— созвучия идеям «Пролога»? Веком позже, когда от разговоров о «просвещении верхов» дело перейдет к «освобождению сверху», Чернышевский по-своему бросит в лицо либералам: «Я желаю, чтобы все оставалось, как есть», он предпочтет, исходя из перспектив революционного, действительного освобождения народа, прямой грабеж крестьян помещиками «мерзости» либеральных реформ [34].

Но сказанное отнюдь не означает, что все решается употреблением характеристики: Радищев — «революционный демократ» XVIII в. Отсутствие в России конца XVIII в. сколько-нибудь развитого слоя разночинской интеллигенции — естественного носителя демократических идей — поставило Радищева в исключительно своеобразные условия. «Искренними друзьями» Радищева могли быть в ту эпоху главным образом либерально настроенные дворянские просветители, и прежде всего к ним он обращал свою книгу, их убеждал, с ними полемизировал.

Исторически обусловленное обращение с революционно-демократической концепцией к передовому дворянству той эпохи — важнейшая особенность Радищева, отличающая его, скажем, от революционных демократов XIX в., одно из главных противоречий в его взглядах. Передовые дворяне в своей массе не могли принять эти идеи, их подняли, подхватили и развили позднее революционеры-разночинцы. Но передовое дворянство дало России в начале XIX в. пер-

---

[32] В. Г. Белинский. Избр. филос. соч., т. I. М., 1948, стр. 590.

[33] «Письмо из провинции».— «Колокол», 1 марта 1860 г., № 64, стр. 535.

[34] Н. Г. Чернышевский. Пролог.— Полн. собр. соч., т. XIII. М., 1949, стр. 134, 140, 188.

вое поколение революционеров, и в этом отношении обращение к нему Радищева оказалось исторически оправданным.

Могут сказать: мировоззрение Радищева не поддается какому-либо однозначному определению, ибо писатель хронологически выходит за рамки ленинской периодизации. Но однозначному определению не поддаются и, казалось бы, совершенно «классические» представители дворянского или разночинского периодов.

Вот любопытное свидетельство исследователя идеологии декабризма П. Ф. Никандрова: «П. И. Пестеля и его единомышленников среди декабристов нельзя назвать идеологами вполне определенного, сколько-нибудь зрелого класса,— писал он.— В своей программе они значительно поступились интересами дворянства, затронув его экономические и политические преимущества. Декабристы вскрыли отрицательные стороны капитализма на Западе, указали на опасное усиление буржуазии в послереволюционной России и даже принимали меры, чтобы ограничить безраздельное господство частной собственности. Таким образом, их вряд ли можно считать сознательными выразителями интересов буржуазии, тем более, что русская буржуазия в тот период еще только зарождалась и не представляла никакой реальной силы. К тому же надо сказать, что буржуазия в России никогда не была революционным классом. Пестель и его соратники по южной организации декабристов, несомненно, отразили коренные интересы крепостных крестьян. Однако их неправильно было бы считать последовательными идеологами крестьянских масс, ибо они были оторваны от народа и не только не верили в его революционные возможности, но стремились предотвратить народную революцию. Декабристы были дворянскими революционерами, объективно отразившими определявшиеся и созревавшие в стране тенденции буржуазного развития» [35].

Итак, выход один — при характеристике сложных явлений брать определения не порознь, а в их взаимопроникновении, не в статике, а в движении. «Значение *общего*,— напоминал В. И. Ленин,— противоречиво: оно мертво, оно нечисто, неполно etc., etc., но оно только и есть *ступень* к познанию *конкретного*, ибо мы никогда не познаем

[35] П. Ф. Никандров. Мировоззрение П. И. Пестеля. Л., 1955, стр. 121—122.

конкретного полностью. *Бесконечная* сумма общих понятий, законов etc. дает *конкретное* в его полноте»[36].

В нашем случае это означает, что такие понятия, как просветительство и либерализм, просветительство и демократизм, дворянская революционность и либерализм, дворянская революционность и демократизм, революционный демократизм и утопический социализм и т. д., являются не взаимоисключающими, а в з а и м о д о п о л н я ю щ и м и и в з а и м о п р о н и к а ю щ и м и категориями, категориями с о о т н о с и т е л ь н ы м и. Только система этих категорий, более или менее соответствующая реальному движению изучаемого объекта, позволит точно характеризовать явления прошлого, наметить расхождения, оттенки в однотипных по своему характеру течениях.

Разумеется, гибкость понятий не должна переходить в софистику, стирающую вообще все и всякие грани, путающую общее с частным, типичное с нетипичным, существенное с несущественным и т. п. Но дело заключается не в том, чтобы из-за боязни ошибок отказаться от диалектики вообще, а в том, чтобы правильно применить диалектику в конкретном анализе.

Радищев, если исходить из сути ленинских определений, был первым провозвестником идей буржуазно-демократической революции в России. Революционер-просветитель, предтеча дворянских революционеров и зачинатель революционно-демократических идей — такова роль Радищева в русском освободительном движении. Автор «Путешествия» положил начало выработке в России революционно-демократической теории и воспитанию поколения дворянских революционеров.

А тем исследователям, которые, несмотря на все наши пояснения, сочтут такое многозначное определение все же противоречащим ленинской периодизации, мы просто напомним, что В. И. Ленин, например, называл Герцена 40-х годов не только представителем «дворянских, помещичьих революционеров», но и «демократом, революционером, социалистом»[37].

---

[36] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 252.
[37] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 255, 256.

4. Историзм и антиисторизм в исследовании преемственных связей XVIII и XIX вв.

Если свести воедино все возражения против новой трактовки «Путешествия», то суть их выразится в одном кратком приговоре: антиисторизм.

Под антиисторизмом обычно понимают «подтягивание» низших форм развития к высшим, другими словами, модернизацию истории. Подобные ошибки, действительно, не раз встречались в работах по истории общественной мысли XVIII в.

Так, например, антиисторичными являются попытки открыть в русском Просвещении XVIII в. антибуржуазную направленность[38]. Сторонники подобного взгляда переносят на антифеодальную идеологию XVIII в. черты русского утопического социализма и революционного демократизма XIX в., не замечая того, что критика французского буржуазного Просвещения такими мыслителями, как Новиков, Фонвизин, свидетельствовала не об антибуржуазности, а о дворянской ограниченности их мировоззрения. Явно нарушают исторические перспективы и те авторы, которые видят целый «демократический лагерь» в екатерининской Комиссии 1767—1768 гг., именуют ее идейным центром русского демократизма[39]. На деле предложения прогрессивных депутатов Комиссии (Коробьина, Козельского и др.) не выходили за рамки умеренного дворянского либерализма, притом в его самой первоначальной, незрелой форме.

Но антиисторизм не исчерпывается модернизацией исторических фактов. Он состоит также и в разрушении преемственных связей между явлениями низшего и высшего порядка, в отказе от исследования генезиса процессов.

Новейшие исследования характеризуют целое столетие примерно с середины XVIII в. одним общим определением — эпоха разложения и кризиса феодально-крепостнической системы[40]. Кризисные явления в помещичьем хозяйстве, Крестьянская война под руководством Пугачева, зарождение антифеодальной идеологии, появление первых революционных идей — все эти факты говорят о том, что в

---

[38] См., например, Г. П. Макогоненко. Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века, М.—Л., 1952, стр. 362 и сл.

[39] Там же, стр. 93.

[40] См. подробнее: Н. М. Дружинин. О периодизации истории капиталистических отношений в России.— «Вопросы истории», 1949, № 11.

60—90-е годы XVIII в. в России завязывается узел тех самых противоречий, к практическому разрешению которых борющиеся классы приступят веком позже, в период первой революционной ситуации конца 50 — начала 60-х годов XIX в.

Разумеется, сходство, родство еще не есть тождество. Нашей наукой были справедливо отвергнуты в свое время антиисторичные характеристики восстания Пугачева как ранней «буржуазной революции», попытки обнаружить здесь «лозунги французской революции», найти в совместной борьбе уральских горнорабочих и крепостных «первичный союз рабочих и крестьян» и даже... зародыш гегемонии пролетариата [41]. Но не менее антиисторично не видеть в Крестьянской войне XVIII в. зародышевого стихийного проявления тех же самых демократических требований «земли и воли», которые получат в России отчетливое выражение столетием позже. Эту связь между крестьянским движением XVIII и XIX вв. настойчиво подчеркивает ряд новых исследований [42].

Представляются определенно антиисторичными попытки найти в России XVIII в. развитую либеральную идеологию или тем более либерализм как политическое направление. Но столь же определенно грешат против историзма те, кто не видит родства первых идей так называемого «дворянского либерализма» XVIII в. с более развитой идеологией буржуазно-помещичьего либерализма XIX в. Это — мысль о наличии противоречий между царем и дворянами, якобы позволяющих самодержавию встать «над классами», выступить одновременно спасителем помещиков от крестьянского топора и избавителем крестьян от помещичьего гнета. Это — боязнь инициативы самого народа, вмешательства «низов» в дело общественного преобразования. Это, наконец, самый характер предлагаемых мер, обеспечивающих в первую очередь интересы помещика (постепенное смягче-

---

41 См., например, М. Н. Покровский. Новые данные о пугачевщине.— «Вестник Комакадемии», кн. XII, М., 1925; Г. Меерсон. Ранняя буржуазная революция в России.— Там же, кн. XIII—XIV; В. А. Максимов. Первичный союз рабочих и крестьян Удмуртии. Ижевск, 1930.

42 Н. Л. Рубинштейн. Крестьянское движение в России во второй половине XVIII века.— «Вопросы истории», 1956, № 11, стр. 49; М. П. Вяткин. Емельян Пугачев. Л., 1951, стр. 39—40; Г. Г. Фруменков. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Архангельск, 1958, стр. 45—46.

ние рабства руками правящих классов, воля за выкуп, передача крестьянам одной лишь надельной земли и т. д. и т. п.).

Определение Радищева как революционного демократа будет, несомненно, антиисторичным, если специально не оговорить зародышевой формы его идей, не отметить их существенных различий, скажем, от революционного демократизма XIX в. Но будет не менее антиисторично не видеть родства между ними в главном и основном — в идее народной, крестьянской революции, в принципиальном обосновании ее необходимости.

Можно целиком согласиться с А. А. Галактионовым и П. Ф. Никандровым, когда они пишут: «...Было бы совершенно бесполезным пытаться найти у Радищева „революционную теорию" или „учение о революции", которое, как известно, предполагает более или менее конкретную разработку тактических вопросов, а также четкое определение задач и конечных целей революции. Такого революционного плана у Радищева не было. Он не призывал современников к немедленному революционному выступлению, не агитировал за революцию, но пропагандировал ее идею». Однако нельзя принять следующего довода тех же авторов: «...В произведениях Радищева нет революционного призыва, обращенного к крестьянам, а потому главный аргумент в пользу того, что он был идеологом крестьянства, отпадает» [43]. Революционный демократизм, как и всякое явление, имеет свою историю: прежде чем нести идею народной революции в массы, надо было еще выдвинуть и обосновать эту идею, найти и создать определенные формы организации. Если считать, что проповедь идей народной революции в массах есть главный и абсолютно необходимый признак революционного демократизма, то нам придется отлучить от него не только Радищева, но и Белинского или Герцена 30—40-х годов XIX в. и даже Чернышевского и Добролюбова, ибо к массам в прямом значении этого слова и этим революционерам обратиться не довелось.

Можно полностью принять предупреждение Э. С. Виленской: «Не следует забывать, что революционно-демократические идеи в период реформы 1861 года были связаны с утопическим социализмом, с крестьянским социализмом, и связь эта была не случайной, а органической, определявшейся своеобразной расстановкой классовых сил на опреде-

---

[43] «Вопросы философии», 1956, № 3, стр. 163, 164.

ленном уровне развития капитализма в России и в условиях господства капиталистической системы в большинстве стран Западной Европы и Америки». Но совершенно неприемлем вывод из этого предупреждения: «Поэтому попытки перебросить мостик между мировоззрением Радищева и идеями Чернышевского требуют осуждения как методологически ошибочные и противоречащие исторической правде»[44].

Энгельс, например, не боялся перебрасывать «мостик» между событиями и явлениями, отстоящими друг от друга на 300 лет, он находил (несмотря на существенные различия) аналогии между Крестьянской войной в Германии 1525 г. и революцией 1848—1850 гг.[45] В. И. Ленин указывал, что изменение классового характера русского самодержавия с XVII в. шло «в одном определенном направлении»[46].

Почему же, спрашивается, нельзя проводить параллель между Радищевым и Чернышевским? Ведь тот и другой видят единство интересов крепостников и царя, делающее иллюзорным возможность действительного освобождения народа «сверху», тот и другой верят поэтому только в революционную инициативу народа, разоблачают либеральные иллюзии «просвещенного абсолютизма» (Радищев) или политику практического либерализма абсолютной монархии (Чернышевский). Кстати, Г. В. Плеханов не боялся делать подобные параллели: «Радищев явился у нас первым в ряду тех передовых учителей жизни, между которыми такое видное место заняли потом Чернышевский и Добролюбов». И далее он подчеркивал «сходство его практических правил с правилами, выработанными этими последними»[47].

Правда, снова подчеркнем, родство не есть тождество. Революционный демократизм XVIII в. и революционный демократизм XIX—XX вв., принявший социалистическую окраску,— хотя и однотипны, но это явления качественно разных эпох, различные по форме. Утопический социализм — это такая «добавка» к крестьянской демократической идеологии, которая появляется в странах, совершающих антифеодальную революцию в условиях относительно развитого международного капитализма, уже обнаружившего свои антагонизмы и свою антинародную сущность. Но

[44] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 173.
[45] См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 345, 436—437.
[46] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 121.
[47] Г. В. Плеханов. Соч., т. XXII, стр. 353.

вопреки мнению Э. С. Виленской можно вполне быть революционным демократом и не будучи утопическим социалистом. Тем более любопытно отметить у Радищева первые наметки тех идей, которые получат детальную разработку у русских «крестьянских» социалистов XIX в. Мы имеем в виду не только отдельные критические замечания о торгашестве английской нации, эксплуатации, царящей на английских и французских мануфактурах, но прежде всего пристальное внимание мыслителя к русской поземельной общине, дела которой решаются на «сходах». «Кто мог бы помыслить в наше время,— писал Радищев,— что в России совершается то, чего искали в древности наилучшия законодатели, о чем новейшия не помышляют, от чего зависит та отменная любовь к своему жилищу российскаго земледельца» (I, 179; II, 13; III, 132 и др.)

Как знать, может быть, избрав иной угол зрения, наши оппоненты обнаружили бы ощутимое сходство этого высказывания Радищева со следующим, например, мнением социалиста Герцена: «Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой,— все это краеугольные камни, на которых зиждется храмина нашего будущего свободно-общинного быта» [48].

Еще один важный факт. На преемственность процессов конца XVIII—XIX в. указывает не только определенное сходство тех идей, которые выдвигались в течение всего этого периода вождями борющихся классов. О преемственности говорят и постоянные попытки представителей двух исторических тенденций XIX в. вывести свои «родословные» от идеологов предшествующего века, т. е. субъективное осознание ими своего родства с предшественниками.

Александр I, вступая на престол, прямо заявляет о желании править «по закону и сердцу своей бабки». Возня вокруг Жалованной грамоты Российскому народу, создание Негласного комитета, конкурс в Вольном экономическом обществе 1812 г.— все это было отблеском «великих» деяний Екатерины II, и все это воспринималось общественностью как возврат к временам ее либерализма. Александр II, предлагая дворянству вступить на путь реформ, также вспоминает (почти словами «Хотилова») о подвигах своих державных предков: «Предшественники мои чувствовали все

[48] А. И. Герцен. Избр. филос. произв., т. 2. М., 1948, стр. 224.

зло крепостного права и постоянно стремились если не к прямому его уничтожению, то к постепенному ограничению произвола помещичьей власти» [49].

Либералы 1850—1870-х годов также ищут своих предков в XVIII веке. Не случайно именно в это время появляются десятки работ о екатерининской Комиссии, в деятельности которой историки видят первую попытку повернуть страну на путь Александра II, вновь начинаются, как и при Александре I, исследования духа «Наказа». При этом наблюдается тенденция связать с политикой «просвещенного абсолютизма» Екатерины II и ее «Наказом» радищевское «Путешествие», истолковать его как манифест помещичьего либерализма в России.

С другой стороны, представители революционно-демократического направления XIX в., несмотря на тяжелейший цензурный гнет, используют революционные идеи Радищева в своей борьбе с либералами. Показывая на примере дворянской сатиры XVIII в. никчемный характер всего буржуазно-помещичьего либерализма, Добролюбов прямо противопоставляет «сатирикам» XVIII в. книгу Радищева.

«Мостик» между собой и будущими революционерами «наводил» сам Радищев, называя грядущую революцию великим «творением» нового мира, сравнивая своё выступление с «первым махом». Этот мостик отчетливо видели революционные демократы XIX в. А сейчас некоторые историки хотели бы запретить «перебрасывать» его, дабы не противоречить «исторической правде»!

5. Сосуществование гипотез или выбор одной из них?

Мы начали анализ фактического и теоретического материала с признания равноправия гипотез, сосуществующих в советской историографии. Теперь можно говорить об обоснованности одной из них и несостоятельности другой.

Гипотеза о последовательной революционности «Путешествия» исходит из содержания произведений Радищева 80-х годов — его выводов о неуступчивости царей («Письмо к другу, жительствующему в Тобольске»), его обвине-

---

[49] С. С. Татищев. Император Александр II. Его жизнь и царствование, т. I. СПб., 1911, стр. 346.

ний в адрес тех, кто пытался «совлещи покров сей с очей власти» («Житие Ф. В. Ушакова»). Эта гипотеза отражает важнейшую особенность композиции «Путешествия»: сознательное противопоставление излагаемых здесь политических программ; эта гипотеза учитывает бескомпромиссную революционность книги, доходящую до призывов к казни монарха и избиению «племени» помещиков («Тверь», «Городня»). Единственным доводом против последовательной революционности Радищева в 80-е годы следует признать лишь некоторые положения радищевской «Беседы о том, что есть сын отечества» и «Записки о податях Петербургской губернии», но либеральные нотки в них легко объясняются в первом случае — цензурными моментами, служебным назначением — во втором.

Теоретические соображения об «антиисторичности» новой гипотезы оказались так же беспочвенными, как и соображения о ее «субъективизме». Гипотеза эта органически включает писателя в историческую эпоху: она выявляет полемическую заостренность «Путешествия» против доктрины «просвещенного абсолютизма», императорского «Наказа» и порожденной им апологетической литературы. Она устанавливает многостороннее отношение революционера к умеренному дворянскому просветительству XVIII в.: союз с ним в критике крепостничества, расхождение с ним в глубине этой критики, противоположность в поисках практического пути освобождения народа. Эта гипотеза включает русскую революционную мысль в русло антифеодальной идеологии XVIII в.: она доказывает принадлежность Радищева к революционно-просветительскому направлению, выявляет родство теоретических выводов писателя из доктрины «общественного договора» с революционно-демократической ее интерпретацией. Наконец, новая гипотеза глубже и точнее выявляет генетические связи между русской революционной мыслью XVIII и XIX вв.

Вместе с тем отрицание сторонниками новой гипотезы таких немыслимых противоречий в «Путешествии», как одновременное исповедание доктрины «просвещенного абсолютизма» и ее разоблачение, стремление предотвратить революцию и дать ей в то же время «первый мах», не снимает вопроса о подлинной исторической ограниченности Радищева. Сторонники нового взгляда говорят о н е и з б е ж н ы х колебаниях, противоречиях в деятельности писателя и до «Путешествия» и особенно в последний период его

жизни (об этом речь пойдет ниже). Эту непоследовательность они связывают с отсутствием у Радищева научного взгляда на историю, с тяжелыми условиями, в которых действовал писатель, они обращают внимание на неразвитость революционной теории Радищева, самый общий характер его идей.

Напротив, оппоненты новой гипотезы, настаивая на сочетании в «Путешествии» последовательно революционной концепции с концепцией «просвещенного абсолютизма», обходят молчанием важнейшие объективные моменты содержания книги. Они постоянно затушевывают либерализм конкретных предложений хотиловского проекта. Они не выявляют и не объясняют взаимоисключающий характер положений обеих программ. Они отбрасывают, а не решают вопросы, поставленные развитием науки. Ни один из сторонников старой гипотезы не дал принципиальной оценки «Жития Ф. В. Ушакова», где ясно и прямо говорится о тщетности просвещения царей. Ссылки на другие высказывания 1790 г. также не убедительны. Либерализм «Опыта о законодавстве» оказался принадлежащим не Радищеву, а Екатерине II. Сторонники прежних взглядов ссылались на покаянную Радищева, но сам писатель отрекся от нее. Именно их гипотеза оказалась по существу антиисторичной. Она вырвала писателя из реальных отношений эпохи, заставила его обращаться к «верхам» в конце 80-х годов, когда для такого обращения не было повода, приписала ему либеральную непоследовательность дворян-просветителей, которую он критиковал, оторвала Радищева от родственных ему мыслителей Запада, прошла мимо того факта, что и русское и западное Просвещение XVIII в. сделало в эпоху американской революции огромный шаг вперед.

Но хотя несостоятельность такого подхода к «Путешествию» представляется нам очевидной, мы не будем следовать примеру наших оппонентов и утверждать, что «...настало время решительно осудить эти методы, основанные на субъективных представлениях, декларативных заявлениях, неаргументированных домыслах, которые получили право хождения наравне с выводами научных исследований» [50].

---

[50] «Вопросы философии», 1956, № 5, стр. 170.

Никогда и нигде «осуждения» и «отлучения» не помогали научному спору; сколь вреден «розыск» в царстве истины, знал еще Радищев: «Один несмысленной урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред, и на многия лета остановку в шествии разума» (I, 330—331).

Опорой научной истины служит только и единственно сила убеждения, логика, весомый аргумент. Там, где изживание разного рода ненаучных представлений идет на основе принуждения, вмешательства извне, науке наносится непоправимый урон: истина теряет массу потенциальных защитников, которые с тем бо́льшим рвением могли бы ей служить, что они внутренне, добровольно убедятся в своей неправоте.

Традиционный подход к «Проекту в будущем» как «государственному идеалу» Радищева был подорван еще в трудах дореволюционных историков — Сухомлинова, Мякотина, Семевского, Незеленова. Но будучи носителями консервативных или либерально-народнических взглядов, они, естественно, не могли довести начатый ими самими процесс переосмысления радищевского «Путешествия» до логического конца.

Это может и должна сделать советская историография.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЭПИЗОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ВОКРУГ «ПУТЕШЕСТВИЯ»

«Надо исходить из объективного, надо взять взаимоотношение классов по данному пункту».

В. И. Ленин *

1. Несколько предварительных замечаний

После детального изучения историографии «Путешествия» обращение к эпизодам политической борьбы вокруг «Путешествия» может показаться несколько искусственным. Неправильно, да и просто невозможно проводить резкую грань между научной и политической литературой, отделять первую от второй. Любая «академическая» работа несет на себе неизгладимую печать политических симпатий и антипатий ее автора, а следовательно, и тех канонов и предрассудков, надежд и идеалов, которыми живет его эпоха. Работы о Радищеве не представляют исключения — нам недаром пришлось с первых же страниц книги говорить об отношении к «Путешествию» «охранителей», различать либеральное и революционное его истолкование. С другой стороны, любая «политическая» статья использует те или иные данные, добытые наукой, к тому же некоторые из вождей русских политических партий, писавших о Радищеве, были историками или литературными критиками по призванию и профессии.

И все же бывают случаи, когда реакционная политика столь подчиняет науку, что от последней в сущности не остается и следа. Бывает и другое — авторы прогрессивных направлений не могут из-за цензурного гнета излагать открыто и развернуто свои мысли, иногда они вынужденно искажают предмет своего описания, лишь бы получить возможность сказать о нем современникам; многие из них, находясь в подполье или изгнании, к тому же не имели под рукой не только работ о Радищеве, но зачастую и текста его книги. Их оценки и свидетельства, строго говоря, нель-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 278—279.

зя считать научными аргументами. Но это вовсе не значит, что они вообще лишены научного значения.

Наконец, требуют внимания и отдельные высказывания, оценки тех или иных политических деятелей, которые вообще не были «специалистами» по Радищеву, не занимались анализом его текстов или разбором доводов спорящих сторон, но зато прекрасно выразили суть отношения своего класса к данному объекту политической борьбы.

Короче говоря, цель главы — показать, хотя бы на нескольких примерах, воздействие политики на науку. Вместе с тем она дает возможность проверить еще раз точность наших оценок «Путешествия» — на этот раз по той объективной роли, которую книга сыграла в классовой борьбе.

2. Пушкин и Радищев

Начало открытой полемике вокруг имени запретного писателя положили статьи Пушкина о Радищеве. Наброски, известные под названием «Мысли на дороге» (или «Путешествие из Москвы в Петербург»), были начаты в конце 1833 г. и остались незавершенными. Биографический очерк «Александр Радищев», написанный в 1835 г., не пропустила цензура. Материалы стали доступны русской публике во второй половине XIX в.[1]

Радищев привлекал интерес Пушкина, как никакой другой русский писатель или поэт XVIII в. На радищевские сюжеты написаны и юношеские «Вольность», «Деревня» Пушкина, о Радищеве он вспоминает, работая над предсмертным «Памятником». Но обращение Пушкина к Радищеву в начале 30-х годов приобретало особое значение и смысл.

После расправы над участниками декабрьского восстания **Пушкин** остается одним из немногих представителей 20-х годов, сохранивших возможность обращаться к русскому обществу. Более десяти лет тянется тяжелая, неравная схватка, прерванная в 1837 г. пулей Дантеса: попытки царя приручить великого поэта, попытки поэта использовать свое положение для облегчения участи томившихся в ссылке борцов, для пробуждения тех умов, которые еще спали во тьме рабства и послушания.

---

[1] «Александр Радищев» впервые опубликован П. В. Анненковым в 1857 г.; «Путешествие из Москвы в Петербург» в полном виде — П. А. Ефремовым в 1880 г.

В 1826 г. поэт через В. А. Жуковского известил своего будущего коронованного цензора: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» [2]. Но при всем благонамеренном общем тоне его работ сама тяга к темам, далеко не благонамеренным, не могла не настораживать Николая I и его подручных. Поэта, только что завершившего «Бориса Годунова» — эпопею «смутного» времени конца XVI — начала XVII в., влечет теперь громадное крестьянское возмущение, потрясшее, уже в XVIII в., самодержавную Россию («Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта», незаконченная «История села Горюхина»), его мысль обращается к эпохе падения феодализма в Европе («Сцены из рыцарских времен», «Скупой рыцарь»), наконец, к запретному Радищеву. При всей своей образованности охранители не могли проникнуть в тайну мысли ясного и могучего ума, созревшего в раздумьях над трагическими уроками поражения декабристов, в размышлениях над бурными и изменчивыми судьбами европейского движения. А мысль Пушкина уходила все глубже и глубже в толщу веков; сложнейшие философские сюжеты — законы движения могучей и бессильной народной стихии, отношения власти и народа, феодалов и третьего сословия, просвещенных дворян и народа, отзвуки этих грандиозных, в полном смысле слова «толстовских» тем ясно различимы в детских сказках, в миниатюрных драмах, в непритязательных повестях и поэмах. Статьи о Радищеве занимают особое место в творчестве Пушкина. Перед нами попытка чисто публицистического выступления поэта, а публицистика, казалось бы, должна давать в отчетливой форме те политические выводы, которые не следуют так просто и непосредственно из художественных произведений. Но так только на первый взгляд. При всей привлекательности этого публицистического плода «раскусить» его по-настоящему удалось далеко не сразу и далеко не полностью — свидетельством тому все растущее число работ еще на одну «спорную» тему: «Пушкин и Радищев» [3].

---

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. Изд-во АН СССР (1937—1959), т. 13, стр. 265—266.

[3] Назовем некоторые из них: В. Е. Якушкин. Радищев и Пушкин. М., 1886; П. Н. Сакулин. Пушкин и Радищев. Новое

Начнем с фактов несомненных. Пушкину в 30-е годы было прекрасно известно отрицательное отношение официальной России к любым попыткам заговорить о Радищеве. Единственным в таких условиях шансом оставалось выступление с обличением «крамольных» взглядов писателя. Этой цели в статьях Пушкина служили не только десятки уничтожающих высказываний о Радищеве («дерзость мыслей и выражений», «безумные заблуждения», «пошлость и преступность его пустословия», «мрачность» его красок, «ничтожность» его влияния и т. п.), напоминающих по стилю и слогу негодующие заметки Екатерины II на полях «Путешествия», но и целый ряд политических формул, фиксировавших полную благонамеренность собственной позиции автора.

Отнесем к таковым упования Пушкина на самодержавную власть как единственную в России преобразовательную силу: «Не могу не заметить, что со времен восшедствия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и не охотно» [4]. В том же благонамеренном тоне выдержаны отдельные места, подчеркивающие благоденствие русских крепостных крестьян по сравнению с положением их собратьев на Западе. Напомнив, что еще Фонвизин считал более счастливой участь русского земледельца по сравнению с французским, Пушкин продолжал: «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джаксона... У нас нет ничего подобного» [5].

решение старого вопроса. М., 1920; В. П. Семенников. Радищев и Пушкин.— В кн.: «Радищев. Очерки и исследования», стр. 241—318; Г. П. Макогоненко. Пушкин и Радищев.— «Ученые записки ЛГУ», 1939, № 33, вып. 2; Б. С. Мейлах. «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина.— «Известия АН СССР. Отд. литературы и языка», 1949, № 3; Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Саратов, 1959, и др.

4 Пушкин. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 244.

5 Там же, стр. 257.

Добавим сюда же сугубо отрицательные характеристики французской освободительной философии XVIII в., о которой волей-неволей приходилось упоминать любому автору, писавшему о Радищеве. Возьмем одну из них: «В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему,— вот что мы видим в Радищеве». Но поэту недостаточно отмежеваться только от французских философов XVIII в. и их незадачливого русского ученика, не менее резок он и в своем отношении к их продолжателям в XIX в: «Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник Молвы видит в них опять и цель человечества и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими» [6].

Литературоведы (за редкими исключениями) никогда не принимали за чистую монету всех этих формул, тем более, что часть их нейтрализуется текстом тех же статей. Так, назвав «Путешествие» в одном месте «скучным», «посредственным» произведением, Пушкин в другом шутливо разъясняет, что для серьезного читателя, располагающего досугом, «чем книга скучнее, тем она предпочительнее»; заявление о «жеманности» и «надутости чувств» Радищева смягчено признанием самоотверженности и бескорыстия этого «преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию» [7]. При внимательном чтении становится ясной необоснованность обвинений в слишком мрачном взгляде на русскую жизнь, предъявленных Пушкиным Радищеву. Забыв о сделанных упреках, Пушкин порой сам идет Радищеву «во след», он не только соглашается с ним (пересказ глав «Медное», «Городня»), но

---

[6] Пушкин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 36, 31.
[7] Там же, стр. 32—33.

в ряде случаев дополняет его. «Помещик, описанный Радищевым,— говорится о „Вышнем Волочке“,— привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад... Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целию, к которой двигался он с силою души необыкновенной, и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать... Он был убит своими крестьянами во время пожара» [8].

Но если мнение о подцензурном характере статей Пушкина давно утвердилось в литературе, то с гораздо бóльшим трудом решается вопрос о том, что следует относить на счет «эзоповского языка». Несомненно, Пушкин не считал Радищева ни преступником, ни полузнайкой, он изумлялся подвигу первого певца вольности на Руси и хотел об этом подвиге напомнить читателю. Но в то же время некоторые из перечисленных нами формул трудно отнести к привнесенной части или счесть простой платой за возможность напомнить о Радищеве, они встречаются в других произведениях Пушкина 20—30-х годов. Напомним известные слова Гринева: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» — эта тирада почти без изменений перенесена Пушкиным в «Капитанскую дочку» из отрывков о «Путешествии» [9].

В той же «Капитанской дочке» находим известное высказывание: «Не приведи бог видеть русский бунт—бессмысленный и беспощадный.» [10] Мысли того же порядка, осуждающие не только крестьянский бунт, но и дворянский «заговор», содержатся в записке Пушкина о народном воспитании, представленной в 1826 г. царю: «...Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой необъятную силу правительства, основанную на силе вещей» [11].

Правда, часть этих мест можно опять-таки списать на счет «цензуры» или «тактических замыслов» Пушкина, стремившегося в условиях тяжелейшей реакции вызвать

[8] Там же, т. 11, стр. 267.
[9] Там же, т. 8, стр. 318—319 (Ср. т. 11, стр. 258).
[10] Там же, т. 8, стр. 383.
[11] Там же, т. 11, стр. 43.

Николая I на отдельные, пускай мизерные, меры по насаждению «просвещения» в России. Некоторые из цитированных произведений (записка о «Народном воспитании») были просто ответом на заказ «свыше» — они, естественно, не могут быть мерилом пушкинского радикализма. Но и при таком списывании на счет цензуры и «тактики» большинства указанных (и аналогичных) высказываний все же остаются места, необъясняемые воздействием внешнего давления, связанные, по всей очевидности, с внутренним убеждением поэта.

Так, мысль о тщетности бунта одиночек перед «необъятной силой правительства» составляет основной историко-философский мотив пушкинского «Медного всадника». В письме А. А. Дельвигу поэт напоминал: «...Никогда я не проповедывал ни возмущений, ни революции» [12]. Об ужасах якобинского террора Пушкин писал не только в статье «Александр Радищев», но и в известном стихотворении об Андрее Шенье (написанном до декабрьского восстания 1825 г.):

От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство.
И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор! [13]

О трагическом исходе французской революции напоминает и стихотворение «К вельможе» (1830 г.):

Всё изменилося. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы [14].

Выписок достаточно, чтобы показать, какую громадную трудность представляет оценка социально-политических

[12] Пушкин. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 259.
[13] Там же, т. 2, стр. 398.
[14] Там же, т. 3, стр. 219.

взглядов Пушкина 30-х годов. Не отделив в произведениях Пушкина элемента привнесенного, навязанного от элемента органического, собственно пушкинского, мы вообще не вправе судить об истинном отношении Пушкина к Радищеву.

И все же, не вынося пока каких-либо общих суждений, мы пробуем разобраться в пушкинской оценке «Путешествия». Больше того, мы примем в качестве отправной самую крайнюю и «невыгодную» для Радищева точку зрения — о вполне искреннем характере всех без исключения обвинений в его адрес, всех благонамеренных формул поэта. Допустим, что статьи Пушкина о Радищеве содержат, как уверял в свое время их публикатор П. В. Анненков, «цельную консервативно-аристократическую теорию, которую Пушкин выработал в 30-х годах» и что с этих позиций Пушкин подходил к Радищеву. Тогда логично допустить и другое: Пушкин, возлагающий все надежды на дом Романовых и опасающийся крестьянских мятежей, должен был в первую очередь выявить и выделить благонамеренные мысли Радищева, коль скоро «Путешествие» (как уверяют нас в один голос либеральные историки) было обращением к «философу на троне». Но — факт уничтожающий для либеральной историографии! Пушкин не видит почти никаких мыслей этого толка в «Путешествии»! Книгу Радищева он именует ясно и недвусмысленно: «сатирическое воззвание к возмущению»! [15–16]. Если либеральные историки в один голос твердили о недопонимании Екатериной II Радищева, то для Пушкина никакого понимания между ними и быть не могло, ибо Радищев боролся с правительством, а вовсе не обращался к нему: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!» Если буржуазные историки восторгались хотиловским проектом освобождения крестьян «сверху», то Пушкин как раз упрекает автора «Путешествия» за то, что он не обратился (!) с таким проектом к «верхам»: «Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на

[15–16] В очерке «Александр Радищев» мимоходом отмечено, что в «Путешествии» «есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений», но о каких мыслях конкретно идет речь — Пушкин не разъясняет (см. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 36).

благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ, как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян?..»[17].

Одно из двух: либо Пушкин вообще не читал главы «Хотилов» (вещь совершенно невозможная), либо читал, но не заметил в ней того «либерального» содержания, которое открыли в нем некоторые историки 60—70-х годов XIX в.![18]

Повторяем, даже допустив полную благонамеренность позиций самого Пушкина (вариант наиболее «устраивающий» любого либерального историка), мы не сможем зачислить поэта в союзники либеральных историков. Даже при таком допущении Пушкин оказывается сторонником революционно-демократической историографии, которая видела в Радищеве зачинателя революционной традиции России!

А можно допустить и совсем иное: Пушкин был далеко не столь благонамерен в своем отношении к самодержавию в 30-е годы, под прикрытием охранительных формул и гневных обличений он пытался вырвать из мрака забвения первую на Руси революционную книгу. Тогда можно будет выставить несколько увлекательных гипотез. Можно, например, предполагать, что Пушкин заметил последовательность развития мыслей Радищева, революционную логику «Путешествия» и своим парадоксальным высказыванием (Радищев излил здесь «свои мысли безо всякой связи и порядка») наталкивал читателя на раздумья, хотел заранее вызвать его на спор своей явно дезориентирующей заметкой. Другой вариант: Пушкин более всего ценил в «Путешествии» кульминационные революционные главы, и предлагая читать книгу с конца, обращал внимание читателя на то главное и основное, ради чего затевалась игра с цензурой. Любопытно, что в набросках Пушкина не выражено никаких неодобрений по поводу «крамольной» «Воль-

---

[17] Пушкин. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 32, 36.

[18] Более сложно определить отношение Пушкина к главе «Выдропуск». В своем «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин выписывает следующие слова: «Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу». Соглашаясь с этой «неоспоримой истиной», Пушкин тем не менее характеризует эту часть «Проекта в будущем» как «начертание о уничтожении придворных чинов, исполненное мыслей, большею частию ложных, хотя и пошлых». Пушкин. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 265.

ности», напротив, подчеркнуты достоинства оды: «Стихи его лучше его прозы. Прочитайте его Осьмнадцатое столетие, Сафические строфы, басню, или вернее элегию Журавли — все это имеет достоинство. В главе, из которой выписал я приведенный отрывок, помещена его ода на Вольность. В ней много сильных стихов». Отмечено литературоведами, что Пушкин принимает выводы главы «Медное» («Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которым на сей раз соглашаюсь поневоле...»), а ведь выводы эти противопоставляют путь действий народа, восстающего против «тяжести порабощения», надеждам на человеколюбие «великих отчинников» [19].

Но не будем вдаваться в область догадок и предположений — достаточно того, что факты, установленные и неопровержимые, не дают никаких подтверждений версии о либерализме «Путешествия».

3. Добролюбов и Радищев

Очерк Пушкина «Александр Радищев» сыграл, хотя и с запозданием на два десятилетия, ту роль, какую ему отводил автор: он заново открыл для публики писателя, чьи произведения (и даже имя) много лет были под запретом. Однако само по себе открытие могло получить превратное истолкование в силу предвзятого характера многих оценок Пушкина. О такой возможности говорил хотя бы тот же комментарий П. В. Анненкова: «...Пушкин в своей статье показывает, что никакие благие намерения не могут оправдать нарушения узаконенных постановлений и никакие злоупотребления, столь неизбежные в каждом человеческом обществе, не могут извинить слова гнева и враждебных страстей. Для борьбы с недостатками и пороками Пушкин прежде всего требует от всякого деятеля *любви* и пребывания в границах закона,— и это составляет высокую, нравственную мысль его дельной и строгой статьи» [20].

Поэтому первой задачей, вставшей перед революционно-демократической критикой, было использование и развитие пушкинского замысла при самом решительном отме-

---

[19] См., например, Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 393.

[20] Сочинения Пушкина. Седьмой, дополнительный том. СПб., 1857, ч. II, стр. 4.

жевании от охранительных положений пушкинской статьи. Одним из первых начал борьбу за Радищева критик-демократ Н. А. Добролюбов, немедленно откликнувшись на публикацию П. В. Анненкова. Еще до разговора о пушкинском очерке «Александр Радищев» Добролюбов начинает готовить читателя к мысли об отсутствии у поэта как раз того «зрелого, здравого и проницательного критического такта», который Анненков обнаружил в его предсмертных статьях. Не приводя этих слов, но прямо полемизируя с ними, Добролюбов подчеркивает: у Пушкина этих лет «мы видим взгляд весьма поверхностный и пристрастный» [21].

Известные строки пушкинского послания Чаадаеву:

> Но в сердце, бурями смиренном,
> Теперь и лень, и тишина...

дают критику возможность поставить под сомнение верность пушкинских суждений о Радищеве: «Не мудрено, что при таком расположении ему очень не нравилось все, что мешало лени и тишине, и что по этому случаю Радищев заслужил особенное его нерасположение» [22].

Но критик-демократ, борясь за Радищева, вовсе не намеревался отдавать охранителям Пушкина. Для него не составлял тайны навязанный характер многих суждений поэта. Он предупреждает читателя: «...Направление, принятое Пушкиным в последние годы, вовсе не исходило из естественных потребностей души его, а было только следствием слабости характера, не имевшего внутренней опоры в серьезных, независимо развившихся убеждениях и потому скоро павшего от утомления в борьбе с внешними враждебными влияниями» [23].

Несоответствием этого «заданного» (!) направления «гордым, независимым стремлениям прежних лет» Добролюбов объяснял и «странное борение, какую-то двойственность» всех произведений последнего периода, в особенности очерка «Александр Радищев». «Пушкин,— замечает критик,— нередко впадает даже в противоречия с самим собой». Так, в одном месте он называет Радищева слабоумным, невежественным, слепым, словом, полузнайкой, в другом относит его к людям «просвещенным и мысля-

[21] Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 2. М.—Л., 1962, стр. 170.
[22] Там же, стр. 174.
[23] Там же.

щим»; в одном месте он выставляет его исключительно с дурной стороны, в другом высказывает о Радищеве «высокие понятия»; здесь говорит, что Радищев не имел никакой цели, там подчеркивает удивительную самоотверженность и даже фанатичность, с какой он стремился к цели, и т. д. «Вообще нужно заметить,— заключал Добролюбов,— что статья о Радищеве любопытна, как факт, показывающий, до чего может дойти ум живой и светлый, когда он хочет непременно подвести себя под известные, заранее принятые определения. В частных суждениях, в фактах, представленных в отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоянно вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы» [24].

Если рецензия Добролюбова на VII дополнительный том сочинений Пушкина преследовала цель достаточно узкую: нейтрализацию охранительных положений очерка «Александр Радищев» и комментария Анненкова к нему, то куда более важной по замыслу была статья «Русская сатира екатерининского времени» (1859 г.).

Отнюдь не ради антикварно-исторического интереса критик возвращался в самый разгар «великих» реформ Александра II к сюжетам идейной борьбы далеких екатерининских времен. В те годы, когда русское «передовое общество» жило во власти либеральных надежд и представлений, Добролюбов на примере оппозиционной русской журналистики XVIII в. еще раз обнажал политическое бессилие и никчемность либерализма, бесплодность надежд на коренное переустройство общества совместными усилиями «правительства и литературы».

Неотступно, настойчиво, навязчиво Добролюбов варьировал одну и ту же мысль: сатирики XVIII в. «никогда почти не добирались... до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия»; сатира не понимала того, что «все эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства»; сатирики екатерининского времени питали иллюзию, что «здание само по себе совершенно хорошо, но что его нужно только

---

[24] Там же, стр. 170, 173, 174, 176.

очистить несколько от накопленного в нем сора»; сатира «не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить», «человека, который свалился с ног от тяжелой болезни, она хотела заставить ходить, расправляя его ноги разными специями»; сатирики «не хотели видеть связи всех частных беззаконий с общим механизмом тогдашней организации государства и от ничтожнейших улучшений ожидали громадных следствий»; «даже в вопросе об отношениях помещиков и крестьян сатира думала идти за великою монархинею, которая совсем и не намерена была подымать этого вопроса» [25]. Крах «великих» начинаний Екатерины II и должен был послужить предупреждением о крахе «великих» реформ Александра II.

Могут сказать, что такой сугубо тенденциозный подход к русской журналистике XVIII столетия, предъявление к ней критериев гораздо более «зрелого» в политическом отношении XIX в. был оправдан практическими задачами непосредственной борьбы, которую вел Добролюбов с тогдашними либералами, однако грешил против историзма. Действительно, позднейшая либеральная историография делала «критику 60-х годов» упреки в явно тенденциозном подходе к сатирикам XVIII в., в предъявлении им непомерных требований [26]. Но как раз «тенденциозность» в хорошем смысле этого слова и позволила Добролюбову разглядеть еще в зародышевых формах антифеодальной идеологии XVIII в. истоки тех двух тенденций, которые стали «вызревать» столетием позже. Выявив либеральную ограниченность сатиры XVIII в., великий критик впервые в русской литературе заявил о существовании в антифеодальной идеологии екатерининской эпохи иного, революционного течения. «Книга Радищева,— отмечал Добролюбов,— составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, и именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против нее и можно было употребить столь сильные меры. Впрочем, если бы этих мер и не было, все-таки „Путешествие из Петербурга в Москву“ осталось бы явлением исключитель-

---

[25] Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 5. М.— Л., 1962, стр. 315, 317, 344, 348, 350—352, 365, 372—373.

[26] См. характерную сентенцию сборника «Итоги XVIII века в России. Введение в русскую историю XIX века». Очерки А. Лютша, В. Зоммера, А. Липовского. М., 1910, стр. 471.

ным, и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие» [27].

Добролюбов писал с оглядкой на цензуру и не мог вдаваться в разъяснение смысла радищевской «исключительности». Но читатель — по методу контраста — понимал, что Радищев как раз добирался до «корня зла», видел «коренную дрянность» всего государственного механизма, требовал, в отличие от современников, не «идти за великою монархинею» а искать других путей решения вопроса «об отношениях помещиков и крестьян». Каких именно — подсказывали читателю приведенные критиком слова указа Екатерины II, сославшей Радищева в Сибирь «за издание книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями противу сана и власти царской» [28].

Цензура, естественно, не могла вырезать из добролюбовской статьи слова царского указа, а они-то и ставили точку над і.

4. Милюков и Радищев

От публицистики революционно-демократической мы перейдем к литературе либеральной, от Н. А. Добролюбова — к П. Н. Милюкову.

Бросается в глаза, что доказательство тезиса: «Путешествие» — обращение к «философу на троне» Милюков начинает, опираясь на тексты не Радищева, а его оппонента — А. М. Кутузова. В своих «Очерках» он приводит громадные выписки из письма Кутузова, в том числе слова: «Ежели бы наша монархиня могла видеть все то, что определенные ею делают, вострепетало бы ея нежное человеколюбивое сердце; гнев ея, справедливый гнев, постиг бы сих нечеловеков, злоупотребляющих ея доверенность. Я всегда скажу, без всякаго лицемерия: не монархиня причиною нашего притеснения, но одоверенные частицею ея власти. Скажу и то, что *частию мы сами причиною сего*. Дитя не плачет, мать не разумеет. *Для чего не прибегаем к самой ней* и не стараемся *пробиться* сквозь

---

[27] Н. А. *Добролюбов*. Собр. соч., т. 5, стр. 328.
[28] Там же, стр. 327.

лицемерие, ласкательство и ложь, окружающия ея престол? Она человеколюбива, она правосудна; без сомнения, подала бы нам руку помощи»[29]. Из подчеркнутых Милюковым слов выводятся по «аналогии» и взгляды Радищева. Набрасывая свою программу, Кутузов, оказывается, «не подозревал, что та же самая картина, только в детальных и конкретных чертах, составляет главное содержание инкриминированной книги Радищева... Его жажда поскорее просветить власть, показать ей обратную сторону медали, скрываемую „средостением", особенно ярко высказывается в его „сне", составляющем кульминационную точку всего „Путешествия"»[30].

Но «кульминация», как мы знаем, кончается скептическим замечанием насчет способностей «Нечто, седящего во власти на Престоле» познать истину.

«Еще неопомнившись схватил я себя за палец, но терноваго кольца на нем небыло. О если бы оно пребывало хотя на мизинце Царей!

Властитель мира, если читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою, или нахмуриш чело, ведай, что виденная мною странница, отлетела от тебя далеко, и чертогов твоих гнушается» (I, 257).

Цитируя, но не полностью это место (выброшен первый из двух абзацев), Милюков сразу же приступает к нейтрализации возникающих у читателя сомнений: «Но нет, Радищев не хочет верить этому. Он твердо уверен, что истина должна и может говорить свободно в России»[31]. Далее следуют слова Радищева из главы «Торжок», как будто действительно подтверждающие сказанное: «Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем безпрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, истинна не затмится. Недерзнут правители народов удалиться от стези правды, и убоятся; ибо пути их, злость и ухищрение обнажатся» (I, 335).

Но «исследователь» незаметно для читателя успел произвести ловкую подмену. В «Спасской полести» Радищев говорил о неспособности царской власти внимать слову Правды, в «Торжке» — о том, что вольное слово должно стать

---

[29] П. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. 3, стр. 390.
[30] Там же, стр. 391, 393.
[31] Там же, стр. 393.

средством обуздания правителей народов. В последнем высказывании нет и намека на то, что «истина» не только должна, но уже может говорить свободно в России. Напротив, текст главы в целом подчеркивает расхождение слов и дел Екатерины II: «Ныне поверхность только гладка, но ил на дне лежащий мутится, и тмит прозрачность вод» (I, 336). В этом смысле показательна и язвительная концовка главы «Торжок»: «В России... Что в России с ценсурою произходило, узнаете в другое время. А теперь не производя ценсуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь» (I, 348). Либеральный историк не приводит этих слов — а жаль! Они неплохо иллюстрируют его тезис о том, что, по Радищеву, «истина может говорить свободно в России»...

Следующий объект внимания Милюкова — глава «Хотилов», в которой Радищев якобы и предложил царской власти свою позитивную программу: «...Радищев не ограничился в „Путешествии" тем, что нарисовал мрачную картину русской действительности. Он решился указать и на средства помочь злу, перенеся, впрочем, свои указания в более или менее отдаленное будущее... „Не мечта это,— говорит он в конце,— но взор проницает густую завесу времени, скрывающую от очей наших будущее; я зрю сквозь целое столетие..."'. И от имени „гражданина будущих времен" Радищев предлагает свой „проект в будущем"» (следует пересказ проекта)[32].

Перед нами тот же самый прием, та же подстановка. Из главы «Городня» либеральный историк взял вдохновенные слова Радищева о *грядущей революции*: «Не мечта сие... я зрю сквозь целое столетие» и приклеил их к... «Проекту в будущем»! Что же касается относящейся к проекту скептической поговорки «Всяк пляшет, да некак скоморох», то Милюков ее, естественно, не заметил...

Так преподнесена Милюкомым мнимая либеральная кульминация книги. А вот как «обработана» ее подлинная революционная кульминация.

«Вольность» также оказывается произвольно приклеенной к «Проекту в будущем» — той его части, где царь «соединял власть со свободою»: «Впрочем, в *такое* отдаленное будущее и „проект" Радищева не заглядывает.

---

[32] П. *Милюков*. Указ. соч., ч. 3, стр. 394—395.

Проза для такой утопии не годится, и Радищев начинает говорить стихами. Он пишет оду, в которой развивает упоминавшиеся выше теории Мабли и французской памфлетной литературы, Гольбаха и собственного своего примечания к переводу Мабли (см. выше, стр. 373, 386)»[33].

Вот, собственно, и все, что сказано о революционных идеях «Путешествия»! Но может быть, расшифровке оды поможет отсылка Милюковым читателя на страницы 373 и 386 его книги? Вот что говорится на 373 странице о памфлетной литературе XVIII в., той самой, которая отражена в оде «Вольность»: «В противоположность теории божественного права, выдвинутой королем в его законодательном эдикте, эти памфлеты делали новые выводы из старой теории естественного права,— выводы Руссо и Contrat social. Верховенство принадлежит не одному человеку, а целой нации,— не только до создания государства, но и после избрания народом властей,— для контроля над ними... Если акты королевской власти нарушают основные законы государства, то эти акты не могут иметь юридической силы. Против них нация имеет „право сопротивления" — право, примененное уже англичанами в их „мирной" революции 1688 г. ...Гримм характеризовал это настроение, как беспокойное брожение, напоминающее эпоху реформации и „предвещающее неизбежное наступление революции", очагом которой будет Франция и „которая будет иметь перед прежними то преимущество, что осуществится без пролития крови"»[34].

Милюков прав — указанные идеи действительно присутствуют в оде «Вольность» все, кроме одной — идеи «мирной» и «бескровной» революции 1688 г. ...В оде описана иная революция — 1648—1649 гг., осуществленная отнюдь не «без пролития крови». Вспомним хотя бы слова оды:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна,
Омыть свой стыд уж всяк спешит (I, 358).

Смысла и сути оды не проясняет и страница 386 милюковского труда. Здесь Милюков пересказывает «Размышления о греческой истории» Мабли и примечание к ним

---

[33] П. Милюков. Указ. соч., стр. 396.
[34] Там же, стр. 373.

Радищева, в которых, как известно, не было еще тех революционных выводов, которые появились в радищевских произведениях 80-х годов.

Итак, все «исследование» почтенного историка оказалось цепочкой искусных подтасовок. Подтасовок, иначе их не назовешь,— ибо никто не станет утверждать, что Милюков был малоквалифицированным исследователем. Нет, он обладал блестящей профессиональной подготовкой и знал толк в текстах XVIII в. Но он был историком либерального направления, а там, где выводы диктовала предвзятая классовая политика, молчала, отступала на второй план наука.

Милюков издавал свои «Очерки» в царской России, где либерализм был под полузапретом, посему, зачисляя Радищева в основоположники «непрерывной и богатой фактами традиции», он еще не называет вещи своими именами [35]. Но это делает в те же годы ушедший в эмиграцию духовный собрат Милюкова — П. Б. Струве: «Наш орган не будет „революционным", но он будет всем своим содержанием требовать великого переворота русской жизни...,— писал он в редакционной статье № 1 „Освобождения".— Для этого освободительного дела нужны глубокие и широкие национальные традиции. Такие традиции созданы всем культурно-общественным развитием нашей страны: от Новикова и Радищева через декабристов и людей 40-х годов, через достопамятные 60-е годы, годы великих реформ, они ведут к новейшей борьбе последней четверти XIX и начала XX века за права личности и участие народа в законодательстве и управлении» [36].

5. «Классы не ошибаются»

В. И. Ленин говорил: лучшая проверка любых доводов — «изучение отношения к вопросу *различных классов* общества» [37]. Подойдем с этим критерием к нашей теме.

Прежде всего не марксистским историкам и даже не революционным демократам XIX в. принадлежит приоритет в оценке Радищева как революционера. Этот приоритет — за царями, за крепостниками, за русской контрреволюцией.

[35] Там же стр. 378.

[36] «Освобождение», изд. под ред. П.Струве. Штуттгарт, 18 июня/1 июля 1902 г., № 1.

[37] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 278.

«Он бунтовщик хуже Пугачева»,— так впервые аттестовала Радищева Екатерина II. В этой формуле замечательны и отмеченная близость Радищева к Пугачеву и подчеркнутое отличие одного от другого. Не было в то время для крепостников имени страшнее и ненавистнее, чем имя Пугачева. Но Радищев оказался «хуже Пугачева», хуже потому, что был он не просто бунтовщик, а революционер, хуже потому, что первый в России задумался над тем, как превратить слепой бунт в революцию. Воспоминания о восстании Пугачева в России и вести, одна другой страшнее, доходившие из Франции, «прояснили» крепостникам смысл «Путешествия», помогли узреть в книге «рассеивание заразы французской».

Показателен язык официальных документов по делу Радищева. Палата уголовного суда, рассмотрев «Путешествие», зачисляет ее автора в категорию «воров», которые «чинят в людях смуту и затевают на многих людей — своим воровским умышлением затейные дела», лиц, учиняющих «измену», «бунт, возмущение и упрямство» [38]. Примечательно, на какой юридической основе выносится Радищеву смертный приговор. Он обвиняется в нарушении «воинских артикулов» и «морского устава»! Радищев недаром говорил о своей «Вольности»: предмет стихов моих «несвойствен нашей земле». Законодательство еще «отстает» от жизни: еще не были выработаны статьи, карающие за политические преступления. Несколько десятилетий спустя царизм будет судить революционеров «во всеоружии», в полном соответствии с буквой закона.

Век XIX ничего не изменил в отношении самодержавной России к Радищеву. Сменялись на русском престоле один монарх за другим, периоды беспросветной реакции перемежались с периодами «либеральных начинаний», но «Путешествие» продолжало оставаться под запретом. Сыновья Радищева, издавшие вскоре после его смерти первое собрание сочинений отца (1806—1811 гг.), так и не смогли включить в него книгу, а опубликованное в V томе «Житие Ф. В. Ушакова» было изуродовано цензурой [39].

В 1836 г. министр народного просвещения граф

[38] Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 157—164, 211, 294—295 и др.

[39] См. подробнее: В. Мияковский. К истории цензурных гонений на сочинения А. Н. Радищева.— «Русский библиофил», 1914, № 3.

С. С. Уваров, рассмотрев статью Пушкина о Радищеве, подтвердил официальный запрет: «...Нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и о книге, совершенно забытых и достойных забвенья» [40].

В 1860 г., после того как Павел Радищев обратился к царю с прошением, цензурное ведомство признало издание «Путешествия» «несвоевременным». Повторное ходатайство П. Радищева было отклонено в 1865 г. [41]

Даже после «высочайшего повеления» об отмене запрещения на «Путешествие» [42] царская цензура не прекратила преследования радищевских идей. В 1872 г. было задержано цензурой двухтомное собрание сочинений Радищева (издание П. А. Ефремова). Не помогли ни предусмотрительно сделанные издателем книги «небольшие пропуски» самых «крамольных» мест в «Путешествии», ни его ссылки на «высочайшее повеление». Министр внутренних дел А. Е. Тимашев по-прежнему считал, что сочинения Радищева, прежде всего «Путешествие», носят характер «политического памфлета на существовавший при Екатерине II порядок вещей и вообще на весь государственный строй в монархиях». Непримиримую вражду Радищева к «существующему у нас монархическому строю» зафиксировал в своем отзыве еще один министр внутренних дел — В. К. Плеве, снова запрещая «Путешествие», на этот раз уже в 1903 г. [43]

Конечно, бывают и случайности. Не всегда реакционеры сразу отличали либерала от революционера — у страха глаза велики. Но страх перед революционными идеями «Путешествия» был столь постоянным, что его при всем желании нельзя счесть «недоразумением». Реакционеры могли ошибаться в деталях, но в общей оценке Радищева и его книги они выступали с редким единодушием. Радищев был страшен всем царям России от Екатерины II до Николая II, всем русским крепостникам, которые никогда не сомневались насчет истинного характера его идей. Охранители самодержавной России не занимались специаль-

---

[40] Цит. по кн.: Н. П. Павлов-Сильванский. Очерки по русской истории XVIII—XIX вв. СПб., 1910, стр. 147—148.

[41] См. М. И. Сухомлинов. А. Н. Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». СПб., 1883, стр. 130—131.

[42] См. «Петеобургская газета», 20 июня 1868 г.

[43] Л. М. Добровольский. Запрещенная книга в России, 1825—1904. М., 1962, стр. 92, 236.

ным «штудированием» книги Радищева, не опровергали его революционность хитроумными силлогизмами, предоставив это занятие своим ученым приказчикам, но зато боролись с ним как с живым и смертельно опасным для них врагом.

Никому из них — в отличие от некоторых исследователей XIX и даже XX в. — в голову не приходило подвергать сомнению авторитетный приговор «казанской помещицы», скорее они сожалели о «мягкости» расправы над «бунтовщиком». «Мало что Вел[икая] Екатерина тебя сослала,— сокрушался безымянный крепостник, читатель рукописного экземпляра „Путешествия“,— просто следовало повесить, как самого вредного пресмыкающего[ся]...» [44].

И более столетия поколения русских революционеров пропагандируют «Путешествие», используют идеи книги в своей борьбе. У Радищева учились декабристы. Тщетные попытки спасти от забвения имя писателя предпринимает в 30-е годы Пушкин. Эмигрант Герцен в 1856 г. публикует в первой Вольной русской типографии в Лондоне радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» (вместе с книгой М. М. Щербатова «О повреждении нравов»). Предисловие Герцена прямо ставило идеалы Радищева в связь с русской революционной традицией XIX в.: «это наши мечты, мечты Декабристов» [45]. В самой России в период решительного размежевания с лагерем либералов к наследию Радищева обращается великий русский критик-революционер Н. А. Добролюбов. М. А. Антонович в предисловии ко второму изданию т. VIII «Истории XVIII столетия Ф. К. Шлоссера» также противопоставляет радищевские идеалы «свободы ума и слова» запросам вялых и холодных «некоторых современных требователей..., устами глаголющих о свободе слова, а сердцем раболепствующих перед добровольными губителями этой свободы. Самый вопрос о свободе слова поставлен у Радищева гораздо шире и глубже, чем он ставится в наше время» [46].

---

[44] «Материалы к изучению „Путешествия...“», «Academia», 1935, стр. 255.

[45] «О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. С предисловием Искандера», Лондон, 1856, стр. VI.

[46] Цит. по кн.: «Радищев в русской критике». М., 1952, стр. 49. Однако дореволюционная демократическая публицистика не мог-

Прямыми наследниками этих традиций стали русские марксистские историки и публицисты конца XIX — начала XX в. В речи на собрании эмигрантов в Женеве 14 декабря 1900 г. Плеханов напомнил о заслугах Радищева перед русским революционным движением: «В лице Радищева,— говорил он,— мы, может быть, впервые встречаемся с убежденным и последовательным русским революционером из „интеллигенции", и недаром Екатерина II говорила о нем, что он бунтовщик хуже Пугачева» [47].

В 1901 г. В. И. Ленин, показывая коренное отличие революционера от либерала, обращается, как и Добролюбов, к имени Радищева: «...Монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых...» [48]. В 1914 г. он назовет Радищева первым представителем революционной России [49].

Перед нами неопровержимый факт: на протяжении более чем века представители крайних, антагонистических направлений — и монархическая реакция и революционеры — были едины в понимании сути «Путешествия». И те и другие видели в книге революционность, а не либерализм, разумеется, диаметрально расходясь в «симпатиях» и «антипатиях» к этой революционности.

Правда, начиная с конца 50-х годов XIX в. мы видим в русской исторической литературе тенденцию либерального возвеличения Радищева. Эта тенденция особенно ясно обозначилась после того, как Добролюбов в своих критических статьях обратил внимание на революционные идеи «Путешествия». Замалчивать дальше имя Радищева стало невозможно даже в официальной печати. Именно с этого периода начинается и систематическая либеральная «разработка» наследия писателя, слышатся в либеральной печати постоянные «недоумения» по поводу продолжающихся цензурных гонений на его книгу. В эпоху

ла изменить общее направление исследований. В России жестокие цензурные преследования сковывали демократическую мысль, эмигрантская революционная публицистика, избавленная от самодержавной «опеки», была лишена первоисточников, брала материал из вторых рук. Не всегда демократическим историкам удавалось отмежеваться от «установившихся» в историографии концепций. В той же работе Антоновича рядом со многими правильными положениями сожительствует версия о стремлении Радищева «просветить» Екатерину II (см. там же, стр. 52).

[47] Г. В. Плеханов. Соч., т. X, стр. 357.

[48] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 30.

[49] См. там же, т. 26, стр. 107.

реформ 1861 г. либеральные историки объявляют Радищева провозвестником этих «великих» событий. Над обоснованием либерализма Радищева трудится затем Милюков, от Радищева пытается вести свою родословную «Освобождение» Струве. Но роль «реформатора» Радищев сыграл только на страницах десятка «ученых» статей. Поощряя разговоры о «либерализме» Радищева, открыв с «высочайшего позволения» радищевский музей[50], царизм вплоть до самой революции 1905 г. продолжал преследование радищевской книги. Приговоры министров трех царей — Николая I, Александра II и Николая II — перевешивают тома либеральных писаний.

История борьбы вокруг имени Радищева как бы подытожилась тем, что революция 1905 г. сняла 115-летний цензурный запрет с «Путешествия», а Октябрьская революция поставила Радищеву первый памятник. Ни того, ни другого не сделала для своего «провозвестника» реформа 1861 г.

В том-то и дело, что практика классовой борьбы вокруг Радищева уже объективно доказала его революционную роль и нельзя заставить историю «переиграть» ее.

Та же реальная история доказала и полную несостоятельность либеральной интерпретации Радищева. Бесспорная революционность концепции «Путешествия» заставляла одних либеральных историков сомневаться в общепринятой версии, других толкала к прямым передержкам при ее обосновании. Случай с Милюковым, «поменявшим местами» веру писателя в будущую революцию народа с его неверием в реформы «сверху», не является единичным или исключительным. То же самое проделал, например, проф. Бороздин в 1907 г.[51]

Традиции подобного «изучения» идей Радищева и продолжают нынешние западные историки-компаративисты: Лэнг, Талер и др. Они не решают задачу, исходя из всех фактов, они берут из дореволюционной буржуазной литературы готовенькие ответы, подгоняют факты к заранее данным «выводам».[52]

---

[50] См. «Саратовский дневник», № 138, 2 июля 1885 г.

[51] Цитируя главу «Городня», Бороздин обошел призыв к избиению «племени помещиков», подставив вместо него выписки из главы «Хотилов» насчет грядущей «пагубы зверства».— Полн. собр. соч. А. Н. Радищева в двух томах, СПб., 1907, т. I, стр. XVI.

[52] Вместе с тем следует отметить и определенное влияние марксистской историографии на ряд историков немарксистских направле-

Но если вспомнить время и условия, когда появились эти «ответы» и «выводы», то нельзя не заметить, что они — в массе своей — были рождены не стремлением к истине, а желанием русских либералов приумножить свой политический капитал, примазавшись к имени Радищева. К тому же царское правительство, вынужденное примириться с изданием «Путешествия», так или иначе оказывало давление на дворянско-буржуазных историков. Эти историки явились в новых условиях прямыми преемниками и продолжателями тех, кто прежде насилием боролся с революционными идеями Радищева. Изменились лишь формы борьбы, и для этих историков сама революция была «незаконным», «неправомерным», «ненормальным», нарушающим «порядок» явлением. Когда Незеленов признал, что у Радищева есть революционные призывы, он тут же спрашивал: «Не был ли он одержим манией?» Когда Милюков выбрасывал из «Путешествия» призывы к крестьянской революции и выдавал Радищева за борца, старавшегося уничтожить «средостение», отделяющее царскую власть от народа (вспомним, как это делал Милюков!), то в это же самое время все его злободневно-политические статьи были полны фразами о «ненужности» крестьянских эксцессов, о необходимости соединения власти и народа. История должна была служить политике, задачам борьбы с революцией.

Так было и так остается в буржуазной исторической науке. Корень искажений революционных взглядов Радищева — в отношении буржуазных историков к самой революции.

«Классы не ошибаются: в общем и целом они намечают свои интересы и свои политические задачи соответственно условиям борьбы и условиям общественной эволюции»,— писал В. И. Ленин [53].

Это глубокое марксистское положение подтверждено еще раз историей борьбы вокруг «Путешествия» — той ненавистью, которую питали к книге крепостники, той славой, которую она заслужила у революционеров, той фальсификацией, которой подвергали и подвергают ее либеральные историки.

ний. Так, отказался от многих предвзятых оценок Мак-Коннелл. См. Allen Mc. Connell. A Russian Philosophe Alexander Radishchev. 1749—1802. The Hague. 1964.

[53] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, стр. 347.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О ВТОРОЙ ЖИЗНИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»

«...Легенды еще живут. Некоторые из них, утвердившись в литературоведении, подчас закрывают от нас главное в жизни тех отечественных литературных деятелей, которых мы так ценим и чтим, как их никогда не ценили и не чтили в старой России».

Георгий Шторм

1. Последние открытия Г. П. Шторма и Д. С. Бабкина

Если бы эту книгу нам пришлось издавать лет пять, даже два-три года тому назад, мы бы, скорее всего, закончили свое исследование рассказом о последних произведениях Радищева. Однако недавние события и прежде всего выход книги Георгия Шторма, пообещавшего раскрыть «величайшую тайну русской литературной и общественной жизни конца XVIII века» [1], заставляют продолжить разговор о судьбах радищевского «Путешествия».

В чем, кратко, фактическая сторона дела? Среди нескольких десятков бесцензурных рукописных копий радищевского «Путешествия» было известно две особого состава. В отличие от прочих, повторяющих печатный текст, они содержат существенные к нему дополнения — несколько вставок из цензурной рукописи (имеющих разночтения с книгой), а также уникальные тексты. Дошедшие до нас остатки самой цензурной рукописи, а также оба списка особого состава были обозначены историками литерами А, Б, В; их изучению посвящен ряд интересных работ [2].

---

[1] Георгий Шторм. Потаенный Радищев. Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву». М., 1965, стр. 14.

[2] «Путешествие из Петербурга в Москву А. Н. Радищева». Под ред. Н. П. Павлова-Сильванского и П. Е. Щеголева. СПб., 1905; В. П. Семенников. Новый текст «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. М., 1922; «Материалы к изучению „Путешествия...“». «Academia», 1935; Л. И. Кулакова.

Георгий Шторм более внимательно, чем его предшественники, отнесся к загадочной надписи на румынском языке, которая была сделана неизвестным лицом на оборотной стороне форзаца списка Б (так называемый лонгиновский список). Прежде всего он попытался расшифровать первую, не прочтенную до него строку, после чего перевод записи принял следующий вид:

«Уединенного жития моего ради для будущих веков дар! Эту книгу дарит мне добрейшая приятельница, благородная госпожа девица Аннушка, в 1800 году и добрый приятель, наставник отец Киприан, братства Саровского монастыря казначей. Эта книга изготовлена для меня».

Что важнее, Г. Шторм нашел упомянутый в таинственной надписи монастырь. Еще Я. Л. Барсков знал о том, что в Тамбовской губернии существует Саровская пустынь, но считал «невероятным», чтобы румынская запись относилась именно к ней. Саровский монастырь он упорно искал в Бессарабии. Шторм принял «невероятное» допущение за вероятную гипотезу и открыл массу интереснейших фактов. Изучение «монастырской» литературы и архивов Саровской пустыни не только позволило выявить связи с монастырем семей Радищевых и Аргамаковых, но и донесло до нас глухие отзвуки какого-то чрезвычайного происшествия, которое случилось как раз в 1800 г. с казначеем Киприаном и крайне встревожило его непосредственное и высшее духовное начальство. Далее, архивный материал позволил предположить, что «девицей Аннушкой» была двоюродная тетка Радищева — Анна Ивановна Аргамакова, по всей видимости, и причастная к изготовлению драгоценного списка Б. Путем сложнейших поисков и генеалогических исследований Г. Шторм установил, что список В восходит к тому же источнику, что и список Б,— к не дошедшему до нас протографу, который, очевидно, был в руках А. И. Аргамаковой. Был предположительно обозначен круг лиц, которые могли помочь Радищеву накануне ареста утаить черновики уничтоженной им книги. Наконец, сам Г. Шторм открыл еще один оригинальный список Г, содержащий только те главы «Путешествия», в которых имелись дополнения к печатному тексту.

К вопросу о тексте оды А. Н. Радищева «Вольность».— «Известия АН СССР. Отд. литературы и языка», т. XV, вып. 2, 1956.

Не успели затихнуть полемические страсти вокруг открытий Шторма[3], как последовали новые, менее громкие, но достаточно важные открытия. В одном из уцелевших экземпляров первого печатного издания «Путешествия» Д. С. Бабкин обнаружил на нескольких белых листах под переплетом книги и в самом тексте отдельные «поправки и заметки редакционного характера», сделанные рукой Радищева[4]. Бабкин предположил, что экземпляр этот (как и другой, в свое время приобретенный Пушкиным) принадлежал до 1801 г. Тайной канцелярии. Летом 1801 г. помещение и библиотека упраздненной Тайной канцелярии были переданы Комиссии составления законов. Радищев, только что зачисленный в Комиссию, получил доступ к библиотеке, где мог обнаружить свою книгу. «В том же году, по-видимому,— пишет Бабкин,— он приступил к подготовке „Путешествия“ ко второму изданию»[5].

Эти открытия, как будто свидетельствующие о желании автора «Путешествия» сохранить книгу для грядущих поколений, побудили исследователей взглянуть по-новому на весь последний период деятельности Радищева.

2. О «новом качестве» списка Б

Исходя из добытых им фактов, связанных с историей изготовления списка Б, Шторм делает свое главное открытие, начисто отвергаемое одними специалистами («Открытие не состоялось» — Г. П. Макогоненко) и рьяно поддерживаемое другими («Открытие состоялось. Попытки оговорить книгу бесплодны» — А. В. Западов; «А я думаю, что гипотезу Шторма не опровергнуть!» — крупный знаток творчества Лермонтова И. Л. Андроников).

Открытие Шторма гласит: «дополнения важнейшие», отличающие списки Б, В, Г от известного нам печатного текста, перешли в эти списки не из ранних рабочих вариантов рукописи, утаенных перед арестом, как считалось раньше. Их дописал Радищев после возвращения из ссыл-

---

[3] «Литературная газета», 11 февраля и 11 марта 1965 г.; «Известия», 17 сентября 1965 г.; «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1965, № 5; «Русская литература», 1966, № 1; «История СССР», 1966, № 1; «Вопросы литературы», 1966, № 5.

[4] Д. С. Бабкин. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность. М.— Л., 1956, стр. 271, 275.

[5] Там же, стр. 283.

ки. Утвердившись на этой позиции, исследователь радикально пересматривает весь последний период творчества писателя. По заявлениям Шторма, его книга кладет конец существующей в нашей литературе «легенде», согласно которой автор «Путешествия» в конце героически прожитой им жизни якобы изменил своим убеждениям и, разочаровавшись в революции, стал либералом, «певцом самодержавия». Напротив, факт «воссоздания уничтоженного „Путешествия" в его новом качестве», еще более революционном, демонстрирует «подлинный несгибаемый характер» Радищева, его крепнущую веру в прежние идеалы [6].

Скажем сразу же: суть и смысл опровергаемой «легенды» Шторм формулирует заведомо неправильно. Никто из советских историков, специально занимавшихся последним периодом жизни писателя, никогда и нигде не утверждал, что Радищев в конце жизни изменил всем своим прежним убеждениям или, тем более, стал «певцом самодержавия». Многие писали об ином — изменилось в это время отношение писателя к средствам осуществления прежних идеалов «вольности». Осудив кровавую практику якобинской диктатуры, Радищев действительно попытался пойти тем путем, который отвергал в «Путешествии»,— путем апелляции к разуму и воле самодержца.

Возможно, наше уточнение покажется тонкостью, но это такая «тонкость», которой не может пренебречь ни один исследователь общественной мысли XVIII — начала XIX в., иначе ему придется, скажем, не только Радищева 1800-х годов, принявшего участие в работе Комиссии составления законов Александра I, но и всех просветителей Франции, пытавшихся проводить революционные идеалы руками коронованных владык, отнести к разряду «либералов», пройти мимо тех реальных противоречий просветительской идеологии, тех коллизий между желаниями и возможностями мыслителей XVIII в., которыми столь богата история не только Франции, но и России. Трагедия Радищева отнюдь не придумана советскими историками, она вписана в историю русской литературы кровью писателя...

Еще более печально, Г. Шторм не смог согласовать свои собственные посылки и выводы. Даже если допустить, что все без исключения перечисленные Штормом до-

[6] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 6, 225, 262, 279.

полнения вписывались в уникальный список «Путешествия» в конце XVIII или самом начале XIX в., то и тогда нельзя говорить о каком-то «новом качестве» этого списка.

Перечислим эти «дополнения важнейшие», как их именует Шторм. Прежде всего, в списке Б ода «Вольность» дана в более пространной редакции: число строф составляет 54 вместо 50, восстановлен текст тех мест, которые в самой книге шли пересказом. Но, во-первых, литературоведами давно доказано, что печатный, сжатый вариант оды не только содержал все главные идеи произведения, но и зачастую усиливал — путем пересказа — звучание малопонятных, написанных архаизированным языком мест. Короче, он был, несмотря на значительный объем сокращений, не слабее, а во многих отношениях сильнее расширенного варианта. Что же касается дополнительных четырех строф, то и они не меняют дела. Даже приняв вариант Шторма и признав, что таковыми являются именно те строфы, где Радищев обращался к событиям американской революции, мы опять-таки не получим никакого нового революционного «качества», скорее наоборот. Так, если считать расширенный текст ранней редакцией оды, как думает Г. П. Макогоненко и другие исследователи, то слова — «того ж, того ж и мы все жаждем» — мы должны будем отнести к примеру *вооруженной* борьбы американских колоний за свою независимость (что вполне соответствует революционным установкам «Путешествия»). В интерпретации Шторма Радищев всего-навсего «имел в виду *конституцию* — буржуазно-демократические свободы, которые на данном этапе готов был принять» [7].

Вместе с расширенным текстом оды «Вольность» идет в списке Б оригинальный текст — дополнительный вариант диалога между путешественником и стихотворцем:

«Строфы 3. 4. 6. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 30. 31. 32. 35. 38. 39. 40. 41. 42 прочитав, я ему сказал: если вы, государь мой, ни за чем другим едете в Петербург, как дабы истребовать дозволение на напечатание ваших стихов, то возвратитесь в покое домой и потщитесь исправить их от двух погрешностей: от нелепости выражений, и сказать вам могут, от нелепости мыслей.— Он, поглядев на меня с презрением: „*прочти*-

---

[7] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 235. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

те сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее... Читайте: сие долженствовало быть для великого поста, некоторым случаем не докончено. Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами". Развернув, прочел следующее:

Творение мира» (I, 431).

Выделенная нами фраза, как предполагает Г. Шторм, является упоминанием об уже имевших место аресте и ссылке писателя (т. е. носит автобиографический характер), в целом же, по собственному признанию исследователя, вариант беседы стихотворца с путешественником играет всего-навсего роль «комментария к творческой истории оды „Вольность"» [8], т. е. не касается идей произведения по существу.

Остается еще включенная в список 1800 г. поэма «Творение мира», которая, как доказывает Г. Шторм, была написана в самом конце 90-х годов. Но даже если и так, новизна этого произведения оказывается весьма относительной. Принимая тезис исследователя: под видом библейской легенды о творении в поэме описано рождение «нового социального мира», мы опять-таки не выходим за уже известный нам круг идей оды «Вольность». «Прежде всего нет сомнения,— пишет сам же Шторм о поэме,— что она является прямым продолжением оды „Вольность", точнее — расширенным вариантом ее последней (54-й) строфы» [9].

Правда, в списке Б имелось еще несколько вставок (к главам «Тосна», «Чудово», «Новгород», «Крестьцы», «Хотилов», «Торжок»). Но эти небольшие фрагменты, поясняющие или дополняющие основной текст, перешли в списки из цензурной рукописи, т. е. никак не относятся к позднему периоду творчества Радищева.

Суммируя, можем заключить: ни одной принципиально новой идеи по сравнению с известным печатным составом «дополнения важнейшие» не вносят. Заключение Г. Шторма о том, что список Б или В «по силе своего революционного звучания намного превосходил первопечатный текст» [10],— преувеличение. Списки Б, В и Г содержат любопытные разночтения, варианты, расшифровки отдельных мест, иногда улучшающие текст,

[8] Там же, стр. 243.
[9] Там же, стр. 258.
[10] Там же, стр. 17. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

а в ряде случаев ухудшающие его. Последние случаи Шторм специально не анализирует, но и он признает, что составить из разнородных текстов новый список безымянным переписчикам «было нелегко». «Сам Радищев не был причастен к этой „ювелирной" работе; он никогда не выбрал бы из ряда вариантов ранние, *заведомо худшие и уже им отвергнутые*: это сделали, конечно, оставшиеся неизвестными переписчики»[11].

3. О датировке дополнений к списку Б

Главное открытие Г. Шторма мы попытались объективно оценить, встав на его позицию, приняв за доказанные все его посылки. Но, строго говоря, считать доказанным предположение Шторма о дописывании Радищевым «Путешествия» в 90-е годы никак нельзя.

Прежде чем говорить об этой стороне дела, мы должны сказать несколько слов о своеобразии исследовательского метода Г. Шторма вообще. В его научном поиске огромную роль играет воображение. Поскольку имевшийся фактический материал был совершенно недостаточен для решения возникших перед исследователем загадок, он вынужден был, с целью дальнейшего расширения сферы разысканий, прибегнуть к помощи чисто умозрительных гипотетических конструкций, составлению своеобразной таблицы «предвидений». Скажем, Шторм предположил, что в момент завершения работы Радищева над «Путешествием» «некто» должен был увезти из Петербурга и поместить в «укромное место» черновики книги. Архивные изыскания показали, что примерно в обозначенное Штормом время был «уволен в отпуск в Москву» служащий петербургской таможни Андрей Радищев — неизвестный нам дальний родственник писателя. Поскольку дальше поиск заходил в тупик, исследователь вписал в свою таблицу «предвидений» новый поисковый элемент: он предположил, что дальнейшие пути Андрея Радищева должны были каким-то образом пересечься с путями Анны Ивановны Аргамаковой. Новые поиски в архивах позволили установить, что в начале февраля 1790 г. Андрей Радищев выехал вместе с отцом Радищева из Москвы «возможно по

[11] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 225. Подчеркнуто нами.— *Авт.*

одному и тому же делу», причем направились они в разные места: отец — в свое село под Клином, Андрей Радищев — в Дорогобужский уезд. Далее возник вопрос, не имела ли Анна Ивановна «какого-то отношения к Дорогобужу». Ряд других розысков показывал в свою очередь, что около Дорогобужа находилось поместье полковника Розенберга, жена которого Мария Ивановна оказалась сестрою «девицы Аннушки» (А. И. Аргамаковой), причастной, по всей вероятности, к изготовлению списка Б.

Так несколько гипотез, рожденных воображением исследователя, казалось бы, позволили восстановить давно утраченную нить событий, обнаружить новый круг неизвестных нам лиц, очевидно, помогавших писателю в трудные минуты его жизни.

Другой случай — попытка Г. Шторма определить «заказчика» драгоценного списка Б. Взяв за отправной пункт фразу «Уединенного жития моего ради для будущих веков дар», Шторм рассуждал примерно следующим образом. Уединенную жизнь вел в это время ослепший от потрясений отец Радищева, он жил отшельником на своей пасеке. Судя по архивам Саровской пустыни, именно он был непосредственно связан с монастырем. Следовательно, заключает Шторм, именно отец Радищева решил изготовить в память грядущим поколениям список Б.

И первое и второе рассуждения остаются, собственно говоря, гипотетическими построениями. Но они различаются между собой разной степенью вероятности. Первое подкреплено в целом ряде пунктов документальными данными, второе лишено всякой документальной основы, а кроме того, не исключает наличия других, столь же умозрительных предположений. Так, нет никаких свидетельств о том, что отец Радищева знал или одобрял содержание «Путешествия». Крайне сомнительно, чтобы ослепший от горя старик хотел передать книгу, сыгравшую столь роковую роль в жизни его семьи, в дар для «будущих веков». Скорее можно допустить другое (если правильно восстановлена Штормом первая строка загадочной румынской надписи): лицом, для которого изготовлялась рукопись, был сам Александр Радищев. В 1800 г. он также вел «уединенное житие», пребывая под надзором в поместье Немцово. К изготовлению списка Б он должен был иметь прямое отношение, коль скоро — согласно гипотезе Шторма — вписывал туда какие-то новые куски.

Естественно для автора книги было и желание сохранить некоторые ранние варианты цензурного текста или, скажем, полный текст оды «Вольность». Наконец, само стремление Радищева передать свое детище в дар для «будущих веков» тем более оправдано, что даже в официальных документах, писанных им для Комиссии царя Александра I, он, явно намекая на пример своей книги, высказывал пожелание сыскать «путешествователя, довольно имеющего твердости духа», который «сделал бы картину преступающих в злоупотреблении власти» (III, 153).

Из сказанного должно быть ясно, что мы нисколько не собираемся умалять роль творческого воображения в научном исследовании. Г. Шторм прекрасно доказал, что оно может в громадной мере раздвинуть рамки поиска. Мы согласны и с мнением всех упомянутых Штормом авторитетов, которые считали воображение творческой, а не консервативой силой, «источником поэтического гения и могущественным орудием научных открытий». Единственно, на чем мы настаиваем,— творческое воображение всегда должно контролироваться рассудком, исследователь должен не подчиняться игре воображения, а уметь обуздывать эту игру, уметь вырабатывать объективное суждение о степени достоверности своих построений. Шторму удается это далеко не всегда, нередко в угоду своим произвольным построениям он начинает отвергать очевидные факты. Пример тому — «основное предвидение», догадка автора о том, что «дополнительный текст списков Б и В „Путешествия“ Радищева создан автором после его возвращения из Сибири, в 1799 или 1800 году» [12].

Поскольку детальнейшее текстологическое сличение первопечатного текста и списков А, Б, В, Г не дало каких-либо конкретных подтверждений догадке исследователя [13], он прибег к помощи «литературоведческого анализа».

Вернемся вместе со Штормом к расширенному тексту оды «Вольность», воспроизведенному в списках Б, В, Г. Установить датировку четырех дополнительных строф пока не могут ни Шторм, ни его оппоненты — для этого просто нет никаких (ни прямых, ни косвенных) данных. Но если оппоненты Шторма не знают точной датировки

---

[12] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 61.
[13] Там же, стр. 202—206, 219—225, 229—231.

этих строф, то определить, какие это строфы, они смогли более или менее точно.

Вследствие того, что последовательность строф в печатном и рукописном вариантах одна и та же, разночтения выявляются самым элементарным способом. Рукописный текст строфа за строфой сличается с печатным, после такого сличения и остаются четыре «лишние», интересующие нас строфы — 9, 24 и предположительно 27 и 28 (последние два номера указываются предположительно, так как сравнение расширенного текста в данном месте приходится делать с прозаическим пересказом). Содержание этих четырех строф носит религиозную окраску, они, как полагают исследователи, были исключены автором при печатании книги по идейным мотивам, дабы удалить «идею вмешательства бога в дела людей» [14].

Г. Шторм вместо этого предлагает считать дополнительными те четыре строфы, которые более всего подходят к его версии о позднейшей доработке книги: строфы 45, 46, 47, посвященные Америке, и строфу 51, повествующую о будущем распаде царской империи. «Эти лучшие в оде строфы — 47-я и составляющие с ней единое целое 45-я и 46-я — не были предусмотрены автором в конспективном пересказе, данном в издании 1790 года при строфе 40-й,— уверяет нас исследователь.— Непредусмотренной оказывается и строфа 51-я».

Проверим это утверждение. Вот начало конспективного пересказа данной части оды в печатном тексте: «Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части...» Напомним, что как раз строфы 45—47, посвященные Америке, содержали пророчество о будущем России, а строфа 51 как раз предсказывала (это признает сам Шторм) возникновение «из недр» обреченной на распад империи федерации «малых светил», т. е. именно то «разделение на части», о котором говорит пересказ. Спросим теперь: разве строфы 45, 46, 47, а также 51 «не имеют никакого отношения (!) к тематике данного пересказа и совершенно им не предусмотрены»? [15]

Ничего не доказывает и обнаруженное Штормом «созвучие» одной из сентенций письма Радищева к А. Р. Во-

[14] См. Г. П. Макогоненко. Радищев и его время, стр. 405—408.

[15] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 237, 232.

ронцову от января 1797 г.: «Ах, если бы рука, подающая мне жизнь, могла, по крайней мере, уготовить мне могилу в местах, где я родился» с известными строками из строфы 47:

Но нет! Где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел...[16]

Такие созвучия сами по себе могут быть совершенно случайными, в данном же случае Г. Шторм просто предлагает произвольным предположением заменить предположение обоснованное. Еще 40 лет назад В. П. Семенников показал, что указанное место текста оды было ответом Радищева на рассуждения Рейналя об американской революции[17]. По всем известным нам сведениям. с «Историей обеих Индий» Рейналя Радищев познакомился в начале 80-х годов. Автор «Потаенного Радищева» минует это препятствие легко — создавая версию о повторном обращении Радищева к Рейналю в конце 90-х годов, не подтверждаемую ни одним документом.

Не намного убедительнее обоснована Г. Штормом и датировка поэмы «Творение мира». Шторм ссылается на то, что в поэме присутствует «одна система образов и один круг идей» с написанной в самом конце XVIII в. ораторией Гайдна «Сотворение мира». Но поскольку данная система образов и круг идей затрагивали библейский сюжет (творение мира!), то мы решимся утверждать, что поэма Радищева была созвучна десяткам других произведений, хотя бы той же заключительной строфе его собственной оды «Вольность», написанной, как известно, до ареста (кстати, об этом созвучии нам сообщил ранее сам же Шторм). Созвучна поэма и заключительным строкам радищевского «Слова о Ломоносове», относящегося к тем же 80-м годам.

Наконец, в руках у Г. Шторма остается еще одно, казалось бы, самое веское доказательство. Мы помним, что в тексте списка Б вслед за расширенным вариантом «Вольности» и перед «Творением мира» шел небольшой кусок прозаического текста, содержащий фразу: «Прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее». Шторм категорически утверждает: «Тут сказано ясно: „не посадят ли и за нее...“ — то есть и за новую поэму. Но ведь так мог

[16] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 237.
[17] В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования, стр. 4—7.

сказать только автор, уже сидевший в крепости за оду „Вольность“ и за все свое „Путешествие“ в целом»[18].

Прежде чем судить, все ли здесь так ясно, напомним, что в числе дополнений вошедших в список Б, есть строки, прямо датированные XIX веком! Так, во вставном тексте главы «Хотилов» слова «прежния повествования» автор заменил словами «плачевные повествования прошедшего столетия», в конце той же главы он уточнил, что под «прошедшим» надо понимать именно XVIII век. Новая датировка хотиловского «Проекта в будущем» гласила: «Дано в... 18... года...». Но эти исправления содержатся частично в цензурном варианте, откуда и попали в список Б. Иными словами, написаны были слова о «прошедшем столетии», а сам проект датирован XIX веком еще в 80-е годы XVIII в.! Этот пример лишний раз убеждает, сколь опасно делать абсолютные выводы даже, казалось бы, из совершенно «ясных» текстов.

Сказанное не означает, что мы призываем совершенно отбросить гипотезу Шторма о поздней датировке хотя бы части дополнений к текстам Б, В, Г. Но доказательными его данные считать пока никак нельзя.

4. Новые предположения и уточнения

От открытий Г. П. Шторма перейдем к открытиям Д. С. Бабкина. Примем за совершенно безусловное и его предположение: «Путешествие» готовилось ко второму изданию. Но в этом случае Бабкин также не имел никаких оснований утверждать, что дополнения и поправки, которые Радищев вносил в книгу, «значительно усиливали ее художественно-идейное звучание»[19].

Правка в тексте столь минимальна, что говорить о «значительной» переработке всей книги не приходится. Десятка полтора заметок касаются замены, уточнения одного-двух неудачных или непонятных слов («хождаю», «копоткий», «хвилый», «благорастворенный рассудок» и т. п.). Сам исследователь признает, что правка эта — чисто редакционного характера[20]. Есть еще в ряде мест подчеркивания и значки NB, принадлежащие, как думает Бабкин, самому Радищеву. Верно ли последнее, сказать трудно, но даже

[18] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 245.
[19] Д. С. Бабкин. Указ. соч., стр. 295. Подчеркнуто нами.— *Авт.*
[20] Там же, стр. 275.

если и так, эти отметки никак не могут подтвердить версию об «усилении» звучания книги.

Далее исследователь пишет, что Радищевым были подготовлены и особые прибавления, числом 11, которые «выпали из книги и затерялись». Но основание и здесь довольно шаткое — запись, сделанная неизвестным лицом на «приставном» форзаце книги: «NB. Записана на белые листы 11. Приб. к стр. 377». С цифрой 11 явно не согласуется в числе слово «записана», сокращенное слово «Приб.» явно относится к 377 странице, сама цифра 11 может быть и не цифрой. а двумя отчеркиваниями, принятыми за цифру [21]. Но самое главное — мы ничего не знаем о характере прибавлений, коль скоро они затерялись.

Правда, по крайней мере одно из них исследователь пытается обозначить точно: по его мнению, расширенный текст оды «Вольность», сохранившийся в двух экземплярах в бумагах издателя П. П. Бекетова, и составляет «единое целое» с описанным им экземпляром «Путешествия». Бабкин пишет: «Надпись на рукописи „Стихи к Путешествию в Москву" явно перекликается с названием, которое вытиснено золотом на корешке описанного выше экземпляра „Путешествия"», пометы на втором экземпляре говорят о том, что «данный экземпляр рукописи был сдан в типографию для набора» [22]. Наблюдения эти весьма любопытны, но к подготовке второго издания «Путешествия» самим Радищевым не имеют, по-видимому, никакого отношения. Рукопись оды, сообщает нам тот же Бабкин, «предназначалась к изданию в составе „Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева" (1806—1811 гг.), к тому же оба экземпляра написаны на бумаге, имеющей водяные знаки... 1804 и 1806 гг.» [23]

Но если исследование Бабкина еще в меньшей степени. чем исследование Шторма, оказалось способным раскрыть

---

[21] Фотокопию записи см. Д. С. Бабкин. Указ. соч., стр. 280.
[22] Там же, стр. 286, 287.
[23] Там же, стр. 285, 286. Уверяя, подобно Шторму, что «последнюю редакцию оды Радищев завершил уже после издания „Путешествия"» (там же, стр. 100, 102), Бабкин позднейшими включениями в оду считает строфы 9 и 25 религиозного содержания, которые Макогоненко относил к ранней редакции, и строфы 45—47, посвященные американской революции, которые Шторм относил к поздней редакции. Каких-либо новых данных в пользу подобного отбора Бабкин не приводит, повторяя несостоятельную аргументацию Шторма.

нам величайшие «тайны» литературной и общественной жизни конца XVIII в., то по крайней мере в одном отношении оно, действительно, чуть было не произвело полный переворот... Указав, что Я. Л. Барсков и Г. П. Шторм недостаточно обследовали список с загадочной румынской надписью, Д. С. Бабкин пишет: «Форзац списка, на котором сделана названная надпись, имеет водяные знаки 1804 года. Это свидетельствует о том, что дата, указанная в румынской надписи, является ошибочной. Совершенно очевидно, что лонгиновский список был составлен не в 1800 году, а минимум лет на семь-восемь позднее, т. е. после того, как рукопись оды „Вольность" уже побывала в типографии Бекетова»[24].

Фактам и фотодокументам приходится верить, но отнюдь не выводам, которые делает из этих фактов сам исследователь, когда пишет далее: «Нет никаких оснований утверждать, что лонгиновский список был подготовлен непосредственно с рукописи Радищева. По-видимому, румынская надпись была перенесена в этот список переписчиком с печатного экземпляра „Путешествия"»[25]. Но многочисленные разночтения и дополнения, которые отличают лонгиновский список от печатного, совершенно исключают возможность простого переписывания с печатного текста. Очевидно, лонгиновский список (как и списки В и Г) восходит к какому-то неизвестному протографу, с которого вполне могла быть переписана и надпись на румынском языке, относящаяся к 1800 году.

5. Мимо фактов

Предположение Бабкина о подготовке Радищевым где-то около второй половины 1801 — начала 1802 г. повторного издания «Путешествия» и предположение Шторма о причастности Радищева к изготовлению где-то около 1800 г. рукописного списка «Путешествия» особого состава остаются, таким образом, гипотезами достаточно шаткими, требующими проверки и проверки.

Рано или поздно работа неумолимой критики позволит отделить в названных исследованиях чисто субъективные построения от объективных данных, обоснованные утверждения от необоснованных догадок и домыслов. Дальнейший

[24] Там же, стр. 293.
[25] Там же.

поиск, быть может, восполнит те пробелы, которые до сих пор не дают нам возможности вынести окончательное суждение о последнем этапе жизни и деятельности первого русского революционера.

Но для того чтобы критика была максимально конструктивной, а сам поиск велся в нужном направлении, требуется скрупулезнейший учет всех уже имеющихся, твердо установленных, проверенных фактов, такое включение новых находок в сумму уже накопленных сведений, которое гарантирует нам получение объективных и достаточно широких, а не предвзятых и узких оценок.

Надо сказать, что исследования Шторма и Бабкина не учат бережному отношению к историографии. Открывая новые факты, Бабкин и Шторм пытаются вместе с тем перечеркнуть многие факты несомненные, добытые их предшественниками. Их книги не только дают импульсы к новым догадкам, новым поискам,— они могут направить исследователей в сторону от главного поискового пути.

Шторм, как мы помним, намеревался доказать крепнущую веру Радищева в прежние идеалы, опровергнуть тех, кто говорил об известных колебаниях или разочарованиях Радищева к концу его жизненного пути. Ту же цель преследует Бабкин. «Сам факт подготовки к новому изданию книги, остававшейся запрещенной,— утверждает он,— свидетельствует не о „духовном крахе“ писателя, как полагают некоторые историки, а о его великом мужестве»[26].

Если бы даже желание Радищева переработать революционную книгу в дар для «будущих веков» или переиздать ее было бесспорно доказано (а до этого еще далеко),

---

[26] Д. С. Бабкин. Указ. соч., стр. 295. Из «некоторых» историков он называет только одного, приводя следующие его слова: «Отсутствие у последовательных революционеров XVIII в. научного взгляда на историю лишало их концепции прочного фундамента. Свидетельством тому — глубокий кризис буржуазной революционной идеологии после падения якобинской диктатуры и духовный крах самого Радищева в начале XIX в. Осудив диктатуру Робеспьера (I, 97) и отойдя от идей народной революции, писатель-демократ не пожелал быть участником того либерального обмана, который развертывался на его глазах после воцарения Александра I, и покончил жизнь самоубийством в 1802 г.». (Е. Г. Плимак. Проблемы генезиса революционных идей в русской антифеодальной идеологии второй половины XVIII в. Автореф. канд. дисс. М., 1963, стр. 14).

мысль о полной незыблемости революционного мировоззрения писателя в конце XVIII — начале XIX в. еще не стала бы от этого бесспорной. Чтобы это предположение утвердилось в науке как общепризнанное, нужен, помимо разыскания недостающих документальных данных, детальнейший анализ всех последних произведений Радищева (при учете возможности каких-то временных изломов, зигзагов в его эволюции, связанных, скажем, с восшествием на престол Александра I) и всех обстоятельств последнего периода его жизни (включая, скажем, проверку сообщения В. Мияковского о том, что «у Радищева в кабинете висел портрет Александра I, на котором писатель собственноручно сделал восторженную надпись» [27]).

Г. Шторм мимоходом упоминает о том, что перемена царствования могла породить у Радищева некоторые «надежды» на нового царя, но тут же ставит под сомнение всякую мысль о каком-то изменении взглядов Радищева. «Но нельзя же серьезно думать,— пишет он,— что автор „крамольного" сочинения, которое (разумеется, с его же ведома и согласия) тайно переписывалось в монастыре осенью 1800 года, по прошествии каких-нибудь нескольких месяцев стал певцом самодержавия, несмотря на то, что он так его ненавидел и так от него пострадал» [28].

Но, во-первых, причастность Радищева к изготовлению в 1800 г. списка Б запретной книги, строго говоря, вообще не доказана. Во-вторых, за те несколько месяцев, которые прошли от момента изготовления списка до появления некоторых «надежд», произошли немаловажные события — непросто восшествие на престол нового монарха, но и амнистия некоторых политических преступников, в числе которых был Радищев, наконец, зачисление самого писателя в Комиссию составления законов царя Александра I. Шторм считает истинной оценкой «либеральных начинаний» Александра I строки из поэмы «Песнь историческая»:

Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет (I, 108).

На это можно возразить, что точная датировка «Песни исторической» нам неизвестна, сказанные о римском императоре Калигуле слова (если они и метят в русское само-

---

[27] В. Мияковский. Радищев. Пг., 1917, стр. 93.
[28] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 262.

державие) могли относиться к «просвещенному абсолютизму» Екатерины II; они могли метить и в Александра I, но быть написаны, скажем, не в 1801 г., когда у Радищева возникли некоторые «надежды» на него, а в 1802 г., когда таковые исчезли.

Далее Г. Шторм пишет: в «Песни исторической» Радищев «осуждает Робеспьера, т. е. революционный террор французского Конвента» [29]. Вслед за этим следует утверждение: «Но, осуждая террор, он принимал революцию в целом и призывал к „человеколюбивому мщению“». Это уже передержка. Как раз в «Песни исторической» после обличения Робеспьера следуют строки, осуждающие всякие внутренние междоусобия (в том числе гражданские войны, в которых рабы поднимаются на господ). Этим кровавым потрясениям Радищев предпочитает «мир неволи», поддерживаемый самодержцем (I, 97—98).

Г. Шторм попросту отбрасывает, как ничего не означающие, те места из поэмы, где Радищев «восхваляет римских императоров Траяна и Марка Аврелия», в крайнем случае он готов согласиться, что это — «исключения» на фоне зловещей истории Рима как «истории тиранов» [30]. Но разве можно отбросить или счесть несущественным тот факт, что в «Песни» перечисляются подвиги вереницы добродетельных царей — Веспасиана, Тита, Траяна, Адриана, Антонина, Марка Аврелия, о роли которых в истории сказано буквально следующее:

О, властители вселенной,
О, Цари, Цари правдивы!
Власть, вам данная от Неба,
Есть отрада миллионов,
Коль вы правите народом,
Как отцы своим семейством (I, 111).

Ушел Шторм и от принципиальной оценки «Осмнадцатого столетия». Дважды повторенный и органически вытекающий из всего строя мыслей автора вывод — носителем неосуществленных, потонувших в океане крови идеалов XVIII в. станет престол русских царей — оценивается исследователем (только что упомянувшим о зарождении «надежд» на царя у Радищева!) как... «превыспренний (?) чи-

[29] Георгий Шторм. Указ. соч., стр. 264.
[30] Там же, стр. 262—263.

сто риторический ряд. Строки эти — не что иное, как дань одописной манере времени. Искренности же одописцев доверять не следует»[31].

Не отмечает исследователь и того, что в «Песнях, петых на состязаниях», живописующих борьбу «кельтских» и «славянских» племен, снова различим трагический мотив «крови», присущий «Песни исторической» или «Осмнадцатому столетию», что здесь содержатся не только призывы к «человеколюбивому мщению», но и выражено сомнение в его оправданности. Главное действующее лицо этой явно аллегорической поэмы — жрец Седглав, призывавший славян отмстить вторгнувшимся в их землю кельтам, не получает одобрения или, во всяком случае, ясного ответа от неба:

Но... увы! мы только мщенье,
Мщенье сладостное вкусим!..
А враг наш не истребится...
Долго, долго, род строптивой,
Ты противен нам пребудешь...
Но се мгла мне взор объемлет,
Скрылось будущее время... (I, 71).

Наконец, последнее: в книге Г. Шторма вообще отсутствует анализ деятельности писателя в Комиссии Александра I, не оценен должным образом и факт его самоубийства.

Еще более поражает предвзятостью выводов книга «А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность». Д. С. Бабкин категорически отбрасывает мнение о «духовном крахе» Радищева, считая излишним не только вдаваться в анализ «Песни исторической», «Осмнадцатого столетия», но даже упоминать о них. Правда, в книге Бабкина приведены некоторые новые данные об окружении Радищева в последние годы его жизни, воспроизводятся некоторые малоизвестные документы, в том числе «поденные записи» о деятельности Радищева в Комиссии составления законов. Но документы основополагающие и давно известные («О законоположении», «Проект гражданского уложения») по сути дела им не разбираются. Явно сглажен сам конфликт Радищева с председателем Комиссии П. В. Завадовским, а ведь именно столкновения с начальством были главной причиной подавленного настроения Радищева в последние месяцы его жизни.

---

[31] Там же, стр. 263.

Больше того, влекомый неукротимым желанием во что бы то ни стало доказать «несгибаемость» Радищева, открыть у него и в последние часы жизни «бодрость духа, мужество и непреклонную волю к борьбе», Д. С. Бабкин ставит под сомнение факты, в которых не сомневался, кажется, ни один исследователь — ни в советское, ни в дореволюционное время.

Текст первоначальной рукописи воспоминаний младшего сына Радищева о событиях 11 сентября 1802 г., который гласит: «Утром этого дня, почувствовав себя особенно тяжело, он, принявши лекарство, беспрестанно беспокоясь и имея разные подозрения, вдруг берет стакан с приготовленной в нем крепкой водкой для выжиги старых офицерских эполет его старшего сына и выпивает его разом»,— служит Бабкину поводом для следующих умозаключений: «Если Радищев утром принял лекарство, значит, он думал о жизни, а не о том, чтобы отравиться. Принятое лекарство надо было запить водой. Крепкая водка, стоявшая в стакане, цвета не имела. И мы не можем исключить того, что Радищев принял ее за воду» [32].

Подобные выводы являются сущей натяжкой, даже если брать данное свидетельство само по себе (ниоткуда не следует, что Радищев принял лекарство в порошке, а не в микстуре и вообще запивал его, Бабкин отбросил слова «беспрестанно беспокоясь и имея разные подозрения», ясно говорящие о том, что «крепкую водку» Радищев принял не случайно). Но главное — в скрытых исследователем свидетельствах. П. А. Радищев вспоминал о последних днях отца: «Однажды в припадке ипохондрии он сказал собравшимся своим детям: „Ну, что, детушки, если меня опять сошлют в Сибирь?“ Его беспокойство и волнение ежедневно усиливались». С развитием этой „душевной болезни“ П. А. Радищев и связывал трагические события 11 сентября, нисколько не скрывая от читателей, что его отец покончил с собой. Бабкин уверяет нас, что нет никаких определенных свидетельств современников о самоубийстве писателя, но вот как описано в той же биографии посещение умирающего Радищева лейб-медиком Виллие: «Он отправляется, спросив у Радищева, что могло побудить его лишить себя жизни» [33].

---

[32] Д. С. Бабкин. Указ. соч., стр. 264.

[33] «Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями». М.—Л., 1959, стр. 95.

Мы весьма и весьма сомневаемся, что изучение последнего периода жизни Радищева будет плодотворным, если после выхода каждого нового исследования рецензенты вынуждены будут предъявлять их авторам длинные перечни забытых, отброшенных, искаженных фактов. У специалистов по данной проблеме есть куда более важная для науки задача. Им предстоит осмыслить всю совокупность идей и заветов писателя, раскрыть содержание тех работ, которые были в известном смысле завершением его творческого пути.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

РАДИЩЕВ И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (после 1793—1794 гг.)

«Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время *Ужаса*? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра».

А. С. Пушкин

1. Постановка проблемы

Значимость последних работ Радищева — «Песнь историческая», «Осмнадцатое столетие» — определяется отнюдь не личными, субъективными моментами. На них лежит печать самого значительного события XVIII в. — Великой французской революции, особенно ее заключительного, якобинского этапа.

Революционная диктатура, организовавшая разгром внешнего врага, раздавившая внутренние мятежи, спасшая от голода Париж, через год оказывается сокрушенной изнутри, гибнет от распрей, раздирающих ее вождей. Вслед за монархистами и соглашателями-жирондистами падают под ударами террора обвиненные в измене ревностные республиканцы: Ру и Леклерк, Эбер и Шометт, Дантон и Демулен. Наконец, на эшафот отправляются их обвинители — Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон.

На роковом заседании Конвента 9 термидора (27 июля) 1794 г. не только проснувшиеся от оцепенения обитатели «болота», но и бывшие соратники Робеспьера — монтаньяры приветствуют его падение. Они искренне убеждены, что спасают революцию, свергают «нового Кромвеля», «тирана». Это мнение разделяют в ту пору многие решительные республиканцы. Некоторые из них — например Бабеф — до-

вольно скоро осознают, что 9 термидора было не днем спасения, а днем гибели свободы. Другие — как Билло-Варенн или Вадье — «прозреют» лишь много лет спустя, пережив не только империю Бонапарта, но и реставрацию Бурбонов, не только термидорианский, но и монархический террор. Не одно десятилетие пройдет, пока прогрессивная мысль XIX в. утвердит неумолимую истину: именно за год якобинской диктатуры, безжалостной рубки виновных и невинных голов, было довершено то великое, чем вошла в историю французская революция,— подрублен в своих основах отживший феодальный строй.

Долгие годы, в спорах и сомнениях, усваивала величественные и трагические уроки якобинизма русская мысль; хотя революции XIX в. отодвинули на второй план многие события, громкие прежде имена, ничто не могло ослабить впечатление от якобинского «царства террора», стереть из памяти имя человека, стоявшего в центре революционного урагана, тщетно пытавшегося удержать стихию разбушевавшихся человеческих страстей...

Все это так, скажет осведомленный читатель, однако какое отношение имеет ко всему этому Радищев? Всего раз помянул он Робеспьера, да и то не специально, а мимоходом, повествуя о давних временах — кровавом правлении римского тирана Суллы:

Нет, ничто не уравнится
Ему в лютости толикой,
Робеспьер дней наших разве (I, 97).

Может ли одна случайная фраза стать темой целой главы?

На вопрос ответим вопросом. Верно ли, что русский мыслитель посвятил якобинской диктатуре — величайшему в XVIII в. событию — одно и притом случайное высказывание?

2. «Песнь историческая» — поэма на античные сюжеты?

«Песнь историческая», содержащая столь нелестное для Робеспьера сравнение, изучена сравнительно мало.

Специалисты-античники не относят поэму к произведениям, достойным особого интереса. Специалисты-радищеведы не считают себя компетентными в разборе деталей античных сюжетов. Более или менее часто в радищевской ли-

тературе встречается описание первых лет правления римского императора Калигулы:

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоку выю,
То что нужды, кто им правит;
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новой
Будет благ и будет кроток:
Но надолго ль,— на мгновенье;
А потом он усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души (I, 108).

Слова Радищева, как полагают биографы, метят в первые, «либеральные» годы царствования Александра I.

Правда, не так давно Г. П. Макогоненко восстал против поисков в «Песни» политических аллегорий. «В действительности же,— писал он,— поэма посвящена реальной истории Греции и Рима». Радищев еще не успел увидеть в Александре I «тирана более лютого, чем Павел» [1]. Обратившись к реальной истории римских цезарей (чего не сделал Г. П. Макогоненко), можно было бы дать описание тех событий, которые дали повод для «аллегорической» строфы. «Дело в том, что большинство императоров приходили к власти в результате насильственной смерти предшественника. Стремясь упрочить свое, вначале несколько шаткое, положение, они в первые месяцы или даже годы правления заигрывали с сенатом, удаляли наиболее ненавистных приближенных предшествующего принцепса, официально, как Калигула, или официозно, как Нерон, осуждали его жестокости и злоупотребления и клялись, что будут править совершенно по-другому» [2].

Продолжая поиски, можно было бы определить источники, которыми пользовался Радищев, подсчитать число

---

[1] Г. П. Макогоненко. Радищев и его время, стр. 548.

[2] Е. М. Штаерман. Светоний и его время.— В кн.: «Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей», М., 1964, стр. 258.

строф, написанных по мотивам «Биографий» Плутарха или «Анналов» Тацита, и т. п. Но сколь ни занятны такие изыскания, они, думается, не приблизят нас к сути дела. Рискуя вызвать новые протесты, и мы решимся утверждать: ключ к «античной» поэме надо искать отнюдь не в античности...

3. «Школа морали и политики» мыслителей XVIII в.

Два века тому назад для просвещенного человека Франции античность не представлялась чем-то безвозвратно прошедшим — она осязательно присутствовала почти во всех его помыслах и делах. Этому способствовали и характер тогдашнего классического образования, которое строилось преимущественно на латинских образцах [3], еще больше, деятельность плеяды блестящих учителей человечества во главе с Монтескье, Мабли, Руссо,— все они были страстными поклонниками и пропагандистами античности.

На примерах героев Эллады и Рима просветители воспитывали своих современников, готовили (в зависимости от меры своего радикализма) и будущих «просвещенных монархов» и грядущих цареубийц. Из античной литературы заимствовались не только нравоучительные примеры, но и теоретическое содержание просветительских работ. Так, от римских авторов — почитателей Траяна, Марка Аврелия берет начало концепция «просвещенного абсолютизма». Республиканская концепция «Общественного договора» Руссо также опиралась на античные источники. В той же римской литературе следует искать корни пессимистического взгляда просветителей на прошлое человечества; все развитие Греции или Рима рисовалось по традиции (связанной с именами Ливия или Тацита) как путь от силы к бессилию, от величия к упадку, от добродетели к разврату. У тех же авторов заимствовались представление о первопричинах этого упадка (развращающее влияние роскоши и властолюбия), а также рецепты если не спасения человечества, то хотя бы удержания его от окончательной погибели (насаждение простоты нравов, возможно большее «уравнение» богатств).

От просветителей «античные» формы мышления были унаследованы вершителями французской революции. В те

[3] См. Н. Т. Parker. The cult of antiquity and the french revolutionaries. A study in the development of the revolutionary spirit. Chicago, 1937.

бурные годы не было ни одного сколько-нибудь заметного события, для которого не отыскался бы «соответствующий» эквивалент из жизни Греции или Рима. Ораторы революции восхваляют «римскую твердость» третьего сословия, отказавшегося подчиниться в Генеральных штатах повелениям короля; Пале-Рояль, откуда раздался призыв к штурму Бастилии, именуется ими «Римским форумом». Людовику XVI, особенно после его неудачного бегства из Парижа, грозят участью римского тирана Тарквиния; свержение монархии 10 августа 1792 г. отмечается установлением бюстов Брута в клубах. Если поверить некоторым участникам борьбы Жиронды и Горы в Конвенте, то жирондисты мечтали об учреждении афинских, а монтаньяры — спартанских порядков (впоследствии «афинянами» назовут дантонистов, а «спартанцами» — робеспьеристов); заговор Жиронды именуется монтаньярами заговором Катилины (впоследствии кличку Катилины приклеят Дантону и, наконец, Робеспьеру). Якобинскую конституцию 1793 г. ее защитники будут сравнивать с творениями Ликурга и Солона; приговоры революционных трибуналов враги якобинского террора назовут «проскрипциями» и т. д. и т. п. Борцы революционной эпохи порой встречали смерть подобно некоторым античным героям — так, не желая принять ее от рук врагов, пытались заколоться кинжалами вожди парижского плебса Жак Ру и Гракх Бабеф.

В целом революционное возобновление культа античности, начатое еще в 1789 г. Демуленом, развивалось вместе с республиканской традицией, апогея оно достигло в период якобинской диктатуры, когда плебейская Франция украсила себя красным фригийским колпаком, а Конвент переместился в залу, отделанную в стиле «du bel antique». «Традиции всех мертвых поколений,— писал об этой поре Маркс,— тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории» [4].

---

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 119.

Спросим теперь, не приобрела ли подобного «осовремененного» звучания античность в «Песни исторической» Радищева?

4. Исследователи останавливаются на полдороге...

Сравнением «Песни исторической» с французскими образцами занимались, кажется, всего два автора — В. Мияковский и Г. А. Гуковский. Первый обнаружил, что в своей поэме Радищев следовал знаменитому трактату «Размышления о причинах величия и падения римлян» Монтескье [5]. Второй расширил этот вывод: Радищев «излагает древнюю историю в том освещении, которое ей придали Монтескье, Мабли и т. п. Даже самый подбор имен и тем, вызвавших его интерес, характерен для радикальной публицистики XVIII в.» (I, 455).

Можно согласиться с литературоведами — Радищев следовал радикальным мыслителям XVIII в. В основе его поэмы лежит все та же схема «падения» Эллады и Рима. Мы находим здесь предельную идеализацию ранних и предельное очернение последних периодов их истории, восхваление «предивной» Спарты, где Ликурговы законы обуздали на время разрушительную силу страстей, и обличение эпохи цезарей, когда разнузданные страсти окончательно погубили свободу.

Вместе с тем наметим и отличия «Песни исторической» от классических образцов, прежде всего явную суженность, лучше сказать, концентрированность замысла поэмы. В античной истории Радищева притягивает одно явление — роковая роль той «алчбы власти», которую выявили в Риме период гражданских войн, затем эпоха цезарей. О том же писал и Монтескье: «Республика была, наконец, уничтожена; в этом исходе не следует обвинять честолюбие отдельных лиц, но человека вообще, который тем более стремится к власти, чем больше он ее имеет, и который, обладая многим, желает обладать всем» [6]. Но то, что было одним из сюжетов «Размышлений», стало самодовлеющей темой «Песни». Радищев не только максимально использует тексты Монтескье, он дополняет их собственными обобщениями.

---

[5] В. Мияковский. «Песнь историческая» А. Н. Радищева и «Considerations» Монтескье.— ЖМНП, 1914, № 2 стр.. 236—248.

[6] Ш. Монтескье. Избр. произв. М., 1955, стр. 95.

вспоминает эпизоды, обойденные в куда более объемистом труде учителя.

Вот изложение Радищевым одной из мыслей Монтескье — о судьбах Римской империи:

Монтескье	Радищев
«...Этот план покорить весь мир, так хорошо задуманный, выполненный и завершенный, кончается только тем, что утоляет алчное желание пяти-шести чудовищ» [7].	И, поставив от начала Присвоение вселенной И намеренье блестяще Столь умыслив остроумно, Столь исполнив постоянно И окончив столь счастливо... Но на что ж?.. дабы злодеев, Извергов, чудовищ пять-шесть Наслаждалися всем буйно...

Дополнение Радищева к Монтескье

Иль се жребий есть всеобщий,
Чтоб возвышенная сила
Власть, могущество, блеск славы
Упадали, были гнусны? (I, 110—111).

Довольно резко различаются Радищев и Монтескье в акцентировке описаний одних и тех же событий античной истории. Так, в истории единоборства Карфагена и Рима Монтескье больше всего занимают ход боевых операций, причины побед и поражений знаменитого полководца Ганнибала [8]. Главное для Радищева — бессмысленность и жестокость разрушения Карфагена, его мысль перерастает в разоблачение любых военных «подвигов» вообще:

Ах! се ль слава, се ль Иройство? — —
Разрушать единым мигом,
Что столетия создали!
Вопль и крик и скрежетанье
Умирающих булатом
Победителя во гневе.—
Пламя, всюду разлиянно,
Как река, сломив оплоты — — —
Плод изящности — в обломках —
Разума твореньи — в щепках...
Се Иройство, слава!.. (I, 93—94).

[7] Ш. Монтескье. Избр. произв., стр. 112.
[8] Там же, стр. 61—66.

С тем же мало свойственным бесстрастному летописцу Монтескье гневом Радищев рисует внутренние междоусобия, увенчавшие завоевательные походы римских полководцев, а также цезарианские режимы, выросшие из гражданских войн. Мотив насилия и крови звучит здесь с потрясающей силой.

Рим в руках «ненасытца крови граждан» Суллы:

Сулла меч свой, обагренной
Кровию доселе чуждой,
Он простер во сердце Рима.
Заградив на жалость сердце,
Хладнокровной был убийца
Всех, ему врагами бывших,
И трепещущие члены
Погубленных граждан Рима
Его были услажденье (I, 97).

Рим под пятой Нерона, «чье имя в век осталось всех поноснее и гнусней»:

Он убийственную руку
Простирал на всех ближайших;
Мать, наставники, супруга
Всё сраженно упадало
Под мечем сего тирана,
Столь мертвить людей умевша;
Насыщался ежедневно
Или сластию прегнусной,
Или кровью умовенной... (I, 113).

Текстовые отступления Радищева от Монтескье и разницу в тоне сличаемых произведений подметил еще Мияковский. Однако сюжетные вариации он не счел существенными, а различия тона объяснил легко — эмоции Радищева всего-навсего придавали «нужный колорит» поэтическому произведению. Пока не станем судить, так ли это. Вспомним о главном, что совершенно упустили из виду литературоведы, сравнивавшие «Песнь историческую» с французской «радикальной публицистикой XVIII в.» Незадолго до того времени, когда создавалась поэма, во Франции радикально изменились функции самой публицистики: экскурсы в историю «античности» стали служить обличению якобинской диктатуры.

5. Тацит в роли врага Робеспьера

Период междоусобной борьбы в стане революции, завершившийся в 1794 г. падением якобинского правительства, поставил новые проблемы, которых не знали (или почти не знали) просветители, готовившие французскую нацию к штурму абсолютизма.

Накануне и в первые год-два революции расстановка противоборствующих сил и перспективы борьбы представлялись революционерам в достаточно четком виде. Франция делилась на лагерь свободы и лагерь деспотизма, во главе их стояли Национальное собрание, опиравшееся на восставший народ, и партия двора, опиравшаяся на поддержку «тиранов Европы». Несколько неясным в этой диспозиции было сначала место Людовика XVI, ставшего после октября 1789 г. королем французов не просто «милостью божией», а в «силу конституции». Обе стороны боролись за обладание этой фигурой: патриоты, пытаясь превратить монарха в добровольного главу нации, аристократы — в центр объединения контрреволюционных сил. Но и здесь ситуация была прояснена неудачным бегством «конституционного» короля из Парижа в июне 1791 г., наконец, обнаружением его тайной переписки. Лозунг завершения революции приобрел в устах вождей Горы чеканный вид: «все злоупотребления будут жить до тех пор, пока будет жив король, мы так и ... будем воевать друг с другом» [9].

Правда, живая действительность зачастую оказывалась куда сложнее ясных представлений и чеканных лозунгов. Крестьянская война, развернувшаяся с июля 1789 г., угрожала не только дворянам, но и многим буржуа, бывшим к началу революции или ставшим в ходе ее земельными собственниками. Голодные санкюлоты восставали не только против аристократов; они громили спекулянтов — торговцев хлебом, сахаром, мылом. После того как правительство Жиронды объявило войну «тиранам Европы», стали все больше озлобляться имущие слои городов и деревень, недовольные реквизициями и мобилизациями военного времени. Несогласия раздирали само Национальное собрание — они были вызваны не только происками монархистов, но и соперничеством революционных фракций и вождей, по-разному представлявших себе сооружение великого здания «свободы». Однако вплоть до 1793 г. в умах идеологов ре-

[9] Saint-Juste. Discours et rapports. Paris, 1957, p. 84.

волюции эти противоречия и раздоры сводились все к тому же элементарному противопоставлению: партия аристократов против партии свободы. Волнения народа стоявшие у власти фракции списывали за счет либо «анархии», либо деятельности «подстрекателей», разумеется, подкупленных двором, Кобленцом или Питтом. Соглашательством с королем радикальная оппозиция объясняла и непоследовательность стоявших у власти вождей революции.

В конце концов возмущения плебейских масс Парижа, возглавленных якобинцами, довершили крушение абсолютизма, начатое штурмом Бастилии 14 июля 1789 г. Восстание 10 августа 1792 г. ликвидировало монархию. Восстание 31 мая — 2 июня 1793 г. изгнало из Конвента последнюю из «соглашательских» фракций — жирондистов. Но ни казнь короля, ни чистка Конвента не стали завершением революции. К середине 1793 г. против «очищенного» Конвента в Париже поднялась новая волна возмущения, возглавленного на этот раз «бешеными». На страницах газет «Друг народа» и «Публицист Французской республики» самозванные наследники убитого Марата — Леклерк и Ру начинают призывать (как и соперничавший с ними Эбер) к «четвертой» революции, к уничтожению скупщиков, спекулянтов, прочих «кровопийц», нажившихся за годы революции, к изгнанию из Конвента новых «продажных властителей».

Мы не будем рассказывать об известных событиях внутренней жизни республики между июлем 1793 и июлем 1794 г.— расправе правительства Робеспьера с «бешеными» (затем эбертистами) и с их антиподами — «снисходительными», о последующем расколе внутри самой якобинской диктатуры. Поговорим о том, что ближе к нашей теме,— использовании «античных» сюжетов в годину жестокой междоусобной борьбы. А осведомленному читателю, который может счесть углубление в столь «второстепенные» детали грандиозных революционных событий не вполне оправданным, напомним слова Энгельса: у просветителей XVIII в. «такие псевдо-исторические экскурсы всегда являются лишь словесным приемом, позволяющим рациональным образом объяснить возникновение чего-либо...» [10].

В июльском номере «Друга народа» за 1793 г. Леклерк проводил любопытную параллель: «Наша рождающаяся республика являет картину всех пороков вырождающегося

---

[10] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, стр. 319.

Рима: нас разъедают и пожирают эгоизм, коррупция, амбиция, роскошь, изнеженность, спесь и дух мести; между патриотами нет никакого единства: все стремятся к одному и тому же, но если, к несчастью, для достижения общей цели предлагаются различные пути, то вместо того, чтобы обсудить их и прийти к согласию, вступают в спор, затевают свару, в дело вмешивается глупое тщеславие, с этого времени общее благо уже ничего не значит — его место занимает дух партий..., а средства, предназначенные для защиты родины, начинают применять для сокрушения соперника. Что получится из столкновения этих страстей, если мы не будем бдительными? Контрреволюция» [11].

Преследования «бешеных» заставили и Жака Ру открыть кампанию против якобинского режима, особенно против принятого 17 сентября 1793 г. «закона о подозрительных». Закон этот, писал редактор «Публициста», справедливо карает смертью врагов республики и народа. «Однако истолкование закона, самого по себе справедливого, может быть столь расплывчатым, что, согласно букве декрета, под угрозой ареста окажется огромное количество французов... Он явится в руках революционных комитетов орудием угнетения и мести. Я скажу больше — на протяжении двух последних веков не издавали столько королевских указов об аресте, сколько издано мандатов на арест за прошедший месяц».

Но если даже королевский режим не шел в сравнение с режимом якобинцев, то аналогия ему отыскивалась в правлении римских цезарей: «Я вынужден спросить: не живем ли мы в то проклятое время, когда иной человек обвинялся в нарушении закона об охране нации за то, что рассказал сон, другой за то, что продал стакан теплой воды, третий за то, что разделся перед статуей, четвертый за то, что он пошел в отхожее место с монетой в кармане, на которой была отчеканена голова императора. Я вынужден задать вопрос..., не появились ли среди нас Кайи, Нероны, Юлии Цезари, Германики, которые приказывали истреблять массы пленных, затруднявших их марши, и желали мира ценой уничтожения всей нации?» [11a]

Корнелий Тацит, описания которого вспоминал Жак Ру,

---

[11] «Ami du Peuple par Leclerc de Lion», № III, 25.VII 1793.
[11a] La Publiciste de la République Française par l'ombre de Marat, l'ami du peuple... N 270.

стал, впрочем, союзником не одних только вождей «бешеных». Камилл Демулен, блестящий публицист фракции «снисходительных», в начале 1794 г. вновь заставил римского историка сыграть роль обличителя якобинского режима на страницах № 3 «Старого кордельера»:

«В древнем Риме, как свидетельствует Тацит, существовал закон, определявший преступления перед государством и перед нацией, наказуемые смертной казнью... Императорам потребовалось всего несколько дополнительных статей чтобы подвергнуть проскрипциям граждан и целые города...

Все возбуждало подозрительность тирана. Если гражданин становился популярным, значит, это соперник государя, который мог вызвать гражданскую войну. Это — подозрительный.

Если же, напротив, кто-либо избегал популярности и коротал время у своего очага, то такая уединенная жизнь выделяла его, обращала на себя внимание. Это — подозрительный.

Если вы были богаты, то возникала неотвратимая опасность, как бы народ не был развращен вашей щедростью. Вы тоже подозрительны.

Если же вы бедны, ну что ж! император прав, за этим человеком надо присматривать поближе; самым предприимчивым является как раз тот, кто ничего не имеет. Это — подозрительный...

Если это философ, оратор, поэт,— посмей он приобрести славу бóльшую, чем слава правителя! Разве потерпят, чтобы больше внимания оказывалось автору, пристроившемуся на галерке, нежели императору, восседающему в зарешеченной ложе? Это — подозрительный...

Одним словом, во время этих царствований естественная смерть человека знаменитого или просто заметного была столь редкой, что отмечалась газетами как событие и передавалась историками на память веков... Донос стал единственным средством выбиться в люди, и скоро весь свет кинулся в погоню за высокими и столь доступными званиями...

Если бы лев, став императором, составил свой двор из тигров и пантер, то и они не смогли бы разорвать в клочья большее число людей, чем это сделали доносчики, вольноотпущенники, отравители и головорезы цезарей, ибо зверство, порожденное голодом, прекращается с насыщением зверя, в то время как зверство, порожденное страхом, алчностью и подозрительностью тирана, не знает никаких пре-

делов. До какой степени низости и падения мог докатиться человеческий род, когда подумаешь, что Рим терпел правительство чудовища, которое скорбело о том, что его правление не было ознаменовано каким-либо бедствием, чумой, голодом, землетрясением, которое завидовало счастью императора Августа, когда обрушившийся в Фиденах амфитеатр задавил пятьдесят тысяч человек; одним словом, это чудовище желало лишь того, чтобы римский народ имел всего одну голову, дабы одним махом отрубить ее...» [12]

Разве не похожи на эти обличения Демулена, вполне доказавшие, что слово публициста может быть оружием острым, как нож гильотины, радищевские описания правлений римских цезарей:

Правление Тиберия

Тиран мрачной, он подернул
Покрывалом тяжким скорби
Рим; тогда не злодеянье
В злодеяние вменялось;
Но злодей — кого Тиберий
Ненавидел или думал,
Что опасен он быть может.
Действие, невинна шутка,
Одно слово, знак, иль мысли
Все могло быть преступленьем.
Там донос, ночное жало,
В бритву ядом изощренно,
Носят нагло днем во Риме.
Сын отцу и отец сыну,
Брату брат, супруг супруге,
Господину раб, друг другу
Чужды стали и опасны.
Оком рыси соглядая,
Лютость рыскала по стогнам
И с улыбкою змеиной
То чело знаменовала,
Что падет при всходе солнца,
Иль увянет при закате... (I, 105—106).

---

[12] Цит. по хрестоматии: Gerard Walter. La Révolution française vue par ses journaux. Paris, 1948, p. 331—334.

Правление Калигулы

Юнош тихой и покорной
Был, доколе высшей власти
Не имел в своей деснице;
Потом тигр всех паче лютой...
Нравы, разум и законы,
Человечество и честность
Подавив пятою тяжкой,
Каий омылся в кровях Рима;
Он мучитель до безумства,
Сожалел о том лишь только,
Что народ, народ весь Римской
Не одну главу имеет,
Да сраженна одним махом
Ниспадет ему в утеху... (I, 108—109).

Наконец, разве нет у Радищева сравнения «ненасытца крови граждан» Суллы с Робеспьером? Может быть, этого достаточно для предположения о близости «Песни исторической» тем откровенным или зашифрованным под «античность» обличениям, которые вышли из-под пера республиканцев — противников правительства Робеспьера в якобинской Франции 90-х годов?

6. От «Песни исторической» к оде «Вольность»

На страницах «античной» поэмы Радищева слышны ясные отзвуки событий, происходивших в якобинской Франции. И все же говорить о полном сходстве позиций Радищева и разошедшихся с Робеспьером республиканских публицистов (будь то Демулен или Ру) у нас нет оснований (как раньше не было оснований говорить о тождестве позиций Радищева и Монтескье). Чтобы выявить ход мыслей русского писателя, нам придется в конце концов сравнивать Радищева с самим Радищевым.

Вернемся от малоизвестной «Песни исторической» к знаменитой оде «Вольность» — манифесту революционной веры русского писателя 80-х годов. Будем тянуть нить от одного произведения к другому с предельной осторожностью: «Вольность» писалась в годы громадного духовного подъема, «Песнь» — в годы духовного кризиса писателя. И все же между появлением Мария и Суллы в оде и появлением

тех же персонажей в поэме есть самая непосредственная связь — такая же, какая существует между ролью Кромвеля в первом из этих произведений и Робеспьера — во втором...

Первый десяток строф «Вольности» — иллюстрация знаменитого афоризма Руссо: «Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах». Свободные от рождения люди подчиняются сначала общей власти, закону; но со временем божественный закон превращается в святой обман, свобода — в рабство, власть и вера начинают «союзно» угнетать общество.

Два десятка следующих строф — описание грядущей революции: приход «мстителя», восстание пробужденного его словом народа. Выводы из теории «общественного договора» и «примеров» Кромвеля и Вашингтона сделаны русским писателем с небывалым бесстрашием:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна,
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Мечь остр, я зрю везде сверкает;
В различных видах смерть летает;
Над гордою главой паря.
Ликуйте склепанны народы;
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя... (I, 358) [13].

На четвертом десятке строф читатель оды наталкивается на трудности. Расписав царство утвердившейся «вольности», Радищев внезапно рисует нам его гибель:

Но страсти изощряя злобу...
Превращают спокойствие граждан в пагубу...
Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,
И все следствия безмернаго желания властвовати...
(I, 361).

Далее автор возвращается от недавних времен к античности, от Кромвеля — к Марию и Сулле:

[13] Здесь и далее мы цитируем оду по сжатому, конспективному варианту, включенному в «Путешествие».

«Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий. Гражданская брань. Марий, Сулла, Август...» (I, 361).

Присутствие римских героев в «Песни исторической» — поэме на античные сюжеты — вопросов не вызывало. Однако что делают те же персонажи в «Вольности» — оде, посвященной английской, американской революциям или грядущей революции в России?

Разгадка проста. На «античной» модели мыслитель еще в 80-е годы ставил новую для просветительской идеологии проблему — возможность вырождения революционного народовластия в режим единоличной военной диктатуры. Тема была навеяна событиями английской революции XVII в., когда победа парламентской армии над роялистскими войсками, последовавшие падение монархии, казнь короля и провозглашение республики (1648—1649 гг.) завершились узурпацией власти полководцем революции — Кромвелем:

Великий муж, коварства полный,
Ханьжа, и льстец, и святотать!
Един ты, в свет столь благотворный
Пример великий, мог подать.
Я чту Кромвель в тебе злодея,
Что власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил.
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы,
Ты Карла, на суде, казнил... (I, 360).

Читателю XX в., хорошо знающему не только ближайшие последствия первой из великих буржуазных революций, нетрудно увидеть ограниченность подобного истолкования. Сложнейший переплет социальных антагонизмов, борьба различных политических сил сведены к противопоставлению «свободы» и «деспотизма», к единоборству народа и его вождя с королем, затем «двуличного» вождя — с освобожденным народом. Радищеву совершенно чужда истина, которую из сравнения тех же самых процессов выведет Маркс: «...События поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам» [14]. Но как раз такое сведение многосложных событий к абстрактной схеме позволяло мыслителю свободно перекидывать мостик от новой Анг-

[14] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 121.

лии к древнему Риму, выводить из однотипных, как ему казалось, примеров некую общую закономерность: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...» (I, 361).

В дальнейшем мы вернемся к смыслу этого «закона». Сейчас важно другое. Зная концепцию оды, легко подобрать ключ к поэме.

Если отвлечься от легендарных мотивов ее запева, то первая часть — 1000 с лишним строк — тематически вполне укладывается в четыре античные строфы оды. Описания подвигов вереницы «мужей дивных», сначала в Элладе, затем в Риме, иллюстрируют простую мысль: их величие неотделимо от свободы, гражданские добродетели расцветали там, где закон утверждался «на подножии незыбком простоты и бескорыстья» (I, 84). Но здесь и там богатство и власть породили «страсти бурны», страсти одолели добродетель.

Далее демонстрируется все та же закономерность обращения «свободы» в «наглость», увеличивается только число примеров; среди душителей «свободы» фигурируют теперь не только Марий, Сулла, Август, но и Филипп Македонский, Помпей, Цезарь, Октавиан (I, 85, 94, 99, 101, 105 и др.).

Однако назвать «Песнь историческую» развернутой иллюстрацией к трем-четырем «античным» строфам «Вольности» мешают последние 500 строк поэмы. Оду писал в 80-е годы убежденный революционер, перед восторженным взором которого стояли недавние победы свободолюбивой рати Вашингтона. Рассказ о событиях в древнем Риме или в новой Англии звучал — в общем контексте — предупреждением об опасностях революционного пути, на этом рассказе не было и тени пессимизма. Напротив, глубочайший пессимизм окрашивает всю «Песнь историческую», автор ее, как показывают заключительные строки выделенного нами сравнения «Сулла — Робеспьер», не только осуждает все и всякие гражданские междоусобия, но и предпочитает им «мир неволи»:

Ах, во дни сии ужасны,
Где отец сыновней крови,
Где сыны отцовой жаждут,
Господу где раб предатель,
Средь разврата нагла нравов

Может разве самодержец,
Властию венчан всесильной,
Дать устройство, мир — неволи —
Пусть неволи, но отдохнет,
Человечество от тяжких
Ран (I, 97—98)

Как же мыслится этот «отдых»? Ведь за картинами кровавых гражданских междоусобий следуют в поэме картины не менее кровавых царствований цезарей, низводящих Рим до последней ступени падения человеческого рода.

Первый луч света в зловещем царстве тиранов пробивается ближе к финалу поэмы, когда на троне, «омытом кровью» соперников-полководцев, появляется первый «добродетельный» царь Веспасиан (I, 114). За ним следуют «отцы народов» — Тит, Нерва, Траян, Антонин, наконец, «отец отцов» Марк Аврелий (I, 115—117, 119, 120).

Отказ от ряда идей «Вольности» (или «Путешествия») налицо. Раньше Радищев был за революцию, теперь он против гражданских междоусобиц; раньше он доказывал невозможность появления добрых царей, теперь он упорно ищет их в античной истории.

«Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей если не в Царской?», — спрашивал Радищев в «Путешествии» (I, 348). Напротив, в «Песни» сама «премудрость» восседает на престоле в образах Антонина или Марка Аврелия (I, 120).

Правда, по крайней мере два обстоятельства мешают Радищеву возложить все надежды на «мудрых» царей. Прежде всего «упадание» грозит, согласно его пониманию, всякой абсолютной власти вообще:

Ах, сколь трудно, восседая
Выше всех, и не имея
Никаких препон в желаньях,
Усидеть на пышном троне
Без похмелья и без чаду (I, 117).

Наконец, если волей случая на престоле и утвердится вполне добродетельный монарх, то нет никаких гарантий, что столь же добродетельным будет преемник. Тот же «премудрой» Марк Аврелий «смертной был». С его кончиной исчезло не только счастье Рима, но и все «благие помышленья о блаженстве рода смертных». Последующие цари и владыки, блиставшие затем «на ристалище вселенной»,

Перед ним суть разве слабой
Блеск светильника, горяща
В полдень ясной, в свете солнца... (I, 120).

Все это говорит о шаткости, непрочности «монархизма» Радищева. Но тем не менее воля «доброго царя» оказывается для него в эти годы последним шансом облегчить участь народа.

Еще одно свидетельство тому — ода «Осмнадцатое столетие».

7. Трагедия «осмнадцатого столетия»

Вот сюжет предсмертного произведения Радищева.

В бездонное и безбрежное море вечности течет река времени. Века бесследно утекли в это море. Но восемнадцатый век, столетье «безумно и мудро», будет незабвенным — здесь, почти у самой пристани, попал в страшный водоворот корабль, несущий человеку надежду:

Счастие и добродетель, и вольность пожрал омут ярой,
Зри, восплывают еще страшны обломки в струе.

Звучит трагический мотив: кровь, кровь, кровь — вот что оставило людям в память «проклятое» столетье:

Будешь проклято во век, в век удивлением всех.
Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев;
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб...

Но хотя корабль разбит, надежда осталась — в океане крови есть кусок твердой земли. Это Россия, престол российских царей:

Но зри, две вознеслися скалы во среде струй кровавых:
Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс.

Позади этих скал — мрак, впереди — солнце; лучезарный блеск светила, отражаясь от поверхности скал, растопит «льды заблужденья».

Мрачная мелодия сменяется радостным гимном. Поэт вспоминает: «осмнадцатое столетие» оставило не только страшные следы разрушения, но и завещание будущему — свои неосуществленные идеалы:

Смертной что зиждет, все то рушится, будет все прах,
Но ты творец было мысли; они ж суть творения бога;
И не погибнут они, хотя бы гибла земля...

Перед читателем развертывается величественная картина прогресса человеческого разума. В «незабвенном» столетии человек смелой рукой поднял завесу творенья, разглядел тайны природы в самом «дальном таилище дел». «Осмнадцатое столетие» заключило в машину летучий пар, приземлило молнию, вознесло смертных на небо, оно сокрушило призраки, разорвало тягчившие дух оковы, открыло путь к «истинам новым»:

Мощно, велико ты было, столетье! дух веков прежних
Пал пред твоим олтарем ниц и безмолвен, дивясь...

Внезапно ликующие звуки гимна разуму обрываются — поэт вспоминает безумства века, роковой исход его борьбы. Слышится знакомый трагический мотив:

Кровью на жертвеннике еще хищности смертны багрятся,
И человек претворен в люта тигра еще.

Мирные долины превращены в поля брани, зловещие спутники войны — зверство, буйства, голод — угрожают человеку:

Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам.
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?

Но нет, надежда не должна покидать смертного. Бог — творец мысли — жив, человек увидит восход солнца...

Снова — торжественным финалом — звучит хвала «светозарному» престолу, твердой скале, отражающей свет грядущего дня:

Выше и выше лети ко солнцу, орел ты Российской,
Свет ты на землю снеси, молньи смертельны оставь.
Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона...
(I, 127, 128).

«Осмнадцатое столетие» подтверждает тот поворот, который явно наметился в «Песни исторической». Крах надежд на французскую революцию, осуждение кровавой действительности якобинского террора и наполеоновских войн — вот что определило содержание существенных «добавок» к прежней концепции Радищева в виде пронизывающего последние произведения трагического мотива насилия и крови, осуждения любых форм диктаторской власти и любого рода войн и междоусобий, косвенных, но совершенно недву-

смысленных обличений Робеспьера, в деятельности которого Радищев уже не замечает того сочетания «злодейства» и «величия», которое он видел в Кромвеле. Но «Осмнадцатое столетие» заставляет нас обратить внимание и на события, случившиеся в начале XIX в. в России.

8. Финал трагедии писателя

Петербургское общество с ликованием встретило дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Столице были известны реформаторские замыслы нового самодержца. Воспитанник республиканца Лагарпа, симпатизировавший придворным «радикалам», Александр неоднократно говорил и писал своим друзьям о необходимости конституции для России. К быстрому претворению замыслов в дело, казалось, вели и первые шаги царя: весенние амнистии, приезд в Петербург Лагарпа, вызов из-за границы «опальных» друзей царя, учреждение новых органов, призванных реформировать государственный строй России (Негласный комитет), наконец, оживление Комиссии составления законов, проявлявшей почти полное бездействие в предшествующее пятилетие.

В центре этой деятельности оказался и Радищев, амнистированный по царскому указу и назначенный в Комиссию 6 августа 1801 г. 31 августа он отбыл вместе с ее председателем — П. В. Завадовским в Москву на коронацию Александра I. В Петербург Радищев вернулся в декабре 1801 г., а в июле 1802 г. у писателя наступила тяжелая душевная депрессия. По всей видимости, за последние полгода Радищевым написан или начат ряд документов, среди них записка «О законоположении», «Проект для разделения Уложения российского», «Проект Гражданского уложения».

Сам факт работы Радищева над законодательными проектами еще не говорит о каких-либо реформистских или монархических иллюзиях — революционер не может зарекаться в определенных условиях от использования легальных путей; и в 80-е годы, будучи убежденным революционером, Радищев работал над законодательным проектом. Однако в написанном в 80-е годы «Опыте о законодавстве» ясно чувствовалась антимонархическая тенденция: упорядоченность законов, «блаженство» Англии автор приписывал, как мы знаем, «духу вольности», возникшему от невыносимого «стеснения» ее граждан (III, 8). Напротив, в позднейшей запи-

ске «О законоположении» издание «разумного законодательства» мыслится как результат благотворного действия «разума любомудрия» как на народы, так и на «самых правителей народов» (III, 146). Более того, реформаторская инициатива «верхов» здесь явно предпочтена революционной инициативе «низов». От действий «законодателя мудрого», пишет Радищев, «родится общая безопасность, престол правителей народных будет непоколебим, и блаженство народное не будет задачею, отдаваемою на решение одних только любителей человечества», т. е. революционеров (III, 146—147).

В последних радищевских документах есть немало других созвучий официальным мыслям и настроениям первых месяцев александровской эпохи. Но не одних только созвучий... Рескрипт Александра I предлагал Комиссии опираться на уже собранный ранее разнородный материал, дав ему «образ и единство». Используя мысль царя о несовершенстве прошлых законодательных актов русских самодержцев, Радищев, напротив, предлагает не уважать больше «древних вредных предразсуждений» (III, 146); он доказывает, что «великую перемену» в законодательстве можно произвести, опираясь на пример соседних стран, а еще лучше — создав целиком нечто совершенно новое, по примеру уже знакомых нам идеальных законодателей античности, особенно Ликурга (I, 162).

Осмелился ли Завадовский последовать совету Радищева, а тем самым в какой-то мере нарушить предписание Александра? По всей видимости, такие намерения были. Во всяком случае, отвечая на запрос царя по поводу медлительности Комиссии (апрель 1802 г.), Завадовский ссылается на невозможность объединить десятки тысяч прежних разноречивых указов. «Можно ли почерпнуть системы для законоположений из старых наших законов, деланных для иных нравов, для иного времени?», — повторяет он радищевскую мысль. Далее в ответе Завадовского появляется упоминание об использовании примера соседних стран — переводе «лучших кодексов общеевропейских». Добавим, для полноты картины, что над выписанным из Пруссии «новейшим кодексом» как раз и работал Радищев — его «Проект Гражданского уложения» представляет собой подправленный перевод Прусского земского уложения 1794 г.

К расхождениям Радищева с царем относительно метода выработки новых законоположений добавлялись еще бо-

лее существенные расхождения по поводу самой их сути. Встав на путь насаждения вольности «сверху», писатель не перестает быть убежденным защитником народа. По-прежнему главное для него — «польза миллионов», из концепции «Наказа» Екатерины II он выводит идею народного самоуправления, требуя, чтобы царь дал возможность народу «управляться самому собою, оставляя себе одно верховное всего надзирание» (III, 148)! Он продолжает защищать свободу «1) мысли, 2) слова, 3) деяния, 4) в защите самаго себя, когда того закон сделать не в силах, 5) в праве собственности, 6) быть судимы себе равными» (III, 166).

Радищев остается, как и прежде, смертельным врагом бюрократического принципа администрации, созданной еще Петром I, при котором все низшие чиновники зависят от одного высшего «в разсуждении одобрения и получения чинов; отчего происходит, что все, угождая одному, в разум стесненный, в сжатую голову вселяют великое о себе мнение... Если бы все члены были равны и один председательствовал по очереди, то мнения были бы гораздо свободнее» (III, 153, 154).

Предлагая для выявления полной картины «почти повсеместных» злоупотреблений идти не только официальным путем, а обратиться к независимому общественному мнению, Радищев явно намекает на работы вроде своего «Путешествия»: «...Еще бы больше можно узнать, если бы сыскался или житель столицы, или житель в губернии, или путешествователь, довольно имеющий твердости духа, любящий отечество и правду, а сверх того, находяся в независимости в своей особенности, не имел нужды бояться прослыть клеветником злоречивым и бояться мщения сильных, сделал бы картину преступающих в злоупотреблении власти» (III, 153).

Свободолюбивый идеал Радищева не изменился, другим стало лишь представление о путях и средствах его осуществления. Но как раз эта «небольшая» перемена вела мыслителя в безысходный тупик. Надежд на проведение несбывшихся идеалов «века разума» русским царем не было, в сущности, никаких.

Неизбежный конфликт Радищева с власть имущими назрел к середине 1802 г. Тот самый Завадовский, который в 1790 г. был одним из членов Государственного (Непременного) совета, одобривших смертный приговор автору «зло-

вредной книги», и который волею судеб стал затем начальником Радищева, «заметил ему однажды, что этот слишком восторженный образ мыслей уже раз навлек ему несчастие, и дал ему почувствовать, что он в другой раз может подвергнуться подобной беде, и даже произнес слово „Сибирь“» [15].

Роковой круг замкнулся. Негласный комитет Александра I, прозванный современниками в шутку Comité du Salut Public, оказался еще менее способным творить царство «вольности», чем Comité du Salut Public Робеспьера. Подняться до уровня иных теоретических представлений, указывающих выход из тупика, Радищев не смог.

Оставался один исход — уйти из жизни так, как уходили когда-то древние римские герои, как пытались уйти во Франции конца XVIII в. Жак Ру и Гракх Бабеф. Еще в «Путешествии» Радищев вспоминал слова умирающего Катона: «...Если добродетели твоей убежища на земли неостанется, если доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения...— Умри» (I, 295). Теперь пришло время выполнить этот завет. 11 сентября 1802 г. писатель кончает жизнь самоубийством.

9. «Мимо тайны»

Нам пора, пожалуй, завершать полемику с Г. П. Штормом и Д. С. Бабкиным. Первую главу своей книги Шторм озаглавил так: «Мимо тайны». Глава рассказывает о том, как «решительно все историки литературы» — предшественники Шторма — прошли мимо загадок «Путешествия» особого состава, оставив без внимания «целый радищевский мир». Случай, действительно, удивительный. Но куда более удивительно другое: каким образом сам Шторм и последовавший по его стопам Бабкин прошли мимо всем доступных, незашифрованных текстов, мимо свидетельств духовного краха Радищева, известных в литературе уже более сотни лет? [16]

---

[15] «Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями», стр. 95.

[16] Мы уже приводили (см. эпиграф главы) суждение Пушкина. Отметим, кстати, что литературоведы, разрабатывающие тему «Пушкин и Радищев», как правило, обходят громадную проблему идейной преемственности последних работ Радищева и работ Пушкина конца 20-х — середины 30-х годов.

Вот проблема, над решением которой бился Шторм: «...Крайне важно установить, остался ли Радищев после ареста и ссылки верен своим идеалам и сохранил ли он силу духа, волю и мужество, чтобы в конце жизни вернуться к работе над „Путешествием", или же, морально раздавленный, изменил своим убеждениям и стал уповать на царей? Если бы оказалось, что верно последнее, это было бы весьма на руку сторонникам традиции, в частности, современным буржуазным — американским и английским — литературоведам, и без того утверждающим, что Радищев был не революционер, а либерал»[17].

Установить, остался ли автор «Путешествия» в конце жизненного пути верен всем идеалам своей революционной книги, очень и очень важно. Но вряд ли стоит любой пересмотр Радищевым своих прежних представлений (даже если речь идет об отказе от идеи народной революции) заранее именовать «изменой». Еще менее оправдано вводимое Штормом деление фактов прошлого на выгодные для нас и играющие на руку буржуазным литературоведам.

Ни один факт истории вообще, истории мысли в частности никак не может быть «в ущерб» марксистской науке, ибо это объективная наука. А объективность требует от историка учитывать прежде всего громадную сложность, диалектичность процессов развития общественной мысли.

Развитию социализма из утопии в науку, специально подчеркивал Энгельс, предшествовало страшное потрясение, которое испытало Просвещение XVIII в. «Государство разума» воплотилось в якобинском терроре, от которого перепуганная буржуазия спасалась сначала в подкупности Директории, затем под крылом наполеоновской деспотии. «Разумный строй» оказался строем крайних антагонизмов, неслыханного угнетения, непрекращающихся схваток пролетария и буржуа, реальные общественные и политические учреждения, созданные революцией, — «злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей»[18].

Шторм и Бабкин, взявшись делать обобщающие выводы о мировоззрении Радищева в последние годы его жизни, прошли мимо этого факта, основополагающего

---

[17] Георгий Шторм. Потаенный Радищев, стр. 207—208.
[18] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 268.

для всякого историка общественной мысли конца XVIII в. После этого им уже ничего не стоило «не заметить» десятки высказываний Радищева, говорящих против предположения о полнейшей незыблемости всех убеждений революционера.

Мы не допускаем и мысли о том, чтобы исследователи не знали цитированные нами, всем доступные тексты. Скорее они просто боялись сказать о них правду, ибо принимали революционную традицию — со всеми ее зигзагами и изломами, спадами и «карабканиями» со ступеньки на ступеньку — за ровную восходящую линию, а любое колебание Радищева — за уступку «либерализму».

Впрочем, не будем делать исследователям упреки личного свойства. Речь идет о большем: упрощенные представления о развитии революционной мысли мешают советским историкам исследовать не одну только «Песнь историческую» или «Осмнадцатое столетие», а целую громадную нисходящую полосу в истории европейской освободительной мысли XVIII в. Напомним, что в нашей литературе вообще отсутствуют исследования, посвященные, скажем, духовному кризису дожившего до революции Рейналя или взглядам таких противников Робеспьера, как Демулен или Кондорсе, не изучаются серьезно взгляды Бабефа или Пейна 1793—1794 гг. — в период их расхождений с якобинским правительством, в лучшем случае об этом периоде их деятельности (как и о последнем периоде жизни Радищева) говорят: мыслитель «не понял исторически прогрессивного характера якобинской диктатуры», занял по отношению к ней «ошибочную позицию».

Однако то обстоятельство, что подобные приговоры приходится выносить десяткам радикальных мыслителей — современников Радищева — Пейну, Ру, Леклерку, Кондорсе, Демулену и др. (а в XIX в. — Пестелю, Пушкину, Сен-Симону, Фурье), заставляет усомниться: объясняет ли простенькая формула «не понял», «ошибался» смысл такого события, каким был общеевропейский кризис буржуазного радикализма?

Некоторые главные аспекты этого кризиса нам и предстоит рассмотреть в заключительной главе. Это нужно не только для утверждения сделанного ранее вывода: «Личная трагедия Радищева в конце XVIII — начале XIX в. была эпизодом трагедии куда более грандиозного масштаба, постигшей на закате „осмнадцатого столетия“ всю европей-

скую радикально-просветительскую мысль, так и не сумевшую „переварить“ уроки якобинской диктатуры»[19].

Марксистской науке органически чуждо не только замалчивание каких-либо «отрицательных» явлений в истории революционного прошлого. Для исследователя-марксиста, и этим он отличается по сути от буржуазного историка-объективиста, мало еще выявить факт отказа того или иного революционера от идей революции, просто сказать о его «крахе» (или о кризисе целого направления революционной мысли) и на этом поставить точку. Главное для него — понять смысл проблем, стоящих за так называемыми ошибками и колебаниями мыслителей прошлого, проблем, переданных ими грядущим поколениям.

И если для либерала разного рода «духовные драмы» и «коллизии» — довод за то, чтобы не делать революцию вообще, то для марксиста — это довод за то, чтобы делать ее лучше. Марксист не отмахивается от анализа ошибок и блужданий революционеров прошлого, он умеет за ошибками видеть проблемы, за блужданиями — поиск, за откатыванием назад — предпосылку для нового движения вперед. И такой подход вытекает из сущности самого марксистского учения, ибо марксизм — это попытка решения (в новых исторических условиях, на новой теоретической основе) тех проблем, которые ставили, но не смогли решить борцы прошлых эпох.

Только такой подход позволит оценить и теоретическое завещание «века разума» в целом и завещание Радищева, что, кстати сказать, никак не достигается путем простых противопоставлений: революционер или либерал, «несгибаемый революционер» или революционер, допускавший «колебания»....

---

[19] Е. Г. Плимак. Что открыл Георгий Шторм? — «История СССР», 1966, № 1, стр. 162.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

УРОКИ «ОСМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ»

> «Это превращение в свою противоположность, это достижение в конечном счете такого пункта, который полярно противоположен исходному, составляет естественно неизбежную судьбу всех исторических движений, участники которых имеют смутное представление о причинах и условиях их существования и поэтому ставят перед ними чисто иллюзорные цели».
>
> **Ф. Энгельс***

1. «Ошибки» или нерешенные проблемы?

XVIII век был не только веком взлета революционной идеологии, он был веком проверки идей в великих классовых битвах. И революционная теория той поры не выдержала проверки. Эта теория была еще слишком проста, примитивна, а революция оказалась гигантски сложным делом.

Известно, что любая общественная теория, а тем более теория, еще не ставшая в полном смысле этого слова наукой (как было с просветительскими теориями XVIII в.), односторонне, узко, неполно отражает все многообразие явлений общественной жизни. Это несоответствие теории и практики выявляется резче всего в эпоху революций, когда наступает пора претворения идеалов и лозунгов в жизнь, когда сразу же, скачком, в громадном объеме расширяются масштабы и формы человеческой общественной деятельности, в нее включаются новые классы и слои. И если раньше на выявление пробелов той или иной теории нужны были долгие десятилетия, то теперь ее неполноценность или неполнота обнаруживается за немногие годы, а то и месяцы, причем процесс этот идет крайне болезненно, в катастрофически резких формах, порождая быстрые, головокружительные скачки вперед и не менее быстрые отходы, отлеты назад, разного рода драмы и коллизии, при-

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 21—22.

чем в обстановке гражданской войны споры и расколы в стане революционеров зачастую кончались, как это было в якобинской Франции, трагическим исходом, когда арбитром дискуссий становилась гильотина.

«Люди, хвалившиеся тем, что *сделали* революцию,— писал Энгельс,— всегда убеждались на другой день, что они не знали, что́ делали,— что *сделанная* революция совсем непохожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которой избежали немногие исторические деятели»[1]. «Терроризм», завершавший начатую во имя гуманизма революцию, был, вне всякого сомнения, самым резким, до боли разительным обнаружением этого несоответствия.

Именно это несоответствие отразила радищевская параллель «Сулла — Робеспьер». Писатель недаром наделил античного напарника вождя якобинцев любопытным качеством: «се мучитель с сердцем нежным» (I, 96 — ср. пушкинскую оценку Робеспьера: «сентиментальный тигр»). Недаром Радищев специально возвращается к «неразрешимой загадке» души своих героев:

Но то истина, что может
Во душе, к люблению нежной,
При вождении рассудка,
Привитать и люто зверство (I, 98).

То, что так и осталось «истиной непостижимой» для русского мыслителя, пробилось в сознание одного из вождей якобинской Франции. «Сила вещей ведет нас, по-видимому, к результатам, которые не приходили нам в голову»,— признавался Сен-Жюст[2]. В этом прозрении — ключ к трагедии мыслителей «осмнадцатого столетия».

Действительно, громадное большинство «патриотов», вовлеченных в 1789 г. в водоворот политической борьбы, не являлись ни сторонниками насилия, ни почитателями террора, их лозунгом была «всеобщая свобода», свобода, не знавшая никаких исключений, даже для свергнутых врагов. Просвещение воспитало будущих вождей революции в духе человеколюбия, оно укрепило их в мысли, что камни тюрем, созданных «деспотизмом», не могут идти на закладку «храма свободы». Из радикальных публицистов первых лет революции лишь немногие настаивали на не-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, стр. 263.
[2] Saint-Just. Discours et rapports, p. 145.

обходимости революционного террора (скорее, угрозы террора). К числу их принадлежал (парадокс истории!) тот самый Камилл Демулен, который станет в год II столь желанной им республики ярым обличителем режима всеобщей подозрительности и якобинского терроризма. Еще осенью 1789 г. будущий автор знаменитого «Старого кордельера» выпустил не менее знаменитое «Обращение фонарного столба к парижанам», где объявлял подозрительность «матерью безопасности», призывая французов учиться бдительности все у того же древнего Рима: «Римские гуси хорошо сделали, закричав ночью. Ныне мы в сумерках, и хорошо, что верные псы брешут даже на прохожих зато не надо бояться воров»[3]. В том же направлении следовал Марат; осенью 1789 г. он заявил: свобода — результат не столько писаний философов, сколько народных мятежей, а в начале 1790 г. выдвинул лозунг революционной диктатуры и превентивного террора («Призыв к нации»).

Но если «Обращение» Демулена и «Призыв» Марата не встретили в первые годы революции особого сочувствия в стане «свободы», то, напротив, вожди роялистского стана сразу взяли курс на вооруженную расправу с революционерами, с взбунтовавшейся «чернью».

Подчеркнем, что в начале революции «низы» Франции куда реалистичнее и решительнее большинства радикальных «идеологов» реагируют на угрозу. Стихийное чутье народа, столетиями копившего ненависть к угнетателям, оказывается в большей степени на уровне задач революции, чем воспитанный в общегуманистических традициях просветительский разум. Народное, возникшее полустихийно восстание 14 июля 1789 г. и последовавшее за ним октябрьское возмущение парижского люда наносят решающий удар абсолютизму, спасают Францию от грозящего ей роялистского террора (кстати сказать, ценой очень и очень немногих жертв). Народное, чисто стихийное движение против феодалов в сельской Франции, усилив «великий страх» имущих, вырывает 4 августа 1789 г. у Учредительного собрания первые принципиальные уступки в пользу крестьянства.

Этим идущим со стороны аристократов и со стороны народных масс попыткам силой решать великие политиче-

---

[3] «Camilles Desmoulins. Biographie, bibliographie, pages choisies par Charles Simond». Paris, 1910, p. 22, 26.

ские и социальные проблемы революции буржуазные «конституционалисты» в Учредительном собрании противопоставляют «средний» путь компромисса, законодательных классовых сделок, также не исключавший применения силы ради сохранения «порядка» и «закона». Последнее убедительно доказали хотя бы расстрел солдат-мятежников в Нанси (август 1790 г.) или разгром роялистских сборищ в Жалесе (февраль 1791 г.).

К осени 1791 г. «либеральный» цикл революции был близок к завершению. Стоящие у власти буржуазные круги, несмотря на все признаки измены короля, идут на сделку с недобитой монархией; расстреляв 17 июля 1791 г. республиканских петиционеров на Марсовом поле, они проявляют полную готовность взять на себя функции абсолютистского государства по обузданию «анархии» масс. И если через какой-нибудь год-полтора конституционно-монархическая Франция стала республикой, а король оказался на плахе, то главной причиной тому была незавершенность начатого революцией преобразовательного процесса, нерешенность коренных, прежде всего социальных проблем. На одном полюсе — растущее возмущение «низов», которым новоявленные «отцы отечества» обещали, но так и не дали «свободу» (три из семи миллионов «свободных и равных в своих правах» граждан отстранены от участия в политической жизни; феодальный порядок, «окончательно упраздненный» в августе 1789 г., продолжает существовать в той части сеньориальных повинностей, которые крестьянам предстоит выкупать в дальнейшем; начавшийся финансовый кризис бьет по неимущим). На другом полюсе — растущее сопротивление феодальной аристократии, у которой отняли верховную политическую власть и многие сословные привилегии, но не отняли надежду вернуть их силой обратно (в руках аристократов остаются основные командные должности в армии, важные рычаги исполнительной власти, неприсягнувшие священники продолжают вести за собой отсталые массы крестьян). В центре, в качестве «стабилизующей силы»,— стремление имущих буржуазных слоев удержать уже добытое (и, добавим, немалое добытое — политическую власть, пущенные в распродажу церковные земли, свободу от государственного вмешательства в дела промышленности, земледелия и торговли и т. п.). Такова была картина Франции в конце «фатального» 1791 года.

Что касается инициативы в развязывании гражданской войны, то она шла справа. Королевская партия делала в 1791—1792 гг. все — начиная от организации интервенции, мятежей, министерских интриг и кончая лицемерной поддержкой внешнеполитических жирондистских авантюр,— чтобы поставить насилие в повестку дня, и она дождалась ответного революционного насилия.

Война, объявленная «свободной» Францией «тиранам» Европы, ускорила развязывание внутриполитической борьбы, придав ей, особенно после свержения монархии, предельно жестокие формы. Первым проявлением народного терроризма была знаменитая сентябрьская «чистка тюрем» в Париже (1792 г.), стоившая жизни тысяче с лишком заключенных,— не только неприсягнувшим священникам и некоторым крупным аристократам, но и массе уголовников, воров, фальшивомонетчиков. Даже самые «крайние» революционеры не принимают крайностей этого избиения, во время которого, как писал Марат, топор поражал «без различия всех виновных, смешивая мелких преступников с крупными злодеями» (III, 159)[4]. Но подлинные революционеры той эпохи не отрицали спасительности меры, на которую толкнуло народ — в условиях угрозы Парижу со стороны интервентов, нерешительности правительства — чувство самосохранения. «Этот акт правосудия оказался неизбежным, чтобы сдержать путем террора легионы предателей, скрывающихся в стенах Парижа, в тот момент, когда народ уходил на врага,— гласил циркуляр, подписанный Дантоном.— Мы не сомневаемся, что вся нация после стольких измен, приведших ее на край гибели, поспешит применить это необходимое средство общественного спасения...»[5]. Марат видел вещи глубже и смотрел гораздо дальше Дантона, ибо готовился к смертельной борьбе не только с внешним врагом революции, но и с врагами, «заседающими в сенате»: «...Если когда-нибудь они пойдут по правильному пути, то только поддерживаемые страхом народной расправы, только поддерживаемые террором» (III, 203).

Национальный кризис весны-лета 1793 г. заставляет взявших бразды правления монтаньяров сделать то, что побоялись сделать за год до этого жирондисты: решитель-

---

[4] Ж. П. Марата цитируем по Избр. произв., т. I—III. М., 1956.

[5] Цит. по кн.: А. Матьез. Французская революция, т. II. Жиронда и Гора. М., 1929, стр. 39.

но опереться на неимущие плебейские массы. А это означало одновременно взять на себя заботу об их существовании, немыслимую без систематического ущемления имущих слоев.

На этот шаг обновленный Комитет общественного спасения идет не без колебаний. Все лето он делает попытки путем разного рода полумер и декларативных декретов избежать тех крайностей, на которые его толкают «бешеные» и их вожди. К концу лета, в безвыходной ситуации, правительство Робеспьера уступает напору парижских масс. 23 августа декретируется создание всеобщего ополчения, 5 сентября — арест подозрительных и чистка революционных комитетов, призванных осуществлять эту меру, 29 сентября — всеобщий максимум.

Во второй половине 1793 г. тысячи комитетов и клубов в центре и на местах, в контакте с комиссарами Конвента или самочинно, опираясь на силу революционных армий и ополчения, практикуют самые разнообразные принудительные меры, обеспечивая массовую мобилизацию, реквизиции, надзор за соблюдением продовольственных декретов, контроль над прессой и театрами, наблюдение за благонадежностью всех граждан, наконец, аресты врагов республики и превентивные аресты «подозрительных» лиц.

На жирондистские и роялистские мятежи, истребление лионских якобинцев, на зверства белых банд в Вандее республика отвечает беспощадным террором, уничтожившим за год с небольшим десятки тысяч людей [6]. Как подчеркивает А. Собуль, террор в департаментах зависел не только от размаха мятежей, но и от «темперамента комиссаров Конвента». Если за год до этого вожди революции стоят

[6] Согласно подсчетам историка Д. Грира, по приговорам революционных трибуналов в 1793—1794 гг. было отправлено на гильотину около 17 тыс. человек. К этому надо добавить по крайней мере столько же казненных без суда или погибших в тюрьмах. Точное число «подозрительных» неизвестно историкам. Д. Грир считает, что между мартом 1793 г. и августом 1794 г. было арестовано около 500 тыс. (D. Greer. The Incidence of the Terror. A Statistical Interpretation, 1935); А. Матьез называет цифру 300 тыс. (А. Матьез. Французская революция, т. III. Террор. М., 1930); Л. Жакоб, опираясь на свидетельства современников революции, снижает цифру до 70 тыс. «Подозрительных», заключаемых в специальные дома с чисто превентивной целью, не надо путать с политическими преступниками (L. Jacob. Les suspects pendant la Révolution 1789—1794. Paris, 1952).

в стороне от «эксцессов» репрессий, то теперь они зачастую являются их инициаторами. «В Нанте комиссар Конвента Каррье приказывает в декабре и январе потопить в Луаре без суда и следствия от 2 до 3 тысяч человек — неприсягнувших священников, подозрительных, бандитов и уголовников. В Бордо репрессии возглавляет Тальен, в Провансе — Баррас и Фрерон, которые организуют массовые казни в Тулоне. В Лионе террор соизмерялся степенью опасности, которой восстание в городе подвергло Республику... 12 октября, по докладу Барера, Конвент решает разрушить город... Если Кутон удовлетворился разрушением нескольких зданий на площади Белькур, то прибывшие туда 7 ноября Колло д'Эрбуа и Фуше организуют массовые репрессии. Комиссия народной юстиции заменяется — ввиду ее чрезмерной снисходительности — революционной комиссией, которая выносит 1667 смертных приговоров; слишком медлительная гильотина дополняется расстрелами из ружей и пушек»[7] Все это, впрочем, не удивительно.

К 1793 г. происходит резкий сдвиг во взглядах на насилие вообще, террор в частности и в сознании радикальных вождей революции. Дело не только в том, что «крайние» воззрения Демулена или Марата стали господствующими среди якобинцев. Растущая угроза контрреволюции все шире раздвигает не только в жизни, но и в умах революционеров границы применения террористических мер. Хронологически разделенные высказывания Марата хорошо иллюстрируют эту зависимость.

Начало 1790 г. («Призыв к нации»: «Несколько своевременно отрубленных голов надолго сдержит врагов общества и на целые столетия избавит великую нацию от бедствий нищеты и ужасов гражданских войн» (II, 132).

Июль 1790 г.: «Пятьсот-шестьсот отрубленных голов обеспечили бы вам покой, свободу и счастье...» (II, 185).

Декабрь 1790 г.: «Возможно, потребуется отрубить пять-шесть тысяч голов; но если бы даже пришлось отрубить двадцать тысяч, нельзя колебаться ни одной минуты» (II, 235).

Сентябрь 1792 г.— март 1793 г.: «...Ваши несчастья не кончатся, пока народ не истребит до одного всех приспеш-

---

[7] A. Soboul. Précis d'histoire de la Révolution française. Paris, 1962, p. 283.

ников деспотизма, всех представителей прежних привилегированных сословий... Это доказал пример голландцев, швейцарцев, англичан и американцев. В гражданских войнах, которые они вели с приспешниками деспотизма, не жалели крови — было убито больше миллиона двухсот тысяч человек» (III, 129, 262).

Марат был убит роялисткой Кордэ в середине 1793 г. А месяца три-четыре спустя Сен-Жюст бросит знаменитый клич: «Свобода должна победить какой угодно ценой», он потребует смерти уже не только для всех приспешников старого порядка, но и для всех равнодушных: «Вы должны карать не только предателей, но и равнодушных, вы должны наказывать любого, кто пассивен в Республике и ничего не делает для нее»[8].

Но буквально в те же самые месяцы, когда в сознании вождей революции происходит стремительный сдвиг в сторону все более решительного применения насильственных мер, в том же самом стане обозначается и противоположная тенденция — к отрицанию всякого насилия вообще, причем носителями и этой тенденции оказываются самые крайние и самые решительные до того революционеры.

Эволюция редактора «Публициста Французской республики» Жака Ру дает тому наглядный и разительный пример. В конце июля, приступая к изданию газеты, Ру объявляет себя продолжателем убитого Марата, он самым решительным образом защищает его идеи. Но уже через месяц-другой тот же Ру оказывается в позиции, полностью противоположной исходной. Вот несколько выдержек из «Публициста Французской республики», разделенных уже не годами и месяцами, как высказывания Марата, а неделями и даже днями.

27 июля 1793 г.: «Враги революции не станут ее друзьями... Есть только одно средство укрепить свершившуюся революцию — это сокрушить предателей бичом войны, это заклеймить каленым железом бесчестья лбы роялистов, заставить сверкать меч законов над головами виновных... Не слушайте никаких призывов к соглашательству. Если подлецы, предавшие отчизну, искренне раскаялись,— прекрасно, пусть, поднимаясь на эшафот, они кричат: да здравствует республика!»

---

[8] Saint-Just. Указ. соч., стр. 117—118.

3 августа 1793 г.: «Очутившись на пороге гибели, надо проникнуться одним принципом, что высшим законом является общественное спасение, что следует принимать самые быстрые, самые жестокие меры».

14 августа 1793 г.: «Доброта французов увеличила ряды врагов общего дела и придала дерзость заговорщикам. Нас погубила слишком большая терпимость». Но тут же: «Свобода будет быстро уничтожена, если один гражданин присвоит себе право бросать другого в тюрьму, если Комитет объединит в одних руках все полномочия... История учит нас, что сенаторы Рима не замедлили поработить народ, как только тот отказался от своих гражданских прав».

24 августа 1793 г.: «Скажу прямо: существует система угнетения, соединившегося с вероломством. Те, кто опрокинул трон тирана, в этот момент чинят обиды патриотам».

Начало сентября 1793 г.: «Все суетятся, стараются разрушить подлые заговоры... Но осмелюсь заявить, что нарушая конституцию, забывая о принципах, общепринятых даже у самых варварских наций, насаждая злобу, отравляя чувство патриотизма, разжигая гражданскую войну, мы вряд ли увидим дни возрождения у нас величия Афин и Рима».

Середина сентября 1793 г.: «Самые решительные меры вырождаются в злоупотребления... Чтобы заполнить пропасть, которая разверзлась у наших ног, нам следует встать выше людских слабостей, заниматься скорее вещами, чем людьми, и осуществить революцию, приятную мягкостью правления». И там же: «Лживые апостолы свободы, вооружая отца против сына, нацию против нации, всех перессоривая, все опрокидывая, все заливая кровью, превращая Францию в сплошную Бастилию, наша революция не завоюет мир. Если над внешними врагами торжествуют силой оружия, ...то на тропу истины заблудшие души возвращают только милосердием, внимательностью, приветливостью законов и добродетельностью практики, вызывая слезы признательности»[9].

Мы видели, что первая тенденция к безудержному

[9] «Le Publiciste de la République française», № 248, 250, 256, 264, 265. На последних номерах «Публициста» точная дата отсутствует, они датируются приблизительно по обозначенным на них именам председателей Конвента.

применению мелкобуржуазными революционерами насилия имела свою объективную основу, диктовалась обстоятельствами гражданской войны. То же самое можно сказать и о второй тенденции — к отказу от всякого насилия. Дело в том, что, создавая механизм революционного террора, республиканское правительство с самого начала использовало его и для решения противоречий внутри революционного лагеря, против соперничавших республиканских групп. Эта тенденция отчетливо выявилась еще в августе — сентябре 1793 г., когда возмущение «бешеных», казалось, вот-вот опрокинет революционный Конвент. Реакция правительства, возглавленного к этому времени Робеспьером, была продиктована необходимостью удержать в своих руках власть, направив вместе с тем революционную энергию народа в сторону мятежников — жирондистов, вандейцев — и внешнего врага. Правительство брало на себя выполнение программы, которая выдвигалась идеологами плебейских масс,— оно пошло на введение твердых цен на предметы первой необходимости (законы о максимуме), приступило к массовой мобилизации, поставило террор в повестку дня и, приняв меры, немедленно перешло к арестам и ликвидации плебейских вождей (Ру, Леклерка, Варле), к преследованию массовых организаций, которые оказывали им поддержку. Важнейшим средством осуществления и оправдания этой расправы оказалось то самое террористическое законодательство, которого с таким упорством добивались «бешеные». Весной 1794 г. этот же прием Робеспьер и Сен-Жюст повторно применят к наследникам «бешеных» — эбертистам. Они снова возьмут в свои руки выполнение их требований (конфискация имущества врагов и распределение его между неимущими) и снова отправят на эшафот ревнителей этих и тому подобных мер (Эбера, Шометта, Венсана).

Но поскольку мелкобуржуазное правительство — частично по своей воле, частично против нее [10] принимало на

---

[10] Так, навязанный Конвенту в 1793 г. закон о всеобщем максимуме Робеспьер до последних дней жизни считал «выдумкой» Питта. Сложнее обстояло дело с вантозскими декретами. Принятие их вряд ли можно объяснять одной лишь тактической уловкой робеспьеристов. Собственный опыт реквизиций и экспроприаций богачей, который Сен-Жюст широко практиковал во время своей командировки в Рейнскую армию, толкал его в сторону той же уравнительной социальной программы, которую защищали эбертисты.

себя осуществление плебейской, по сути дела антибуржуазной программы, постольку в оппозицию к нему становились имущие слои, интересы которых затрагивала система принудительных мер. Одобряя расправу с главарями санкюлотов, заключая ради этой цели с робеспьеристами временные союзы, идеологи «новой буржуазии» — Дантон, Филиппо, Демулен — в свою очередь начинают смертельную борьбу против Робеспьера и Сен-Жюста. Отправка на гильотину «снисходительных» стала для правительства Робеспьера такой же неизбежностью, какой была ранее отправка туда их антиподов — «бешеных» или эбертистов.

Машина террора обращалась против тех или иных революционеров — и они немедленно из самых страстных поклонников насилия (а таковыми были и Жак Ру и Демулен) становились его самыми непримиримыми врагами.

Мы видим, таким образом, гигантскую амплитуду колебаний мелкобуржуазных идеологов в решающий для республики год. С одной стороны, быстро растущая вера в спасительность террористических мер: «несколько» (соответственно, 500—600, 5—6 тысяч, миллион-другой) отрубленных голов — и «покой», «свобода», «счастье» обеспечены, нация «на целые столетия» (!) избавлена от бедствий нищеты и ужасов гражданской войны. С другой стороны, катастрофически быстрый, полный или почти полный отказ от насилия: массовые репрессии «губят» республику, спасение не в терроре, а в милосердии, оно и только оно обеспечит нации «свободу», «покой», «счастье».

Для нас крайне важно установить, что итоговая позиция людей, олицетворявших в 1793—1794 гг. обе эти тенденции (Робеспьера, с одной стороны, Ру и Демулена — с другой), определялась не их заранее сложившимися идейными установками, а целиком и полностью силой обстоятельств. Более того, эта сила заставляла их по существу изменять своим прежним взглядам. В отношении Жака Ру и Демулена дальнейших доказательств не требуется. Но, пожалуй, стоит привести их в отношении Робеспьера: мы как-то не всегда сознаем, что главой террористического правительства, воплощением «кровожадности» и «диктаторства» стал человек, бывший с первых дней революции ярым врагом кровопролития и «диктаторской» власти. Трудно поверить, что одному и тому же Робеспьеру при-

надлежат следующие суждения (кстати говоря, они касаются не только проблем насилия, а буквально всех сторон общественной жизни):

Робеспьер о роли правительства в эпоху кризиса

Декабрь 1791 г.

«Во время войны исполнительная власть развивает самую страшную энергию и осуществляет своего рода диктатуру, которая не может не устрашить рождающуюся свободу» (I, 169—170)[11].

Декабрь 1793 г.— февраль 1794 г.

«Революционному правительству нужно употреблять чрезвычайную активность именно потому, что оно ведет войну... Революционное правление — это деспотизм свободы против тирании» (III, 91, 113).

Робеспьер о роли конституции

Май 1792 г.

«Среди бурь, вызванных наличием множества клик, которым дали время и средства укрепиться, среди внутренних раздоров, вероломно комбинируемых с внешней войной..., добрым гражданам нужна какая-то точка опоры, какой-то сигнал сбора; в этом смысле нет ничего лучше конституции» (I, 245).

Декабрь 1793 г.

«Конституционный корабль был построен вовсе не для того, чтобы остаться постоянно в верфи; но следует ли бросить его в море во время бури и навстречу противному ветру... Французский народ повелел вам ждать, когда море успокоится; он выразил единодушное желание, чтобы вы, несмотря на вопли аристократии и сторонников федерализма, сначала освободили бы его от врагов» (III, 92).

Робеспьер о контроле над властью

Апрель-май 1792 г.

«Свобода разоблачений является, во все времена, гарантией для народа, это священное право каждого гражданина. ...Какими же деспотами были бы те, кто, будучи хранителями великих интересов нации..., притязали бы еще на привилегию, изымающую их из сферы компетенции суда общественного мнения» (I, 231, 269).

Февраль 1794 г.

«Если существуют представительные органы, первичная власть, установленная народом, она должна непрестанно следить за всеми общественными служащими и обуздывать их. Но кто обуздает ее, если не ее собственная добродетель?» (III, 111—112).

---

[11] М. Робеспьера (там, где не оговорено особо) цитируем по Избр. произв. в трех томах, М., 1965.

Робеспьер о народных обществах (секций Парижа)

Февраль 1792 г.

«Во время кризиса, когда каждый день кажется чреватым преступлениями и заговорами завтрашнего дня, только постоянная бдительность секций может спасти общественное дело... Национальное собрание должно поспешить разрешить им, даже пригласить их, собираться без ограничений, так же, как это было в прекрасные дни революции; это является условием обеспечения государственной безопасности...» (I, 208).

Декабрь 1793 г.

«Мнимые народные общества, бесконечно расплодившиеся после 31 мая,— это ублюдочные общества, не заслуживающие этого святого имени... Это общество (секции инвалидов.— *Авт.*) должно отныне исчезнуть; дело Национального правительства уничтожить его, и общество якобинцев должно отказать ему в поддержке... Разве это народ расколот на множество обществ, которые постарались создать агенты иностранных держав?.. Нет, там не народ там Австрия, там Пруссия» [12].

Робеспьер о свободе мнений и слова

Май 1791 г.— апрель 1792 г.

«Каждый человек вправе объявлять свои мысли любым способом... Неужели вы постановите о том, что люди не смогут давать волю своим мнениям, если они не добились пропускного свидетельства от полицейского чиновника, или о том, что они будут думать лишь с одобрения цензора и по разрешению правительства?» [13]

«...Не бойтесь столкновения мнений и бурь политических дискуссий, это лишь муки рождения свободы» (I, 229).

Март 1793 г.— июнь 1794 г.

«Следует, чтобы этот трибунал наказывал все сочинения... (ропот в части зала). Странно, что в зале раздается ропот, когда я предлагаю пресечь издание публичных сочинений, направленных против свободы, задевающих принципы суверенитета и равенства... Всюду, где устанавливается демаркационная линия, всюду, где проявляется разногласие, там есть нечто, враждебное благу отечества» [14].

Робеспьер о смертной казни

Май 1791 г.

«Закон о смертной казни является пагубным..., он нелеп..., он несправедлив в самом своем су-

Август 1793 г.— февраль 1794 г.

«С вершины Горы я бы дал народу сигнал и сказал бы ему: Вот твои враги, бей! ...Недопустимо,

[12] Цит. по статье: A. Soboul. Robespierre und die Volksgesellschaften.— Сб. «Maximilien Robespierre. 1758—1794», Berlin, 1961, S. 280—281.

[13] М. Робеспьер. Революционная законность и правосудие. М., 1959, стр. 93, 105.

[14] Там же, стр. 168, 222.

ществе... Законодатель, предпочитающий смертную казнь более умеренным наказаниям..., ослабляет энергию правительства, стремясь расширить его власть применением слишком большой силы... Остерегайтесь смешения эффективности наказаний с эксцессами строгости: они абсолютно противоречат друг другу» (I, 151—153).

чтобы Трибунал, учрежденный для движения революции вперед своей преступной медлительностью заставлял двигаться ее назад... Этому Трибуналу подсудно преступление одного лишь рода — государственная измена..., за нее есть одно наказание — смерть... Террор — это не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость» (III, 44, 45, 112).

Разумеется, эти взятые из речей отдельные высказывания не передают всей сложности воззрений Робеспьера, как находящегося в оппозиции, так и находящегося у власти. Но их сопоставление наглядно обозначает одно из направлений, в котором катастрофически деформируется идеология Просвещения в ее столкновении с действительностью классовой борьбы. Этот резкий сдвиг был воспринят другими республиканцами как измена вождей делу «свободы». Напомним, как разошедшийся с якобинским правительством Бабеф предлагал в 1794 г. различать в Робеспьере «двух лиц»: «искреннего патриота и друга принципов вплоть до начала 1793 г.» и «честолюбца, тирана и самого отъявленного из негодяев, начиная с этой поры» [15].

«Террористы» и «диктаторы» Сен-Жюст, Робеспьер и «антитеррористы», враги «диктатуры» Ру, Пейн, Демулен, Кондорсе выразили в республиканской Франции 1793—1794 гг. два полярных взгляда на революционное насилие. на принципы революционной власти. Мы, естественно, не будем обвинять ту или другую сторону в «измене», как это делали сами соперники — участники тех событий. Но не будем также именовать одну точку зрения верной, другую — ошибочной, как это делают некоторые современные исследователи. Не будем мы и искать истину где-то между ними... Вспомним мудрые слова Гете: «Говорят, что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим образом! Между ними лежит проблема...» [16]

Эту проблему начали нащупывать и распутывать уже сами участники и современники французской революции, среди них Радищев.

---

[15] «Pages choisis de Babeuf», Paris. 1935, p. 164—166.

[16] И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957, стр. 393.

2. «Закон природы» Радищева

Вернемся к «закону природы»: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство» (I, 361). Казалось бы, открытие Радищева принадлежит целиком области тех ограниченных представлений, которые были присущи Просвещению XVIII в.; для него это — закон «неизменимый никогда», проявление «всеобщего стремления» природы.

И все же абстрактно-натуралистическая формула заключала вполне конкретное содержание: она была обобщением событий английской революции XVII в., с удивительной законосообразностью повторенных революционной Францией XVIII в. И здесь гражданская война завершилась победой «свободы»: казнью короля, разгромом врагов революции. И здесь сконцентрированная в руках революционного правительства власть оказалась узурпированной — сначала Директорией, этой, по выражению Радищева, «пятиглавой и ненавистной всем гидрой французского правительства» (III, 523), затем, после переворота 18 брюмера 1799 г.— Бонапартом.

Определенную цикличность в политических переворотах XVII — XVIII вв. замечает не только Радищев. История общества, заключал Н. Г. Чернышевский, состоит в «вечной» смене «трех расположений»: «Недостатки существующего вызывают критику; она сначала обращается лишь на недостатки, заметные с первого взгляда; это пора умеренных либералов; но критическая мысль, развиваясь далее, находит, что под явлениями, очевидно неудовлетворительными, лежат принципы, на которых построен весь общественный порядок, что второстепенных явлений нельзя устранить, не устраняя этих коренных причин; тогда умеренно-либеральная критика переходит в радикальную; так за Монтескье явился Руссо; за Мирабо — Робеспьер. Привычка к коренным принципам общественного устройства чрезвычайно сильна в массе, и огромное большинство общества скоро замечает, что радикалы, увлекшие его, идут гораздо дальше, чем может оно идти по своим понятиям... Тогда начинается другое настроение мыслей: касаться оснований общественного устройства — это злодейство или безумие; довольно устранить второстепенные недостатки. Опять настает пора умеренного либерализма: за конвентом следуют директория и консуль-

ство; законы для Франции снова составляются под влиянием Сиеса, Талейрана и других, замолкавших во время конвента. Но мысль, породившая переход от радикализма к умеренному либерализму, продолжает развиваться... Наполеон с насмешкою отталкивает Сиеса и перестает слушать Талейрана; конституционный порядок директории, ставший почти только призраком во время консульства, переходит в полный абсолютизм империи. Тут опять начинается прежняя история... Реакция ведет к умеренной, потом к радикальной критике; радикализм ведет к умеренному, потом к реакционному консерватизму, и опять от этой крайности общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный либерализм» [17].

Формула Чернышевского более содержательна, чем у Радищева, но и она не вполне совершенна, к тому же он явно вуалирует мысль. Эволюция политических форм именуется сменой расположений «умственной истории», не раскрыто, в чем состоят «недостатки существующего», которые критиковали либералы, какие «основания общественного устройства» и каким образом хотели переделывать радикалы, и т. п. Но ясно, что и Чернышевский бьется над познанием той же закономерности, что и Радищев.

Механизм этой своеобразной цикличности буржуазных революций, выразившийся в постоянном их «забегании вперед» и последующем, столь же постоянном «откате назад», вскрыла марксистская теория классовой борьбы. «...Если отрешиться от конкретного содержания каждого отдельного случая,— писал Энгельс,— общая форма всех этих революций заключалась в том, что это были революции меньшинства. Если большинство и принимало в них участие, оно действовало — сознательно или бессознательно — лишь в интересах меньшинства; но именно это или даже просто пассивное поведение большинства, отсутствие сопротивления с его стороны создавало видимость, будто это меньшинство является представителем всего народа» [18].

Второе — неминуемость раскола «победившего народа» непосредственно вытекает из разнородности сил, осуществлявших переворот. Устранение «тирана» всегда и везде оказывалось не концом, а началом продолжительной борь-

---

[17] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1949. стр. 252—254.

[18] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 533—534.

бы, на этот раз между таившимися в самом «народе» противоположными элементами. «После первого большого успеха победившее меньшинство, как правило, раскалывалось: одна часть его удовлетворялась достигнутым, другая желала идти дальше, выдвигала новые требования, соответствовавшие, по крайней мере отчасти, подлинным или воображаемым интересам широких народных масс»[19].

Третье — в истории буржуазных революций случалось, что решительность и энергия радикального авангарда утверждали его кратковременное господство, давали ему возможность навязывать свои требования всей нации. Но поскольку эта радикальная группа не была способна господствовать при данном состоянии общества, поскольку ее цели противоречили реальным определяющим тенденциям развития экономики общества и его политической надстройки, победа радикалов неизменно оканчивалась их поражением (независимо от того, в форме внутреннего перерождения или свержения извне шел этот процесс). «И в отдельных случаях,— пишет Энгельс,— эти более радикальные требования осуществлялись, но большей частью только на очень короткое время: более умеренная партия снова одерживала верх и последние завоевания — целиком или отчасти — сводились на нет; тогда побежденные начинали кричать об измене или объясняли поражение случайностью»[20].

И последнее: регрессивное движение — в тех случаях, когда радикалы успевали произвести более или менее основательную чистку «почвы» от отживших свой век отношений, учреждений и идей,— не было простым движением назад. Часть революционных преобразований оказывалась связанной с интересами столь широких масс населения или с интересами общественных сил, столь укрепившихся в ходе революции, что перечеркнуть или отменить их полностью не могли, не подвергая угрозе свое существование, никакие контрреволюционные правительства. В целом общество откатывалось не на исходную, а на одну из промежуточных ступеней: «...То, что было завоевано в результате первой победы, становилось прочным лишь благодаря второй победе более радикальной партии; как только это бывало достигнуто, а тем самым выполня-

---

[19] Там же, стр. 534.
[20] Там же.

лось то, что было в данный момент необходимо, радикалы и их достижения снова сходили со сцены»[21].

События, происходившие при этом на поверхности политической жизни, в общем и целом шли параллельно глубинным социальным сдвигам, хотя зависимость политических форм от массы более случайных факторов могла вызвать временное появление «несоответствующих» новому базису режимов и диктатур.

Разумеется, было бы неправильно устанавливать непосредственную связь между «законом природы» Радищева и законом цикличности буржуазных революций классиков марксизма. Мы бы стерли тем самым различие первых теоретических представлений, схватывающих внешнюю повторяемость событий, и разработанной теории, проникающей за поверхность явлений, в их глубину, различие м е т а ф и з и к и XVIII в., сводящей развитие общества к движению по кругу, к простому воспроизведению уже известных образцов, и д и а л е к т и к и XIX—XX вв., открывающей в общественном развитии не просто повторение пройденных уже ступеней, но повторение их «иначе, на более высокой базе»[22]. Но если взять всю сумму промежуточных обобщений (формула Н. Г. Чернышевского — один пример), то отдельные звенья выстраиваются в единый ряд — научная теория оказывается итогом долгого и трудного развития теоретической мысли прошлого. Кстати, на формулировке Энгельса развитие теории также не прекращается: идет дальнейшее уточнение, обогащение закона, выявляется действие его на более широких полосах исторического развития, обнаруживаются вариации одних и тех же закономерностей в странах с разным уровнем социального развития, с разными традициями политической борьбы. В. И. Ленин, например, ищет в событиях XX в. не только подтверждения приведенным выше мыслям. Новая, более развитая действительность позволяет ему дать более глубокую ретроспективную оценку тех же событий XVIII — XIX вв., ввести понятие цикла нескольких революций, каждая из которых бьет, но не добивает старый режим, взрыхляет почву для будущих революций[23].

---

[21] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 22, стр. 534.
[22] В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 55.
[23] См. В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 47; т. 19, стр. 246—247.

3. Диалектика якобинского «деспотизма свободы»

Возьмем следующий важный элемент теоретических представлений мыслителей XVIII в. Среди причин, определивших превращение свободы в рабство, Радищев выделял еще в 80-е годы «несытну алчбу власти» (I, 12). Римское или, скажем, «христианское общество» шло «стезею народам обыкновенною»: сначала оно «воздвигло начальника», затем «разширило его власть», затем «всесильный» царь или папа губили «свободу» (I, 260, 14). Радищевская концепция — совершенно в духе XVIII в., когда, как писал Маркс, историки еще не спустились с поверхности политических форм в недра социальной жизни[24]. Примерно такое же объяснение «падения» Римской республики мы видели у Монтескье, аналогичный подход к прошлому человечества найдем у Робеспьера 1789 г.: оно сводится к почти безнадежной борьбе «свободы» народов «против власти королей» (I, 104).

Куда своеобразнее Радищев в своих попытках истолковать, с точки зрения «круговорота» свободы и рабства, революционные события своей эпохи. На первый взгляд, его мысль идет в общем русле представлений XVIII в. Отдельные наметки теории круговорота «свободы и рабства» мы видели у Рейналя (IV, 472—473, 551—552).

У Гельвеция и Руссо, Марата и Робеспьера имя Кромвеля фигурирует рядом с именами Мария, Цезаря. Характерны для современников Радищева и попытки извлечь определенные уроки из «примера» Кромвеля. В конце 1791 г., выступая против разжигаемого жирондистами и двором военного угара, тот же Робеспьер предупреждал: «Во время смут и мятежей военачальники становятся арбитрами судьбы своей страны и склоняют чашу весов на сторону той партии, к которой они примкнули. Если это Цезари или Кромвели, они сами захватывают власть» (I, 170).

Но, пожалуй, ни у одного мыслителя XVIII в. «великий пример» Кромвеля не приобрел такого обобщенного «социологического» звучания, как у Радищева. Еще в 80-е годы этот пример позволил мыслителю подвести под понятие общего «круговорота» свободы и рабства все революции нового времени. К концу 90-х годов концепция Радищева приняла резко пессимистическую окраску. Раньше мыслитель был за революционное завоевание вольности, теперь

[24] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 434.

он считает безнадежным исход кровавой борьбы: всякое междоусобие венчается учреждением диктатуры, гражданские войны в этом отношении ничем не отличаются от всякого рода завоевательных походов и войн.

Здесь намечается противоположность позиции Радищева и теоретиков якобинской диктатуры. Для Робеспьера применение революционных «диктаторских» мер — абсолютная необходимость, диктуемая всей обстановкой гражданской войны («Необходимо подавить внутренних и внешних врагов республики или погибнуть вместе с нею... Революционное правление — это деспотизм свободы против тирании» — III, 112—113). Радищев же вообще отказывается сделать тот шаг, который не побоялись сделать великие французские революционеры: принять не только идею революции, но и все практические последствия от воплощения этой идеи в жизнь. Для него робеспьеровский «деспотизм свободы» тождествен «деспотизму королей». По существу его позиция в конце XVIII — начале XIX в. аналогична позиции, занятой Ру в сентябре 1793 г., когда тот вернул вождю якобинской диктатуры его же собственные, ранее им сказанные слова: «Тирания, как заметил Робеспьер, не спасает государство и свободу» [25].

Практика всех без исключения «глубинных» социальных революций подтверждает: ломка старого строя невозможна без предельной концентрации революционной власти, без отбрасывания в условиях жестокой гражданской войны формально-юридических норм, без «деспотического» подавления контрреволюционеров. Неизбежности этой явно не понял русский мыслитель, и его взгляды в сравнении со взглядами Робеспьера или Сен-Жюста, и только в этом смысле, непоследовательны, ограничены, ошибочны. Но видеть в концепции Ру или Радищева только «непоследовательность» или «ошибочность» значит до чрезвычайности упрощать проблему.

Суммируя государственный опыт якобинизма, можно утверждать: если Франция конца XVIII в. пошла дорогой от демократической республики 1793 г. к бонапартистской военной диктатуре 1799 г., то определенные предпосылки для этого создавала политика мелкобуржуазных революционеров, включавшая в себя, особенно на ее заключительных этапах, преследование и ущемление демократических инсти-

---

[25] «Le Publiciste de la République française», № 270.

тутов, которые обеспечивали в разгар революции могучее воздействие на общественную эволюцию плебейских масс.

К такой политике толкали якобинцев обстоятельства гражданской войны, которые с роковой неотвратимостью требовали от республики централизации всех материальных средств, объединения всех нитей политического управления в одних руках. Гражданская война в огромной степени усилила в системе якобинского государства роль армии, карательных органов вообще, закладывая тем самым, независимо от воли действующих лиц, определенные предпосылки будущего бонапартистского переворота.

Но война с роялистской контрреволюцией — одна сторона медали. Победу над роялистами вожди якобинской диктатуры ковали в условиях растущих противоречий между плебейскими массами и буржуазными слоями в республиканском стане. Хотя в критические моменты своего существования, когда спасение революции зависело целиком от настроений «низов», революционное правительство шло навстречу их требованиям, но в общем и целом оно оказалось неспособным полностью поддержать требования санкюлотов. При этих постоянных колебаниях между крайними полюсами собственного стана правительству Робеспьера все чаще приходилось обеспечивать равновесие рубкой голов вождей крайних левых и правых направлений, преследованием тех органов прямого народоправства, которые были под их контролем или могли попасть под их контроль. Расправа с народными обществами секций Парижа — тому пример.

«Тартюфы! — восклицал Жак Ру, обличая правительство мелкобуржуазных революционеров.— Они пользовались Леклерками, Варле, Жаками Ру, Бурженами, Гансионами и т. п. и т. п. Они пользовались женщинами-революционерками, такими, как Лякомб, Коломб, Шампион, Ардуан, и столькими другими республиканцами, чтобы разбить скипетр тиранов, под которым они томились, чтобы свергнуть фракцию государственных людей, жаждавших утвердить деспотизм, а сегодня, когда в их руках ключи национального казначейства, когда они распоряжаются главными гражданскими и военными ведомствами, имеют слуг, выполняющих их приказы, сегодня, когда в их руках жезл Республики, когда они упились кровью людей и вооружились громом и молнией всей нации. они обрушили их на неподкупных патриотов, которые не желают рабски преклоняться перед

новыми королями: они топчут ногами, они бьют, как стекло, драгоценные вазы — инструменты революции...»[26]

И мы знаем, насколько прав был Ру. Историки самых разных направлений с разной степенью глубины отражают один и тот же факт. При противоречивости социальной основы якобинской диктатуры, в рамках тех политических форм, которые складывались в эпоху «мирного» этапа буржуазной революции, затем гражданской войны, при том теоретическом уровне, который определял представления якобинцев, они так и не смогли разрешить одно из главных противоречий глубинной социальной революции, приведшей в движение массы,— противоречие между демократией и централизацией, не смогли, хотя и пытались, обеспечить вовлечение плебейских масс в управление революционным государством или по крайней мере их систематическое воздействие на это управление. В конце концов «народные организации и демократия санкюлотов оказались несовместимыми с Революционным правительством и якобинской диктатурой»[27].

Для понимания исхода мелкобуржуазного терроризма важен и учет сдвигов, которые происходят с осени 1793 г. в организации системы репрессивных мер. Если до этого времени террор был наполовину стихийным, наполовину организованным из центра; если разнообразные репрессивные органы в период острого национального кризиса зачастую брали на себя инициативу действий, не дожидаясь Парижа, обгоняя центр; если эти репрессивные органы сначала избирались и так или иначе контролировались снизу (по крайней мере со стороны активного революционного меньшинства), то теперь дело решительно меняется. Карательные органы становятся правительственными органами, их сотрудники — платными чиновниками, подчиненными только и исключительно центру. Централизация аппарата, проводимая Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности, идет параллельно с суже-

---

[26] «Le Publiciste de la République française», № 268.

[27] А. Собуль. Из истории Великой буржуазной революции 1789—1794 годов и революции 1848 г. во Франции. М., 1960, стр. 148. Из специальных работ назовем: A. Soboul. Les sans-culottes parisiens en l'an II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionaire. 2 juin 1793—9 thermidor an II. Paris, 1962; A. Soboul. Robespiere und die Volksgesellschaften.— «Maximilien Robespierre. 1758—1794». Berlin, 1961.

нием демократии и в центре и на местах. «Сломив партии одну за другой,— пишет Матьез,— Комитеты освободились на несколько месяцев от стеснявшей их оппозиции. Столь неспокойный прежде Конвент соглашался теперь на все, что ему предлагали... Начиналась настоящая диктатура правительства. Парижские власти были очищены и составлены из верных людей (Пайан, Муен, Любен заместили Шометта, Гебера и Реаля, позднее Леско-Флерио заместил Паша). Новые власти были послушны, но, имея в своем составе одних лишь чиновников, уже не являлись больше представительными органами населения. Народные общества секций, умножившиеся за лето 1793 г. и заподозренные в том, что заключали в себе значительное число аристократов, исчезли в флореале под давлением якобинцев, которые отказались присоединить их к своему клубу. Помимо секционных трибун, открытых два раза в декаду, существовала только одна свободная трибуна, трибуна якобинцев. Но эта трибуна, находившаяся под строгим надзором, была занята бóльшую часть времени чиновниками из революционного трибунала и различных управлений. Новая террористическая бюрократия завладела всеми местами. Злоупотребления властью приняли такие размеры, что Дюбуа-Крансе предложил исключить бюрократию из клубов... Комитеты, в особенности Сен-Жюст, видели зло, но были связаны по рукам и ногам. Кто остался бы в клубах, если бы из них изгнали чиновников? Основание режима суживалось по мере его концентрации. „Революция окоченела, — писал Сен-Жюст в своем сочинении „Республиканские учреждения",— все принципы ослабли, остались только красные колпаки, прикрывающие интригу. Террор притупил преступление, подобно тому как крепкие напитки притупляют вкус"» [28].

Попытки опираться на государственный террористический аппарат, а не на плебейские массовые организации, стремление с помощью террора сохранять равновесие в условиях поляризации классовых сил вели к быстрому отрыву революционной государственной организации от масс, размывали фундамент под величественным зданием якобинского «деспотизма свободы». В последние месяцы диктатуры террористическая машина мелкобуржуазных революционеров приобретает все бóльшую автономность, самодовлеющий ход. Социальная функция террора отступает на

---

[28] А. Матьез. Французская революция, т. III, стр. 159—160.

второй план, террор превращается в средство самосохранения якобинской диктатуры и ее вождей: принятые весной 1794 г. вантозские социальные декреты остаются на бумаге, зато неумолимо действуют прериальские террористические законы.

В таких условиях малейшее нарушение равновесия между двумя правящими органами — Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности — или даже личная склока внутри первого, более влиятельного из них, могли оказаться роковыми для судеб революционного правительства. Термидор, при том развитии событий, которому следовала мелкобуржуазная революция, был неизбежен, и предчувствие неотвратимой гибели лежит на последних речах Робеспьера и Сен-Жюста, а еще более — на их действиях, вернее, на их бездействии в роковую ночь с 9 на 10 термидора, когда, казалось, еще можно было перетянуть на свою сторону колебавшуюся чашу весов.

Террор, навязавший всей Франции волю парижских предместий, в конце концов парализовал эту волю; террор, бывший оружием победы в руках вождей революции, уничтожил этих вождей. Исполнилось пророчество, высказанное Дантоном в его знаменитой речи в Конвенте 27 марта 1793 г.: «Революции разжигают все страсти. Великий народ в революции подобен металлу, кипящему в горниле: статуя свободы еще не отлита, металл еще только плавится; если вы не умеете обращаться с плавильной печью, вы все погибнете в пламени» [29].

Знаем мы и другое: отправив вождей якобинцев на плаху и решив разбить созданную якобинцами централизованную диктатуру, заменить ее тщательно продуманным «равновесием властей», термидорианцы вскоре потерпели полное фиаско в своих начинаниях. Оказавшись между двух огней, вынужденные снова «качаться» на этот раз между ожившими было роялистами и еще недобитыми якобинцами, они снова ухватятся, как за якорь спасения, за те же авторитарные государственные меры. Первая, а особенно вторая Директории начинают уже систематическую политику централизации власти и окончательного искоренения остатков всякого народоправства, пока, наконец, на почве предельного обострения вражды полярных классовых сил, более или менее уравновешивающих друг друга,— этой

---

[29] Цит. по кн.: Ц. Фридлянд. Дантон. М., 1965, стр. 245.

классической почве бонапартизма[30] не произрастет бонапартизм в классической его форме, который будет опираться прежде всего на армию (ранее не участвовавшую во внутренней политической борьбе) и на всемогущую бюрократию, превращенную Наполеоном в своеобразное «новое дворянство».

Когда Маркс, выясняя противоположность буржуазных и пролетарских революций, писал, что первая французская революция вынуждена была «развить далее то, что было начато абсолютной монархией, то есть централизацию и организацию государственной власти, и расширить объем и атрибуты этой власти, число ее пособников, ее независимость и ее сверхъестественное господство над действительным обществом — господство, которое фактически заменило собой средневековое сверхъестественное небо с его святыми»[31], то он, безусловно, включал в это определение и якобинский этап. Далеко не случайно и то, что вожди революционного пролетариата только после рождения демократии высшего типа — Парижской Коммуны могли поставить вопрос, чем заменять старый государственный аппарат[32].

Впрочем, и до Маркса теоретическая революционная мысль схватывала отдельные отрицательные черты государственной практики якобинизма (или государственной практики буржуазных революций вообще). Это выражалось не только в обличениях Радищева, Ру или Пейна, но, скажем, и в позитивных попытках бабувистов придумать такую систему революционных органов, которая сделала бы управление государством и оборону отечества «делом всех граждан». Опыт бабувистов имел особо важное значение. При

---

[30] См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 49.

[31] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 17, стр. 544.

[32] Отметим недостаточное внимание к этой важнейшей стороне дела в нашей историографии. Так, в предисловии к изданным недавно «Избранным произведениям в трех томах» М. Робеспьера проф. А. З. Манфред дает убедительный анализ противоречивости социальной политики мелкобуржуазной диктатуры, но явно уходит от анализа противоречий ее государственной политики, ограничиваясь апологетическими суждениями типа: «С замечательной силой революционного мышления Робеспьер сумел понять и, обобщив, показать народу величие этого нового переходного режима как формы революционно-демократической диктатуры» (I, 56). Показательно, что в состав избранных произведений Робеспьера не попал ряд его выступлений против народных обществ секций Парижа.

всей умозрительности мер, придумываемых ими на случай победы революции, само направление их мысли было чрезвычайно плодотворным, а задача — предупредить «опасность» образования специального класса «управляющих» сформулирована с предельной ясностью: «Если в государстве создастся класс, который один только будет сведущ в принципах социального искусства, в законах и управлении, то этот класс скоро найдет в своем умственном превосходстве и особенно в неосведомленности своих соотечественников секрет того, как создать для себя отличия и привилегии... Прикрашивая свои дерзкие начинания предлогом общественного блага, этот класс будет все еще говорить о свободе и равенстве своим мало проницательным согражданам, уже подверженным тем более жестокому порабощению, что это порабощение будет казаться им законным и добровольным» [33].

Поискам на новой, пролетарской классовой основе решения задачи, сформулированной еще бабувистами, задачи создания такой революционной власти, которая действовала бы «в интересах народа и при посредстве народа» (Буонарроти), будут посвящены в XIX в. «Гражданская война во Франции» К. Маркса, в XX в.— «Государство и революция» В. И. Ленина.

4. Спор между «террористами» и «антитеррористами»

Наконец, обратимся к знаменитому в истории освободительной мысли конца XVIII — начала XIX в. спору между «террористами» и «антитеррористами», к тому спору, отголоски которого слышны в «Песни исторической» Радищева.

«Революция это война свободы против ее врагов...,— говорил Робеспьер, защищая в конце 1793 г. революционные законы.— Те, кто называют эти законы произвольными или тираническими,— глупые или развращенные софисты, стремящиеся смешать противоположные вещи: они хотят подчинить одному и тому же режиму мир и войну, здоровье и болезнь...» (III, 91). А вот обратное мнение одного убежденного революционера, прошедшего через горнило американской и французской революций XVIII в.,— под его словами подписались по существу и Ру, и Леклерк, и

---

[33] Ф. Буонарроти. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа, т. I. М.— Л., 1948, стр. 316—317.

Демулен, и Кондорсе, и наш Радищев. В конце 1793 г., восклицает Т. Пейн, справедливые и гуманные принципы революции, которые философия распространяла вначале, были оставлены. «Нетерпимый дух церковных гонений проник в политику; трибунал, величаемый революционным, занял место инквизиции, а гильотина — место костра»[34].

Казалось бы, историческая правота целиком на стороне Робеспьера, а не его противников. Аксиома аксиом — применение тех или иных террористических мер становится неизбежностью для любого революционного правительства, которому контрреволюция навязывает законы гражданской войны. Историческая прогрессивность якобинского террора доказана и всей последующей экономической и социальной эволюцией страны. Ударами своего страшного молота, писал Маркс, он стер «сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции»[35].

Но верно ли усматривать в осуждении якобинского террора многими радикальными мыслителями XVIII в. (впоследствии утопическими социалистами XIX в.) только ошибку и ограниченность? Сложность ответа становится очевидной, как только мы выделим целый ряд объективных и субъективных моментов, которые сделали из робеспьеристов классическое воплощение революционного мелкобуржуазного «терроризма». Разобраться в этом надо для выявления исторической ограниченности форм и методов революции, которую Робеспьеру и Сен-Жюсту пришлось возглавить.

Любая социальная революция немыслима без применения — в той или иной форме — принудительных мер по отношению к свергаемым классам. Эти меры, если говорить вообще, становятся тем решительнее и беспощаднее, чем глубже распахиваются сложившиеся веками пласты социальных отношений. «Терроризм» французской революции — одной из классических буржуазных революций — был порожден прежде всего развитием антагонизма между буржуазной «нацией» и свергнутыми феодалами. Мы достаточно говорили об этой стороне дела.

Но на заключительном, «якобинском» этапе революции, когда революционному правительству пришлось опереться

---

[34] Т. Пейн. Избр. соч., стр. 295.
[35] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 299.

на поддержку плебейских масс, буржуазная революция стала задевать не только феодалов, но куда более широкие буржуазные слои. Жестко регламентируя законами о максимуме сферу потребления и сохраняя в то же время частную буржуазную собственность, систему денежного хозяйства, якобинское государство не могло не вводить дополнительно принудительных и чисто террористических мер. Заставить владельца фабрики или крестьянина-собственника производить, одновременно разоряя его реквизициями и ограничивая его связь с рынком, нельзя было вообще никаким иным способом. «Чтобы проводить законы, нарушавшие все частные интересы,— пишет А. Матьез о событиях 1793—1794 гг.,— необходимо было усилить диктатуру центральной власти, систематизировать ее, охватить всю Францию армией полиции и солдатских постоев, уничтожить все свободы, контролировать через Центральную продовольственную комиссию все сельскохозяйственное и промышленное производство страны, без конца прибегать к реквизициям, захватить в свои руки транспорт и торговлю..., создать повсюду новую бюрократию, чтобы пустить в ход громадный аппарат снабжения, ввести нормирование потребления при помощи карточной системы, прибегнуть к системе домашних обысков, заполнить тюрьмы подозрительными, заставить гильотину работать перманентно. Политический террор сливался с экономическим, шел с ним нога в ногу» [36].

В условиях, когда экономически и политически общество не созрело для «огосударствления» средств производства, вся система якобинских принудительных мер не могла функционировать сколько-нибудь длительный срок. Вожди якобинской диктатуры, имевшие самые смутные представления о социальной структуре общества, тенденциях его экономического развития, не могли ни предвидеть последствий практикуемого ими революционного насилия, ни поставить ему предел. Чрезвычайно важно выделить мысль Маркса о воззрениях якобинцев как классическом образце ограниченного политического рассудка, не способного, несмотря на максимум энергии, найти реальные средства исцеления общественных недугов. видевшего причину их в контрреволюционном, подозрительном образе мыслей собственников, а главный путь спасения — в рубке голов [37].

---

[36] А. Матьез. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.— Л., 1928, стр. 457.

[37] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 439.

Эти особенности исторической практики и теоретического мышления якобинцев и сделали из них своеобразных идеологов неограниченного «терроризма». Разумеется, сознанию творцов террористического режима, скажем, Робеспьера, была присуща идея о временности принципа, «применяемого отечеством в крайней нужде». Сен-Жюст шел к мысли о том, что террор вообще не может сделать нацию добродетельной: «Террор — обоюдоострое оружие, которым одни пользовались для отмщения народа, другие — служа тирании; террор наполнил арестные дома, но не наказал виновных; террор пронесся, как буря. Ждите прочной строгости нравов в характере народа только от силы учреждений»[38]. Однако все эти оговорки не меняют дела. Хотя ни Робеспьер, ни Сен-Жюст не доходили в своей деятельности до тех крайностей, которыми отличались Фуше, Каррье или Колло д'Эрбуа, однако и для них гильотина стала в конце концов главным орудием решения все новых противоречий, порождаемых углублением революции, орудием избавления от неугодных соперников из собственного республиканского стана.

Отсутствие ясных представлений о формах и границах применения насильственных средств и мер органически дополнялось у радикальных идеологов революции фабрикацией ложных обвинений, призванных, за отсутствием достаточно веских улик, оправдать отправку своих бывших сподвижников на эшафот. Тягостно читать речи и статьи вождей соперничавших революционных фракций, изобилующие взаимными обвинениями в «измене», «связях» с Питтом, с Кобленцом. или вспоминать якобинскую практику процессов-«амальгам». И дело здесь не просто в некоторых «малосимпатичных чертах в характере Робеспьера», как полагал Н. М. Лукин, в его лицемерии или неразборчивости в средствах[39], а в *примитивности, ограниченности самого типа мышления мелкобуржуазных революционеров*, сводящего основные проблемы и противоречия революции к проискам контрреволюции, маскирующего смысл действительных процессов иллюзорными всеупрощающими формулами (хотя бы иллюзии эти и питались вполне реальным участием агентов контррево-

---

[38] Saint-Just. Указ. соч., стр. 147.
[39] См. Н. М. Лукин (Н. Антонов). Максимилиан Робеспьер. М., 1919, стр. 123.

люции в создании тех или иных трудностей и вполне реальными связями агентов Питта с некоторыми деятелями оппозиционных фракций). В 1853 г. в полемике с мелкобуржуазными демократами Маркс специально напомнит о слепоте так называемого революционного чувства, к которому апеллировали в свое время якобинцы и «которое в момент высшего напряжения изобрело lois des suspects (законы о подозрительных.— *Авт.*) и заподозрило даже таких людей, как Дантон, Камилль Демулен и Анахарсис Клоотс в том, что они сделаны из „теста" предателей...» [40]. В 1877 г. Энгельс, вспоминая о присущей Бакунину манере «забрасывания камнями» своих политических противников, прямо именует ее робеспьеровской: «Этим методом, заимствованным у блаженной памяти Максимилиана Робеспьера, Бакунин владел в совершенстве...» [41].

Мы видели, что «забрасываемые камнями» соперники Робеспьера, не только «снисходительные», но и самые «бешеные», перед угрозой неминуемой расправы стремительно катились к отрицанию всякого террора, всякой диктаторской революционной власти вообще. Видели мы и другое: якобинская практика должна была порождать и порождала такое же отрицательное отношение к «терроризму» у многих радикальных мыслителей, изучавших ее, как Радищев, со стороны, тем более, что судили они о «царстве террора» только по его непосредственным политическим результатам. Должно было пройти несколько десятилетий, пока теоретическая революционная мысль не дала всему якобинскому периоду революции глубокой, трезвой и многогранной оценки.

В противоположность «антитеррористам» XVIII в. Маркс и Энгельс расценивали период якобинской диктатуры как один из высших взлетов революционного движения, они звали пролетариат к продолжению боевых традиций якобинизма — традиций той беззаветной решительности, отваги, энергии, которые спасли республиканскую Францию в критическом 1793 году. В работах Маркса, Энгельса, Ленина, посвященных обобщению опыта буржуазных революций, Великая французская революция остается, благодаря якобинизму и только благодаря ему, «эталоном», по

---

[40] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 303.
[41] Там же, т. 19, стр. 102.

которому отмечаются успехи последующих революций, выносятся суждения об их вождях.

Но все высокие оценки вождями пролетариата подвига героев революционной Франции не мешали им видеть ограниченность действий этих героев, примитивность их форм и методов политической борьбы. Точно так же признание исторической прогрессивности якобинского террора никогда не вело Маркса, Энгельса, Ленина к апологии всех исторически неизбежных крайностей, а тем более злоупотреблений, которыми сопровождался якобинский террор,— подобная апология не имеет ничего общего с защитой того наследия, которое марксизм принимает от великих революционеров прошлого.

Выступая после событий Парижской Коммуны против нелепых попыток бланкистов канонизировать каждый террористический акт первого пролетарского правительства, Энгельс еще менее был склонен канонизировать якобинский мелкобуржуазный террор :«Разве это не то же самое, как если бы стали утверждать, что во время первой французской революции каждый обезглавленный получил по заслугам — сначала те, кто был обезглавлен по приказу Робеспьера, а затем — сам Робеспьер?» [42]

Критику крайностей мелкобуржуазного «терроризма» содержит и письмо Энгельса от 4 сентября 1870 г., где периоду «господства террора» дана следующая оценка: «Мы понимаем под последним господство людей, внушающих ужас; в действительности же, наоборот,— это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора в 1793 г. падает почти исключительно на перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре» [43].

В одном из поздних писем Энгельс уточняет свою позицию, пытаясь определить историческую грань, когда террор из меры, оправданной военной обстановкой, стал «бесполезной жестокостью»: «Что касается террора, то он был по существу ***военной мерой*** до тех пор, пока вообще имел смысл.

---

[42] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 516.
[43] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 33, стр. 45.

Класс или фракция класса, которая одна только могла обеспечить победу революции, путем террора не только удерживала власть (после подавления восстаний это было нетрудно), но и обеспечивала себе свободу действий, простор, возможность сосредоточить силы в решающем пункте, на границе. К концу 1793 г. границы были уже почти обеспечены, 1794 г. начался благоприятно, французские армии почти повсюду действовали успешно. Коммуна с ее крайним направлением стала излишней; ее пропаганда революции сделалась помехой для Робеспьера, как и для Дантона, которые оба — каждый по-своему — хотели мира. В этом конфликте трех направлений победил Робеспьер, но *с тех пор террор сделался для него средством самосохранения* и тем самым стал абсурдом...» [44].

Вождю социалистической революции XX в. В. И. Ленину пришлось не только в теоретических статьях подчеркивать принципиальную разницу пролетарских и мелкобуржуазных форм и методов борьбы, но и определять на практике совершенно неуловимую для якобинцев грань, когда террор из меры необходимой, революционно-целесообразной грозил обратиться в свою противоположность. И как раз в те периоды, когда Советская власть пыталась переходить (как было в 1918 г.) или переходила (как было в году 1921) от военных задач к очередным экономическим задачам, когда место военной угрозы занимала угроза куда более опасная, связанная с разгулом мелкособственнической стихии в разоренной войной стране, Ленин особенно резко настаивал на различии политических методов большевиков и якобинцев. Напомним одно из его важнейших предупреждений: «Если 125 лет тому назад французским мелким буржуа, самым ярым и самым искренним революционерам, было еще извинительно стремление победить спекулянта казнями отдельных, немногих „избранных" и громами декламации, то теперь чисто фразерское отношение к вопросу у каких-нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брезгливость. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси, слой и частнохозяйственный капитализм, который в *каждом* мелком буржуа имеет своего агента» [45].

---

[44] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 127.

[45] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 297; см. также т. 43, стр. 208.

Общее принципиальное положение — о том, что насилие не может быть средством решения организационных задач пролетарского государства, в том числе средством подведения крестьянства к социализму, было со всей настойчивостью сформулировано В. И. Лениным на VIII съезде РКП(б): «Тут та область, где революционное насилие, диктатура употребляется для того, чтобы злоупотреблять, и от этого злоупотребления я бы осмелился вас предостеречь. Прекрасная вещь революционное насилие и диктатура, если они применяются, когда следует и против кого следует. Но в области организации их применять нельзя»[46].

Нэп в конкретных условиях 1921 г. был выполнением этой принципиальной установки. И если мелкобуржуазная диктатура во Франции XVIII в. могла отвечать на все кризисы только одним способом — расширением репрессивного законодательства, усилением террора, то пролетарская диктатура ответила на массовое недовольство крестьян, вызванное политикой военного коммунизма, целой системой экономических мер, позволивших удовлетворить требования крестьян, дать стимул, толчок мелкому крестьянскому хозяйству и одновременно резко уменьшить роль репрессий в политике государства, резко ограничить функции основного карательного органа пролетарской диктатуры — ВЧК. В декабре 1921 г. В. И. Ленин докладывал Всероссийскому съезду Советов: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности, и тем у́же становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков. Таков результат опыта, наблюдений и размышлений, который правительство за отчетный год вынесло»[47].

Пролетарский революционный гуманизм не исключает ни применения ответного насилия по отношению к насильникам-эксплуататорам, ни готовности идти на самые большие жертвы ради избавления человечества от еще бо́льших жертв. В годы Октябрьской революции пролетарская диктатура, несмотря на все стенания оппортунистов II Интернационала, не поколебалась ответить беспощадным красным

---

[46] Там же, т. 38, стр. 148—149.
[47] Там же, т. 44, стр. 329.

террором на белый террор, грозивший бесчисленными жертвами трудящимся классам России. Но вождь Октября никогда не терял из виду вынужденности насильственных мер, а главное умел ставить им предел. Для В. И. Ленина, как и для его учителей, революционность существовала не ради самой революционности. Ему, как и им, был абсолютно чужд мелкобуржуазный лозунг — революция какой угодно ценой.

* * *

Очерчивая в заключительной главе некоторые аспекты теоретического «завещания» века Просвещения, показывая, в каком направлении вел разработку этого наследия марксизм, мы брали за отправной и завершающий моменты XVIII — вторую половину XIX в. Те полстолетия, которые пока остались вне сферы нашего анализа, которые отделяют кризис буржуазной революционности от становления революционности пролетарской, и были в сущности эпохой «переваривания» уроков великой революции XVIII в., особенно уроков якобинизма, поиском новых ответов на старые вопросы. Магистральную линию этого движения пробивали в Западной Европе течения утопического социализма и революционного утопического коммунизма. В России тот же процесс принял более сложный и длительный характер, но в целом совпадал по направлению с общеевропейским.

Важно подчеркнуть, обращаясь к начальному этапу русской революционной традиции, что духовная трагедия Радищева не только не прерывает преемственную линию между русской революционной мыслью XVIII в. и декабризмом, напротив, она является звеном, скрепляющим эту связь.

Желание предотвратить бедствия, возникающие от «внезапных действий» народов,— одна из типичных черт декабристской идеологии, роднящая ее с воззрениями автора «Песни исторической». Опыт якобинской диктатуры — вот что прежде всего отталкивает декабристов (как и Радищева конца 90-х годов XVIII в.) от кровопролитий «междоусобной брани», гражданской войны [48]. Свидетельство Пестеля

---

[48] Авторы в данном случае не касаются сложного вопроса об отношении дворянских революционеров к стихийным крестьянским движениям.

(да и не только Пестеля) не оставляет никаких сомнений на этот счет: «Ужасныя произшествия бывшия во Франции вовремя Революции,— пишет он,— заставляли меня искать средство к избежанию подобных, и сие-то произвело во мне в последствии мысль о Временном Правлении и о его Необходимости и всегдашния мои толки о всевозможном предупреждении всякаго междоусобия»[49].

Но если Радищев — современник якобинской диктатуры — судил о ней только по ее непосредственным политическим последствиям, то Пестель, отдаленный от нее почти тремя десятилетиями, обнаруживает прогрессивность социальных преобразований, совершенных в эпоху террора, а главное — их неискоренимость. Вот его замечательное обобщение: «...Большая часть Коренных Постановлений, введенных Революциею, были при Ресторации (реставрации.— *Авт.*) Монархии сохранены и за благия Вещи признаны, между тем как все возставали против Революции, и я сам всегда против нее возставал. От сего суждения породилась мысль, что Революция, видно, не так дурна как говорят, и что может даже быть весьма полезна, в каковой мысли я укреплялся тем другим еще суждением, что те Государства, в коих не было Революции, продолжали быть лишенными подобных преимуществ и учреждений»[50]. Перед нами — явное движение вперед, выход из нижней точки спада, из того кризиса, в который поверг радикальную просветительскую идеологию, в том числе и русскую, якобинский эксперимент.

И в дальнейшем процесс развития революционной теории в России не будет ни простым, ни гармоничным. Все мы помним Ленина: «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»[51].

У нас часто цитируют эти слова, но не всегда вдумываются в подчеркнутый самим автором их глубокий смысл.

К этой теме мы надеемся вернуться в дальнейшем. Пос-

[49] «Восстание декабристов. Материалы», М.— Л., 1927, стр. 90—91.

[50] Там же, стр. 20.

[51] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 8.

леднее — о смысле наших занятий прошлым. Каждое новое поколение вынуждено заново открывать своих предков, переосмысливать традиции не просто потому, что совершенствуются методы исторического познания или увеличивается число (и без того громадное) известных фактов о прошлом. Главное — в ином. Жизнь движется противоречиями. и новая живая действительность выдвигает на первый план как раз те стороны и события, которые до того оставались в тени. Вместе с тем оказывается, что новое в действительности вообще нельзя понять глубоко без размышления, казалось бы, о всем известных фактах.

Обнаруживать и восстанавливать, иногда по еле заметным приметам, живые связи времен и поколений — задача, действительно из труднейших, но для ее решения мало одной только страсти следопытства и той восторженности, при которой, по выражению одного из рецензентов «Потаенного Радищева», «красота героических революционных страниц прошлого сливается с пафосом их постижения»[52].

В. И. Ленин, сам постоянно учась революции, добиваясь того, чтобы «люди учились революции», предупреждал: «революция мудрая, трудная и сложная наука»[53].

Русская революционная мысль, представленная именами Радищева, Чернышевского, Ленина, сильна традициями своей героики. Но она сильна также традицией борьбы *против бездумной революционности.*

Радищев — первый русский революционер. Но он также первый в России революционер, задумавшийся над трудностью и сложностью пути революции, ответственностью революционной мысли и, особенно, революционного действия.

За полтора-два столетия, прошедшие со времени описанных в этой книге событий, человечество не переставало учиться в школе революций и многому научилось. Но хотя революционная мысль современности куда богаче, глубже, многостороннее первых, во многом еще примитивных представлений, хотя она стоит на совершенно иной научной основе,— мы не вправе терять и первые, малые крупицы прошлого опыта. Не вправе не только потому, что он доставался такой дорогой ценой, но и потому, что прошлый опыт помогает нашей нынешней революционной борьбе.

---

[52] М. Козьмин. Книга нового жанра.— «Вопросы литературы». 1966, № 5, стр. 148, 149.

[53] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 119.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Юрий Федорович Карякин и Евгений Григорьевич Плимак

Запретная мысль обретает свободу

Редакторы издательства *Е. А. Шаров, А. Г. Синельников*
Технические редакторы *В. В. Тарасова, Р. М. Денисова*
Корректор *Б. И. Рывин*

Сдано в набор 12/VII 1966 г. Подписано к печати 10/X 1966 г. Формат 80 X 108¹/₃₂.
Печ. л. 9,5. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 16,6. Тираж 5500 экз.
Т-13864. Изд. № 1433/66. Тип. зак. 1080. *Цена 1 р. 25 к.*

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10